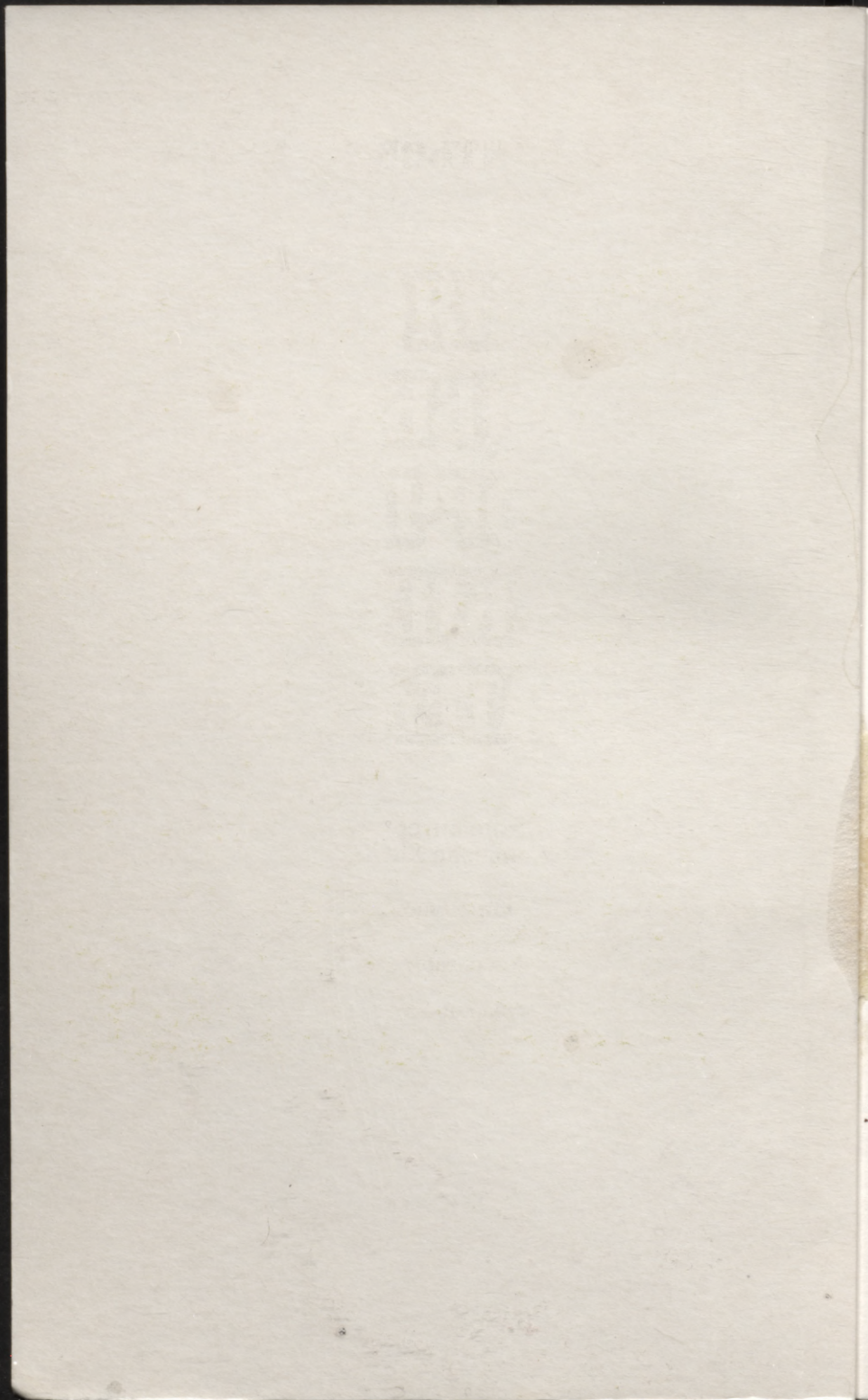


Б.Инфантьев, А.Лосев

**ЛАТВИЯ
В СУДЬБЕ
И ТВОРЧЕСТВЕ
РУССКИХ
ПИСАТЕЛЕЙ**



ZVAIGZNE ABC



К 94-3
К 738

К
81.09

Б.Инфантьев, А.Лосев

ЛАТВИЯ В СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ

Фольклор,
русско-латышские литературные отношения
в конце XVIII - начале XIX века

Учебник для средних школ

Утвержден Министерством образования,
культуры и науки
Латвийской Республики



ZVAIGZNE ABC

82 (091) L:82(091)Kr (075.3)

Ил 74

Latvijas Nacionālā

BIBLIOTEKA

94-18-441

0306064478

Писатели
 русских
 и творчестве
 в Европе
 в конце XVIII - начале XIX века
 в контексте историко-культурных отношений
 с Европой

ISBN 5-405-01305-6

© 1994, apgāds Zvaigzne ABC

В СОВАВТОРСТВЕ С ЛАТВИЕЙ

"Латыши мои..."

Д. И. Фонвизин

Русские писатели и Латвия... Как много слова эти вобрали в себя! Сколь значителен их смысл, какое возвышенное состояние души порождают они! Это и соответствие исторических судеб русских и латышей, и общая их — по одну сторону баррикад — вовлеченность в социальные потрясения, военные конфликты. И близость духовных устремлений, нескончаемый диалог обо всем, что занимает сопредельные народы, волнует их, не дает покоя.

Чтобы сложилось верное, неупрощенное представление о русско-латышских литературных контактах на разных временных этапах, не следует рассматривать их изолированно, ограничивать двумя народами, пределами двух регионов. Межнациональные взаимосвязи полноценно воспринимаются, получают новое измерение, личностную окраску в контексте единого пространства культуры. Охватывает это взаимодействие весь мир и заявляет о себе с той незапамятной поры, когда начали складываться нравственные, эстетические ценности, равно принятые всем человечеством. В наши дни — и примеров тому бесчисленное множество — мир вопреки тлеющим пожарам межэтнических противостояний становится теснее, все ближе сходятся культуры. Потому-то с уровнем, содержанием, перспективами русско-латышского духовного сотрудничества связываются все большие надежды.

От вас, читатель этой книги, не в малой мере зависит, не разрушится ли культурное пространство, не окажетесь

ли вы к нему и к каждому из его составляющих безучастным. Не забудем: желанное единение разноплеменных людей скорее всего и с наименьшими затратами достигается в культуре, и только затем — в других областях. Высокая духовность столетиями противостоит национальному отчуждению, высокомерию, эгоизму.

Представляется символичным: и в наши многосложные, противоречивые дни, когда духовные ценности оттесняются предпочтениями иного рода, взаимообмен культур не только не захлебывается, не ослабевает, но, напротив, обретает второе дыхание, является в ином, неведомом ранее качестве. Все новые народы и литературы вовлекаются в этот набирающий силу поток. Возрастает роль немецкой, французской, англо-американских и латиноамериканских, скандинавских культур. И русская литература не остается в тени. В самом конце 80-х годов в Союзе писателей Латвии прошли вечера памяти Анны Ахматовой и Бориса Пастернака. Альманахи "Grāmata" и "Kentaurs" постоянно знакомят с новыми латышскими переводами из Н. Гумилева, В. Ходасевича, А. Крученых, О. Мандельштама, М. Цветаевой, А. Белого, Л. Андреева... Журнал "Karogs" опубликовал "Колымские рассказы" Варлама Шаламова. Латышские издатели порадовали любителей серьезного чтения романом Аншлава Эглитиса "Piecas dienas" с его силуэтными набросками Михаила Зощенко и Алексея Ремизова, Александра Фадеева и Николая Вирты. Книга очерков латыша Иманта Зиедониса и украинца Виталия Коротича о Таджикистане — "Перпендикулярная ложка" — положила начало плодотворной традиции. Под одним переплетом выходят в свет произведения латышских и русских поэтов — Беллы Ахмадулиной и Лии Бридаки "Māja", Александра Кушнера и Иманта Аузиня "Atmiņa". Мгновенно разошлись рижские издания русских книг. Это "Окаянные дни" Ивана Бунина, избранные стихи Александра Блока, Константина Бальмонта, Бориса Пастернака, "Тихая Балтия" Анатолия Приставкина, сборники с параллельными — русскими и латышскими — текстами Анны Ахматовой, Беллы Ахмадулиной, Игоря Северянина... С другой стороны, редакция журнала "Даугава" многое делает, чтобы в круг русского чтения вошли наиболее значительные произведения латышской поэзии и прозы. Сводная афиша театров Латвии приглашает на

чеховский "Вишневый сад", на спектакли "Братья Карамазовы", "Кроткая", "Сон смешного человека" по Ф. Достоевскому, "Месяц в деревне" И. Тургенева. Названные и многие другие явления этого ряда не оставляют сомнений: можно расчленить экономическое пространство, поделить географическую среду, города и острова, флоты и заводы. И только духовное достояние народов разъять невозможно...

Любое произведение русской литературы, которое создается на латышском материале, даже самое заметное, самое своеобразное, не может не ориентироваться на опыт, на образец, на предшественников. Писатели России, от Фонвизина и Карамзина до наших дней, всегда ответственно, уважительно относились ко всему, из чего складывался латышский мир: к истории страны, ее природе, народу, духовности. Не заставляло себя ждать ответное движение. В ряду почитателей Пушкина и Лермонтова, Гоголя и Достоевского, Льва Толстого и Чехова — Райнис и Андрей Упит, Зента Мауриня и Петерис Эрманис, Мирдза Кемпе и Визма Белшевица, Александр Чак и Клавс Элсбергс. В наши дни взаимопониманию содействуют публицистические выступления и художественная практика Иманта Аузиня и Яниса Петерса, Кнута Скуениека, Леона Бриедиса и Виктора Авотыня, Людмилы Азаровой и Марины Костенецкой, Роальда Добровенского и Владлена Дозорцева. Вспоминая об Ояре Вацietисе весной 1993 года, Имант Аузиньш говорил о художественных истоках лучшего латышского поэта современности. Оказывается, школа Вацietиса — это не только Райнис, не только Александр Чак. Многие в авторе сборников стихов "Elpa" и "Dzegužlaiks" помогут понять его обращения к Сергею Есенину, Александру Твардовскому.

Что значила для Латвии "всемирная отзывчивость" русской литературы, в очистительную, нравственную силу которой так свято верил Федор Достоевский? Каждый на этот вопрос, обращенный к нам более столетия назад, ищет свой ответ. Вспомним отклик того же Достоевского в "Преступлении и наказании" на горестную долю латышских землепашцев, закабаленных остзейскими баронами. Вещая сила пушкинского глагола всегда находила отзвук в Латвии. И сегодня совесть каждого из нас тревожит возглас первого поэта России, заветная его мечта: "Когда

народы, распри позабыв, в великую семью соединятся". Воздадим должное Константину Паустовскому за верность нашей республике. Любовь к Янтарному краю, неярким его небесам, кленовым рощам, морю, по собственному признанию писателя, он всю жизнь носил в сердце...

Дружески общаясь на берегах Даугавы в начале века с видными национальными писателями, Максим Горький в самом недалеком будущем предвидел великолепный взлет латышской литературы. Минули годы, но впечатления о Риге, Взморье, латышах в памяти писателя не стерлись, не потускнели. Через три десятилетия на писательском съезде Горький скажет: "Разрешите напомнить, что количество народа не влияет на качество талантов. ...латыши создали мощного поэта Райниса". Еще раньше в беседе с художником Янисом Бирзгалисом Алексей Максимович об авторе книги стихов "Посев бури" и пьесы "Огонь и ночь" заметил: "Большой мастер. Интересный, большой культуры писатель". И латышский поэт отвечал взаимностью. Великий русский и великий латыш стремились к одному: чтобы человек обращался к человеку, народ к народу, литература к литературе. Эти заветы получили воплощение в творчестве Анны Ахматовой и Бориса Пастернака, Константина Паустовского и Виктора Астафьева, Евгения Евтушенко и Андрея Вознесенского. И звенела ответная струна. Стенограммой гуманизма, высоких и светлых чувств становились книги Яниса Судрабкална и Александра Чака, Яниса Яунсудрабина и Зенты Маурини, Мирдзы Кемпе и Ояра Вацietиса, Иманта Зиедониса и Визмы Белшевицы, Яниса Петерса и Мариса Чаклайса.

Вначале же был фольклор. Героический эпос, предания, песни, созданные и русскими, и латышами задолго до письменной литературы, звали соседние народы к взаимному узнаванию, сближению, пробуждали у них единые чаяния. Именно поэтому авторы предлагаемой вашему вниманию книги сочли возможным включить разделы "Былинная песнь о латышской земле", "И звучат по-русски дайны..."

Свое назначение "собрание пестрых глав" о связях национальных литератур выполнит только при том условии, если силой художественного слова, неопровержимостью факта, документа убедит: тема "Писатели России и Латвия" — это, прежде всего, соучастие, взаимный отклик,

стремление прийти на помощь в трудный час. Литература всегда ищет в мире понимания, родства, и никогда — противоборства, и никогда — отчуждения, неприязни. Хорошо об этом сказал Михаил Дудин:

И видится в братстве поэзии
Великое братство людей.

...Вы перелистываете книгу "Латвия в судьбе и творчестве русских писателей" и оказываетесь лицом к лицу с заступниками народными, людьми редкого гражданского бесстрашия. На протяжении двух столетий эстафету сострадания к латышским крестьянам несли Фонвизин и Карамзин, Бестужев-Марлинский и Лажечников, Радищев и Герцен. Хочется думать: публикуемые материалы помогут почувствовать живое присутствие художника слова, понять, почему писатели XVIII — первой половины XIX века скорбели, сострадали в Прибалтийском крае тем, кто испытывал гнет самодержавия. Антикрепостнические выступления курземских и видземских крестьян в последней четверти XVIII века не остались незамеченными Д. И. Фонвизиним. Отблески повстанческих костров освещают его письма. Дневники автора "Недоросля" — и вы в этом убедитесь — это не только метко схваченные приметы народного латышского быта, но и неприятие деспотии, призыв к милосердию, добру. Созвучны протестующим страницам "сатиры смелого властелина", "друга свободы" и рижские письма из книги странствий Николая Карамзина, его ливонские главы в "Истории государства Российского". В радищевском и гоголевском разделах вы найдете мысли о том, какие далеко идущие последствия для Риги и других ганзейских городов имели морское дело, торговля, мастерство ремесленного люда...

Иван Лажечников, Александр Бестужев-Марлинский, Николай Языков запечатлели тихую красоту Лифляндии, заглянули в дальнюю ее историю, гордую и трудную. Средневековая Рига занимала воображение Александра Пушкина, Николая Карамзина. Защитником остзейских крестьян остался в памяти народной Александр Герцен.

Русско-латышские литературные и культурные контакты проявляются многопланово, широко. Кроме факторов, названных выше, это и встречи в Латвии людей разных поколений и занятий с прозаиками, поэтами,

драматургами России, людьми из близкого их окружения, с прототипами героев любимых книг. Вы сможете убедиться: в латвийских главах русских писателей нет ни малозначительных сюжетов, ни случайных, необязательных персонажей. Если — представим на минуту — в пушкинской "Истории Петра" мы не нашли бы страниц о Лифляндии и Латгалии, Риге и Митаве, многое и в ходе Северной войны, и в облике Петра Великого осталось бы непроясненным, сказанным не до конца. Какие-то штрихи в облике Лермонтова, поэта, живописца, человека, продолжали бы оставаться неведомыми, если бы авторам этой книги не посчастливилось выяснить, кто же составлял острый круг гения русского стиха.

Если же собрать воедино названные и многие другие факты, детали, обстоятельства, соотносимые как с творчеством русских писателей, так и с латвийской действительностью разных периодов, нельзя не воздать должное писателям России. Нет ничего сколько-нибудь значительного в прошлом и настоящем Прибалтийского края, в природе его и людях, о чем бы не сказали своего слова стихотворцы, романисты, драматурги от Михаила Ломоносова и Дениса Фонвизина до Константина Паустовского и Анны Ахматовой.

Отголоски раннефеодальной эпохи (X—XII века) на земле нынешней Латвии находим в дневниковой прозе Вильгельма Кюхельбекера, "Истории государства Российского" Николая Карамзина. Беспредельные подвиги латышских вождей и верных им ратников, которые стояли насмерть у стен Кокенгузена и Ерсики, Кеси и Беверины, отражая черные волны вражеских атак, воспели Александр Бестужев-Марлинский и Николай Языков. О победах и поражениях противоборствующих стрелецких полков Ивана Грозного и воинства Вальтера фон Плеттенберга в годы Ливонской войны блистательно рассказал Алексей Толстой. Не счесть русских книг о двух десятилетиях Северной войны, о неизвестных солдатах, которые принесли России победу в сражениях со шведами на полях Лифляндии и Курляндии, о Петре I и феерическом вознесении Екатерины. Среди авторов этих произведений — Иван Лажечников, Евгений Салиас, Юрий Тынянов. Мощная лифляндская полифония, то мрачная, скорбная, то жизнеутверждающая, мажорная звучит со страниц Александра

Радищева и Константина Батюшкова, Александра Пушкина и Ивана Тургенева, Александра Герцена и Ивана Гончарова, Николая Лескова и Константина Случевского, Владимира Короленко и Аполлона Коринфского. О социальных потрясениях на латышской земле в первые десятилетия XX века узнаем из романов и эпистолярного наследия Максима Горького, Михаила Пришвина, повестей и публицистики Леонида Андреева, Сергея Сергеева-Ценского, стихов Валерия Брюсова, дневников Александра Блока. Дела и дни рижан, лиепайцев, латгальских крестьян в Латвии 20—30-х годов предстают в очерках, стихах, воспоминаниях Николая Тихонова, Георгия Иванова, Андрея Седых, Аркадия Аверченко, Ивана Шмелева, Владимира Маяковского, Веры Инбер. Послевоенной Латвии посвятили свои лучшие строки Константин Паустовский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский...

Как известно, отношение к художнику слова определяется степенью его таланта, силой главных его книг. Однако восприятие русского писателя в нерусской среде никак не ограничивается областью "чистого искусства". В ряде случаев такие оценки складываются не без влияния авторских высказываний, рассеянных в дневниках, воспоминаниях, письмах, периодических изданиях. Поэтому в учебнике-хрестоматии вы найдете не только фрагменты из поэм, романов, пьес, но и мемуарные страницы, письма, историко-литературный комментарий. К тому же дневниковые заметки, эпистолярные откровения Дениса Фонвизина и Александра Бестужева-Марлинского, Константина Батюшкова, Николая Языкова и Александра Пушкина нередко в чем-то предвосхищают литературные произведения или дополняют, продолжают их, проясняют движение авторской мысли, композиционные сцепления, сюжетные ходы.

Побудительным началом к осмыслению событийных параллелей, схождений философско-нравственного, эстетического, эмоционально-образного плана станет знакомство с восприятием творчества русского писателя в Латвии, отклики на его произведения. Названного характера переключки явственно различаются при сравнительном чтении гоголевского "Ревизора" и пьесы Эдуарда Вульфа "Праздник в Скангале" или комедии Андрея Упита "Муж вдовы", басен Крылова и Персиетиса, при сопоставлении

фактологии, на основе которой развивается антикрепостническая тема в книгах Радищева и Гарлиба Меркеля.

В историко-литературном комментарии вы найдете упоминания о том, как Аспазия, замороженная музыкой лермонтовского стиха, читает строки из "Демона", а Янис Плаудис и Мирдза Кемпе славят неподвластного времени Пушкина. И пусть сведения эти, вплетенные в канву русско-латышских литературных и культурных взаимосвязей, освещают какую-то одну их сторону — все едино говорят они о многом.

Латышские переводы, выполненные литераторами разных времен, несхожих художественных ориентаций, рецензии и отклики на спектакли в латышских, русских, немецких театрах Риги, Митавы, Либавы помогут представить, как русское художественное наследие воспринималось в Латвии на разных этапах ее исторического, социального, этнокультурного развития. При этом авторами акцентируются следующие аспекты:

- латышская драматургия на русской сцене;
- латышские актеры в репертуаре русских театров;
- латышские художники — иллюстраторы книг русских писателей;
- латышские исследователи русской поэзии, прозы, драматургии.

Интерес к русско-латышским литературным отношениям возник не сегодня и не вчера. Еще современник Лермонтова Борис Икскуль задался высокой целью рассказать своим остзейским одноземцам о поэте дивного дарования, оказывал содействие немецким литераторам в переводе лермонтовской поэзии и прозы. Множество бесценных свидетельств о дерптских годах Николая Языкова оставил нам университетский библиотекарь Эмиль Андрес. В 90-х годах XIX века отмечается попытка представить русско-остзейские литературные связи в хронологической последовательности. Э. Вальдман в журнале "Baltische Monatschrift" выступил с обзором "Русские поэты и прозаики в Лифляндии". С того времени в русско-остзейском диалоге все увереннее, все чаще слышатся голоса латышей. О том, как с каждым годом расширяется круг латышских читателей Чехова, пишут Антон Биркерт и Эдуард Вульф. Лектор Дерптского университета Екаб Лаутенбах в своих публикациях первым заговорил о восприятии в Латвии творчества Василия Жуковского, Александра Пушкина,

Николая Гоголя. Благодарный отклик вызывают литературно-критические очерки Райниса о Пушкине и Горьком. Я. Янсон-Браун и А. Упит выступают со статьями о русской литературе конца XIX — начала XX века.

В 20—30-е годы к судьбе и книгам Федора Достоевского обращаются Зента Мауриня, философы Теодор Целмс и Паул Дале, богослов Альберт Фрейс. О серебряном веке русской литературы и латышских его отзвуках рассказали критик Янис Гринс, поэт и эссеист Янис Судрабкалнс. В середине 50-х годов и позднее к теме русско-латышского сотрудничества обращаются Михаил Николаев, Вера Вавере, Георг Мацков и Алфонс Вилсонс, Тамара и Элга Гинтере, Юрий Абызов, Роман Тименчик, Светлана Иванова, Рэм Трофимов, Эдуард Мекш. В наши дни к ним присоединились ученые и литераторы "третьей волны" — Инна Бергмане, Янис Залитис, Бирута Гудрике, Борис Равдин.

... Когда люди, говорящие по-русски и постоянно живущие за пределами этнической родины, в Латвии, испытывают одиночество, состояние тревоги, неуют, они хотят определиться национально, обрести внутреннюю независимость, гармонию как с латышским окружением, так и со своим прошлым, своими корнями. И обращаются к книгам Тургенева и Льва Толстого, Бунина и Шмелева, к пьесам Чехова, стихам Есенина о красоте и уюте благоденствующего русского дома. Другие писатели напоминают: не в очень дальней дали от русского подворья, на берегах Даугавы и Венты, давным-давно возведены и работающий латышский хутор ("Белая книга" Я. Яунсудрабина, "Страумены" Э. Вирзы), и немецкий светлооконный дом ("Межвалден" О. Гросберга), и осененное Божьим крестом польское отчее гнездо (стихи Ольги Даукшт и Казимиры Иллакович), и еврейский приветливый очаг (рассказы рижского писателя М. Герца). И тропа, ведущая от одного селения к другому, веками не зарастала. И всегда проселочную эту дорогу оглашала разноязыкая речь.

Но это — одна сторона проблемы. Другая ее грань — постижение нелатышами духовного наследия Рудольфа Блауманиса, Райниса и Зенты Маурини, Александра Чака и Ояра Вацietиса, Язепа Витола и Эмиля Дарзиня, Вильгельма Пурвита, Курта Фридрихсона и Эдуарда Смилгиса. Освоение иной этнокультуры вовсе не ведет, как утверждают некоторые, к потере национального лица. Напротив, способствует обогащению личности, содействует

взаимоузнаванию, вхождению в мир латышской духовности.

Может возникнуть вопрос: отчего же авторы, как это явствует из названия книги, не ограничиваются литературными контактами русских и латышей, но в ряде случаев обращаются к Эстонии, Литве, к другим населяющим Балтию народам? Дело в том, что южная Эстония всегда была теснейшим образом связана с Латвией, составляла вместе с ней всем известную Лифляндию. В свою очередь латышские, эстонские, ливские земли вместе с Курляндией административно и экономически входили в единый Остзейский край. Литва — и в этом убеждает любая страница ее истории — в своих отношениях с Россией неотделима от Латвии и Эстонии. Что же касается ливов и русских, немцев и поляков, евреев и белорусов, то они искони являлись жителями Лифляндии, Курляндии, Латгалии. И потому оказывались в поле зрения русских писателей. В этой связи заметим: каждая эпоха, каждая новая писательская генерация остзейский вопрос, вчерашний и нынешний день Балтии трактовала по-своему. Как всегда, в соответствии с требованиями времени, меняющимися социальными, экономическими, нравственными факторами.

Главы не равны по объему. Объясняется это рядом обстоятельств, причин. Много диктуется тем, какое место в жизни и творчестве русского писателя занимала Латвия. Только поэтому глава "Последний летописец Ливонии Николай Карамзин" по количеству страниц превосходит разделы о Пушкине и Гоголе, тексты из произведений Бестужева-Марлинского и Лажечникова представлены обстоятельнее, шире, чем, скажем, включенные в книгу лермонтовские строки.

Авторы не ставили целью давать характеристику творчества представленных в этой книге художников слова. Для этого есть иные источники. К тому же и сам по себе аспект русско-латышских литературных отношений достоин того, чтобы посвятить ему не только предлагаемую вам, но и целый ряд других работ.

По разным причинам включают далеко не все материалы о писателях России, которые обращали свой взор к Латвии. За пределами книги остаются:

— роман безвестного автора XVIII века "Несчастный Никанор, или Приключение жизни российского дворянина Н***" с его рижскими реалиями и людьми;

— статьи М. Ломоносова о латышском языке, о богатствах земли ливов и куршей;

— выступления в защиту людинских крестьян Гавриила Державина;

— рижские письма Николая Греча, повесть Фаддея Булгарина о взятии Вендена ратниками Ивана Грозного;

— цикл пьес Нестора Кукольника о Ливонской войне, о судьбе Иоганна Паткуля, захватывающей и переменчивой;

— лифляндская проза Василия Пассека, Федора Глинки, Андрея Болотова;

— дерптские стихи Василия Жуковского и Петра Вяземского, повести Владимира Соллогуба.

Книга "Латвия в судьбе и творчестве русских писателей" получит продолжение. В скором времени выйдут книги "Обращенные к Латвии русские строки" (русско-латышские литературные отношения во второй половине XIX века), "Звенит ответная струна" (отзвуки поэзии "серебряного века" в латышской литературе), "Книга узнаваний" (русско-латышские контакты в 30—60-е годы), "Культуры, обмениваясь, шумят..." (русско-латышский диалог обо всем сущем, о литературе в наши дни).

Итак, обращение к латышским строфам в былинах, преданиях, песнях, к балтийским страницам в книгах прославленных мастеров русской поэзии и прозы поможет вам осмыслить ведущую закономерность современного художественного развития: ни одна литература не придет к высшим своим достижениям, если ограничится национальными пределами и энергию творчества станет поддерживать исключительно собственными силами. Литературная практика не оставляет сомнений: только взаимодействие, взаимообмен помогут достичь желанных результатов.

У Давида Самойлова есть такие строки:

...Чтобы времен бескровных стать
предтечей,

Ты должен, помолясь,
служитель муз,

Связать в одно узлы
противоречий

И на себя взвалить сей
тяжкий груз.

От себя скажем: "Взвалить... тяжкий груз" нынешних межнациональных противоречий предстоит не только "служителю муз", но и, говоря райнисовским словом, людям "всех рас, всех наречий, всех сословий, объединившихся для общего труда". И погасить конфликты. И начать согласную жизнь. Помогут им в этом, дадут высокий пример сила и красота сотруidничающих литератур.

БЫЛИННАЯ ПЕСНЬ О ЛАТЫШСКОЙ ЗЕМЛЕ

НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ, ОБРЯДЫ, ПЕСНИ

Истоки любой национальной литературы — народно-поэтическое творчество. О происхождении фольклора в разные годы высказывали мнение историки и археологи, этнографы и языковеды, психологи и философы. Известно несколько теорий происхождения песен и сказок, пословиц и загадок, былин и легенд. Одна из них — о первобытном синкретизме¹ как источнике всех видов искусства.

Решительно все в жизнедеятельности первобытного человека — поклонение святыням, труд, отдых, разные стороны семейного и общественного уклада — было сопряжено с пением, танцами, ритуальными изменениями внешнего облика (преображение в зверей и птиц, маски, татуировка, украшения). Со временем из единого фольклорного потока отслаивались, обретали самоценное значение песни, танцы, предания, сказки, загадки.

Сторонники иных взглядов, выясняя самые ранние источники искусства, подчеркивали роль трудового ритма в становлении ведущих фольклорных жанров. И в наши дни широко известна русская песня "Эй, ухнем!", проникнутая ритмами тяжелого и согласного труда портовых грузчиков, бурлаков. И сегодня поют латыши свои дайны, рожденные в незапамятные времена или в сельской кузнице, или на току, или на покосе.

¹Синкретизм — изначальная слитность, нерасчлененность разных видов искусства, разных родов и жанров поэзии.

Знакомство с песней, самым распространенным фольклорным жанром в Древней Руси, предполагает знание хотя бы кратких сведений о невообразимо долгом пути ее развития — от первобытных заклинаний, обожествления природы и предков до поклонения обитателям русского Олимпа, до балто-славянской мифологии.

Летописи и церковные поучения, жития святых и письменные свидетельства иностранных послов, торговых людей, миссионеров — проповедников христианства хранят достоверные свидетельства того, как пращуры наши приносили жертвы озерам, колодцам, рощам¹. В христианской Руси запрещалось называть Богом солнце, огонь, водные источники, деревья. Против поклонения природным стихиям, идолам строго предупреждал в своих поучениях Кирилл Туровский.

Сведения подобного рода, относящиеся к латышской языческой мифологии, сохранились и в богословских трактатах, и в юридических документах (допросы "ведьм" и "колдунов"), и в записках иноземных путешественников XV—XVI веков. Н. М. Карамзин, ссылаясь на ливонских авторов, говорит: "Лифляндцы обожали еще светила небесные и змей. Женщины поклонялись богиням Лайме и Дякле: первая благодворила родительницам, а вторая младенцам. Девы приносили жертву идолу Ванцгантосу, моля его, чтобы он дал им льну для одежды".

Веками у восточных славян складывались верования в высшие божества. В 980 году Владимир Святославович воздвигает в Киеве Пантеон. Об этом в летописи читаем: "И постави кумиры на холму вне двора теремнаго: Перуна древяна, а главу его сребрену, а ус злат, и Хорса, Дажьдбога, и Стрибога, и Симарьгла, и Мокошь"².

На тождественность, единство Перуна, громовержца, хранителя княжьей дружины, и латышского Перкона ("Pērkons") обратил внимание еще М. В. Ломоносов³. "Скотьего бога Велеса" — упоминается он в памятниках древней письменности — видный лингвист М. Фасмер сопоставляет с латышским словом *veļi* (духи умерших).

¹Об этом, например, рассказывает Первая Новгородская летопись.

²"И поставил идолы на холме за княжеской околицей: Перуна, деревянного с серебряной головой и золотым усом, и Хорса, Дажьдбога, Стрибога, Симаргла, Мокошь".

³См.: *Stradiņš J. Lomonosovs un Latvija.* — Rīga: Zinātne, 1987, 49. lpp.

Такое сближение небезосновательно: Велеса ряд исследователей соотносит с душами предков. Дажьбог соответствует латышскому божеству Солнцу (*Saule*), Стрибог — повелителю моря и ветров (*Vēja māte, Jūras māte*).

Сами имена Дажьбога и Стрибога побуждают задуматься: почему латышское *Dievs*, по первому впечатлению, не имеет русского лексического соответствия? На самом деле это не совсем так. Русская мифология знает вещь чудовищная, невидаль — "Див". Однокоренные *Dievs* и *Див* изначально боги судьбы и счастья. В раннефеодальную эпоху восточные славяне, испытывая самые разные беды — княжеские междоусобицы, набеги степняков, по своему толковали горестную долю народную, и Див стал для них предвестником несчастий (вспомним "Слово о полку Игореве"). Но можно ли отнять у людей надежду на счастье! И новое божество, несущее солнце, свет, мирные дни, русские отыскивали в скифо-сарматской мифологии. Звали его *Bhagas*, на русской почве — *Бог*.

Если говорить о других обитателях Киевского Пантеона — Стрибоге, Хорсе, Симаргле, Мокоши, не имеющих балтийских лингвистических соответствий, — имена их, по мнению исследователей, заимствованы или из тюркской, или финно-угорской, или скифо-сарматской мифологии.

В средние века и русские и латыши не забывали о бесчисленных духах. В зависимости от отношения к ним людей они становились то добрыми и верными их помощниками, то злыми и мстительными недругами. У русских — это домовые, лешие-переплуты, русалки-лоскотухи или берегини, водяные, коргоруши. Ближайших родственников этой нечисти знали и латыши: хозяина очага (*Mājas kungs*), мучителя домашней живности (*Lietuvēns*), сводящего с пути истинного (*Vadātājs*), коргорушей (*pūķi*).

Поражает обилие синонимов, обозначающих у русских и латышей всю эту вражью силу. Домового, скажем, русские называли доможиллом, дворовым, соседушкой, хлевником, кормильцем, бесом-хороможителем (Сысоем). Латыши — хозяином очага (*Mājas kungs*), стариком (*Vecis, Vecākais*), гостем (*Ciemiņš*). Восточные славяне знали не только слово *русалка*, но и *навка* (производное от древнерусского *навь* — смерть, латышское *Nāve*), купалка, берегиня, водяница. Чёрта еще в XIX веке называли: шиш,

шишига, нежить, нечистик, лукавый, враг, шут, окаяшка, морок, немытик, анчутка (болотный черт: от литовского слова *ančute* — утка), куций, корнехвостый, лысой.

Латышская Мара (*Māra*) при ближайшем рассмотрении оказывается совсем сродни общеславянской богине Маре или Море. Но столетия внесли иные акценты, усилили различия в восприятии этого божества русскими и латышами. Если славянские племена и народы наделяли Маре-Море разрушительными свойствами, соотносили ее с понятиями "мор", "моровое поветрие", "смерть", "Кикимора", то древние латгалы, земгалы, курши в святом этом образе видели покровительницу всего сущего на земле.

Когда на Руси стало утверждаться христианство, старые языческие верования начали проникать в православное учение, объединяться с ним. Образы грозного Перуна и гневного Ильи-пророка слились воедино, Велес принял доброе обличье святого Власия, Параскева-Пятница пришла с той поры на смену языческой Мокоши.

Во времена двоеверия Бог и Dievs переняли назначение всемогущего христианского Саваофа (наследника иудейского Яхве-Иеговы), а грозный повелитель подземного царства велей — Велес и его собрат — славянский "скотий бог" Велес обернулись средневековыми чертями. Но иудейских и христианских падших ангелов, демонов, дьяволов, вельзевулов они все же напоминали слабо.

Приметы языческого ритуала сохранились в календарной обрядности, поверьях, песнях. С наибольшей полнотой эти многоцветные, радостные действия отозвались в зимних святках (*Ziemassvētki*).

Почитаем у В. Жуковского:

Раз в крещенский вечерок
Девушки гадали.
За ворота башмачок,
Сняв с ноги, бросали;
Снег пололи; под окном
Слушали; кормили
Счетным курицу зерном;
Ярый воск топили.
В чашу с чистою водой
Клали перстень золотой,
Серьги изумрудны;

Расстилали белый плат
И над чашей пели в лад
Песенки подблюдны.

(“Светлана”)

Подобные гадания знали и латыши.

Главное в святочном ритуале — проводы старого года. Овеществленные символы прожитых дней: у русских — дымящаяся головня (“карачун”), которую с песнями носили по деревне и в последние часы святочной недели сжигали; у латышей — из хутора в хутор — катали колоду (*bluķis*), и верхняя ее заостренная часть немногим отличалась от русской головни.

Ни одни святки не обходились без ряженных (латыши их называли *budēļi, ķekatas, čigāni*). Среди излюбленных масок у русских и латышей — коза, волк, медведь, журавль, которые по народным поверьям приносили земле плодородие. Изображали участники древнего народного маскарада и персонажей загробного мира — смерть с косой в руке, покойника, высокую женщину в белом одеянии. Не явись они в праздничный день — урожай оказался бы бедным... По латышским хуторам шествовали ряженные: острый на слово русский мужичок с медведем, пестро одетые цыганки, предсказывающие скорое счастье...

Общие для русских и латышей святочные обряды, ритуальные действия просматриваются и в созвучных песенных элементах. Это — и сюжетно близкие запевы:

У русских

Пришла Коляда
Накануне рождества...

У латышей

*Ziemassvētki sabraukuši
Rakstītām kamanām...*

(Зимний праздничек при-
мчался на расписанных
санях¹.)

И пожелания хозяевам доброго урожая:

¹Здесь и далее латышские народные песни по-русски даются в под-
строчном переводе.

А дай Бог тому,
Кто в этом дому...
.....
Ему рожь густа,
Рожь ужимиста.

*Pūti, pūti, Ziemeļiti,
Ziemassvētku vakarā:
Klētī pūti rudzus, kviešus,
Kūti bērūs kumeliņus!*

(Дуй, дуй, сиверко,
В праздничную ночь.
В клеть надуй нам рожь,
пшеницу,
В хлев — каурых жереб-
цов.)

Сходства проявляются и в частностях, деталях. Назовем излюбленный рефрен латышских песен *kaladū* (вспомним опять-таки Коляду — символ праздника на Руси), соответствующие случаю русские кушанья:

*Došu koču, došu zirņus,
Došu cūkas smecerīt'.*

(Дам кутью, гороху дам,
Дам свиную голову.)

Разудалые весенние напевы, живописные обряды-карнавалы связаны с масленицей (у латышей — *metenis*). И русские, и латыши без тени сожаления провожают зиму, с надеждой "зазывают весну". На этот раз с пением сжигают — или пускают вниз по реке, или развевают по всей пашне — соломенное чучело (жители Северной Руси зовут его "Костромой"). Обряд этот сопровождается пением:

*Кулик, кулик,
Замыкай зиму,
Отмыкай весну —
Теплое лето.*

Латыши прогоняют зиму такими словами:

*Pūti, pūti, ziemeļiti,
Ej projām ledutiņ'!
Lai zālīte zaļojas,
Lai kumeļi barojas.*

(Подуй, подуй, сиверко!
Ступай прочь, синий ледок.
Пусть травка зеленеет
И кормит жеребят.)

По народному поверью, чем веселее потехи, чем резвее мчатся на масленицу тройки и выше, к самым небесам,

взлетают качели на Великдень (латышское *Liieldienas* — Пасха), тем ярденее уродит лен.

*Es māsiņu vizināju
Metēdienes vakarā,
Lai aug man gari lini
Ar ziliem ziedīņiem.*

(Я сестричку покатаю
Перед самой масленицей.
Пусть растет высокий лен
С синими цветочками.)

*Kas to Liieldienu
Iešūpoja,
Tam auga liniņi,
Tam kaņepītes.*

(Кто на Великдень
На качелях покачался,
У того ленок растет,
Поспевает конопля.)

Праздник летнего солнцестояния (у латышей *Līgo-svētki*, *Jāņu diena*, у русских — Купала, Иванов день) сопровождается во многом близкими обрядами, гаданиями. (Вспомним "Вечер накануне Ивана Купала" у Н. В. Гоголя, прочтем эпизод о празднике Лиго в "Белой книге" Яниса Яунсудрабиня.) Избы, клети, хлева в эти дни украшаются березками (у латышей, кроме того, венками из дубовых листьев). В хлевах развешивают ветки колючих кустов, чтобы ведьмы и колдуны выкололи себе глаза и не занесли порчу.

Девушки на берегах Волги и Дона, Даугавы и Гауи плетут венки, пускают их по воде — гадают о суженом. Чтоб не одолевали разные хвори, — прыгают через огонь. Ночью ищут цветок папоротника, надеются зарытый клад отыскать... Блеск и пестрота долгожданного праздника отчетливо слышатся в песне, которая в стародавние времена оглашала речные берега и лесные поляны в ночь на Ивана Купала, а ныне поется на Семик (Троицу):

*Там девушки гуляли,
С лужка цветочки-цветики собирали,
Веночки плели.
На венках они гадали,
Венки в реку-реченьку бросали.
Чей венок всплывет,
Про ту милый вспоманет¹.*

¹Русский Иванов день приходится на Петров пост, когда запрещаются любые, идущие с языческих времен увеселения. Поэтому купальские песни звучат на Семик (Троицу).

В латышских песнях Лиго (великое их множество дошло до наших дней) слышатся отзвуки всего многоцветья балто-славянского праздника летнего солнцестояния. Вот одна из них:

<i>Es nopīnu Jāņu nakti</i>	(Я сплела себе веночек
<i>Rudzu puķu vainadziņu,</i>	В ночь на Лиго, в ночь на Яна,
<i>Gribēdama skaidru vīru,</i>	Чтобы муж мой трезвый был,
<i>Tīru rudzu maizi ēst.</i>	Чтобы есть мне чистый хлеб.)

В цикле весенних песен землепашцы просят святого Юрия "отомкнуть" землю и выпустить на волю траву-мураву.

Юрий, добрый вечер!
Юрий, подай ключи!
Юрий, отомкни землю!

Близкие мотивы слышатся и в латышских песнях. Другая тема песен на Юрьев день — извечная крестьянская мечта: выходить здоровые и обильные стада.

У русских

Ты спаси нашу скотину
В поле и за полем,
Под светлым под месяцем,
Под красным солнышком,
От волка хищного,
От медведя лютого,
От зверя лукавого!

У латышей

Jurgītim jostu jožu
Pašā Jurgū vakarā,
Lai tas manas avis gana
Visu garu vasariņu.

(Пояс Юргису сплела я
Перед самым праздником.
Ты паси моих овец
Долгое все леточко.)

Jurgīts jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Es tecēju vārtu vērt,
Man iedeva devīto.

(Юргис гнал табун в ночное —
Девять вороных коней;
Я ворота отворил —
Мне девятого за это.)

Семейная обрядность, свадебная игра... Сватовство у обоих народов чем-то напоминает народное представление. Наряженные по давней традиции сваты приезжают

Третий замок — дубовый гроб,
Дубовый гроб плечи стиснул,
Плечи стиснул не на денечек,
Не на денечек — на весь век.)

Русский свадебный обряд не обходится без "плача невесты": Умывалась красна девица слезой... Этот же мотив встречаем и в латышских песнях: *Raudādama brāļu māsa bāleliņus pavadija* (Плача, сестра братьев провожала), *Raudādama brāļu māsa iet tālās tautiņās* (С плачем сестра уходит в дальний путь). Слез ждут от невесты, если даже они не ко времени: *Paraudi, māsiņ, kaut slavās dēļ* (Всхлипни, сестрица, хоть для вида).

Другой неперенный мотив свадебного обряда — прекорания, жаркий спор поезжан (*vedēji*) и проводящих (*rapnāksnieki*). Поезжан родственники невесты "не пускают" в дом, настойчиво требуют выкупа, играя, высмеивают друг друга в песнях. Родственники невесты упрекают поезжан:

— Как вы сватались, так хвастались:
"Что у нас три корыта
Золота в землю зарыто",
А теперь вы пустым кошельком
Обманывать и обманывать.

Латышские проводящие (*rapnāksnieki*) выговаривают поезжанам не менее хлесткие слова:

Kas ienesa, kas ienesa
Suņu smaku istabā?
Dižajam vedējam
Suņu ādas zābaciņi.

(Это что же и откуда
Песий запах в комнате?
Поезжанин первый, главный
Сшил сапожки из собаки.)

Свадебная игра не обходится без "девичьей красы" — разукрашенной елочки. Это символ непорочности, девичьей чистоты. У русских, совершая обряд "катания красы", невеста или ее подружки поют:

— Возьми мою красу на белы ручушки,
Неси мою красу в чисто полюшко,
В чисто полюшко, ко белой березушке.
Краса красуется, береза белуется.

Без свадебного деревца немислим приезд невесты в дом жениха и у латышей. *Eglītes nesējs* водружает елочку на крыше.

*Nu ved tautas, nu ved tautas
Melnu egles galotnīti;
Atveduši, uzsprauduši
Uz bāliņa namdurvīm.*

(Ну везут, ой везут
Темную верхушку ели;
Привезли и укрепили —
Братов дом украсили.)

Наконец невесту привезли в дом суженого. Жених обращается к отцу-матери:

— Переймай, батюшка с матушкой,
Переймай-жа боярей и князьев.
Люба ли вам, матушка, будет лебедушка?
— Наше милое дитяtko, как тебе любa,
Как тебе любa, а нам давно хороша.

Этот же мотив находим и в дайнах:

.....
*Nāc nu, māte, raudzīties,
Kāda mana līgaviņa.
(Приди, взгляни, матушка,
На мою невестушку.)*

Не раз в долгом свадебном обряде жених, покоренный сердечностью, нестроптивостью, красотой своей избранницы, славит ее перед всем честным людом:

У русских

— Как в меня-то женушка
Не спесивая, не ломливая!
В высок терем вошла,
Богу помолилась,
Гостям поклонилась.

У латышей

.....
*Maza, maza, bet kur skaista
Mana brāļa līgaviņa.*

(Не большенькая, да славная
Братова невестушка.)

.....
Raženam piederēja
Jo ražena līgaviņa.
(У славного жениха
И невеста непроста.)

Едва ли не главный эпизод свадебной игры — замена девичьего венка женским чепцом (по-латышски *mičošana*).

Русская молодая жена прощается с привольной девичьей жизнью, с подружками:

— Ах вы, мои молодушки,
Не судите меня, девушку!
Что не сама я к вам заехала.
Завезли меня добры кони,
Добры кони Михайла,
Михайла Ивановича.

У латышей этот ритуал сопровождается множеством подробностей, неведомых русской свадьбе. Жених, освобождая свою суженую от венка, передает его младшей сестре невесты. Подружки подбивают невесту сбросить чепец и поют: "Худо сидит! Неприглядно!" И только с третьего раза искусно вышитый убор украшает невесту. Гости поют:

Valkā mīci,
Mīli vīru,
Glabā bērnu,
Audzē lielu.
(Носи чепец ладно,
Мужа люби,
Храни дитя,
Пусть растет большим!)

Финальный свадебный напев во многом совпадает у русских и латышей:

Отлучилась девчонка прочь	<i>Dziediet, sievas, dziediet, sievas,</i>
От стада девичьего.	<i>Viena sieva vairumā!</i>
Прилучилась девчонка	<i>Raudiet, meitas, raudiet, meitas,</i>
К молодым молодушкам.	<i>Viena meita mazumā!</i>

(Пойте, молодушки, радуйтесь,
милые,
Одной молодушкой стало больше,
Плачьте, девушки, рыдайте,
Одной девушки недостает.)

Сюжетно-образные переключки отмечаются и в лирических (любовных), и в семейных, и в рекрутских песнях русских и латышей. Дайна "Tāļi māte mani deva..." близка русской песне "Выдавала меня матушка далече замуж". И в одном, и в другом тексте судьба молодой жены в чужой семье складывается горестно. Потому-то и хочет она обернуться кукушкой, полететь в отчий дом. Может, отец, мать и братья родные услышат ее печальный голос. Но признал в малой пташке сестру только младший ее брат. Обращаясь к домочадцам, он говорит: "Не наша ль это сестрица из-за моря?"

В латышской песне младший брат говорит кукушке:

*Ja tu esi mūsu māsa,
Ej uz mūsiet ciemā,
Ja tu esi dzeguzīte,
Skrien pa zaļu mežu.*

(Если наша ты сестрица,
Приходи к нам в гости.
Если ты кукушечка,
Поспеши в зеленый лес.)

ЗАГАДКИ

Отличаясь затейливой, глубоко поэтичной, предельно краткой формой, привлекая внимание к любым предметам и явлениям, к любым сторонам народного обихода, загадки дают возможность испытать отгадывающего на сметливость, находчивость, наблюдательность. Одни русские и латышские загадки совершенно тождественны:

Дедушка мост мостит без топора и клиньев. (Мороз.) —
Mazs, mazs vīriņš uztaisa tiltu bez cirvja, bez āmura.

(Маленький-премаленький мужичок мост мостит без топора и молотка.)

У двух матерей по пяти сыновей, одно имя всем. (Пальцы.) —
Divām māsām katrai pieci dēli, visiem vienādi vārdi.

(У двух сестер по пятеро сыновей, имена у всех одинаковые.)

Черненькая собачка свернувшись лежит, не лает, не кусает, а в дом не пускает. (Замок.) —
Mazs, mazs sunītis tur pie durvīm: ne rej, ne kož, bet iekšā nelaiž.

(Маленькая-премаленькая собачка у дверей сидит: не лает, не кусает, а внутрь не пускает.)

В других предстают в чем-то соотносимые явления общественной жизни, крестьянская обрядность, живой мир, но находят они разное словесно-образное выражение:

Черен, да не ворон, рогат, да не бык, шесть ног без копыт; летит — воет, сядет — землю роет. (Жук.) — *Melnš, mazs vīriņš sēž vienmēr aizkrāsnē, visu savu mūžiņu spēlē uz vijoles.* (Circenis.)

(Маленький черный мужичок век за печкой сидит, день-деньской на скрипке наигрывает — Сверчок.)

Русские и латышские загадки, совпадающие то ли в полной мере, то ли в каких-то частностях, подробностях, в одном случае восходят к общему балто-славянскому праязыку, в другом — к более поздней эпохе, когда оба народа сформировались как самостоятельные этносы. Каждый — со своим языком, своим бытовым укладом, психологическим обликом, фольклором.

Вслушаемся в звучание загадок: Два кольца, два конца, в середине гвоздик. — *Divi gali, divi caurumi, bet vidū nagla.* Русская загадка запоминается не только своим смысловым содержанием, но и четким ритмом, счастливо найденной аллитерацией, которые не отмечаются в латышской пословице.

С другой стороны, загадки, неизвестные другим народам, становятся незаменимым источником постижения психологического, этнокультурного, нравственного склада их создателей.

Названия городов, рек, озер; метафорические описания церквей, изб, овинов, бань; приметы сельскохозяйственных работ; галерея людей разных сословий, нравов, состояний — все эти географические обозначения, занятия, типы, подробности крестьянского быта далеко не всегда имеют соответствия в фольклоре других народов.

Нелегко разгадать загадки, в которых встречаем приметы народного уклада, упоминания о полевых, хозяйственных работах, которые знали только в Латвии.

Veca māte purvā sēd,
Krustamīce galvā.

(Старушка в болоте сидит,
Крест на голове.)

Знаете разгадку? Ответ между тем таков: стог рогожей покрыт, поверх жерди наброшены, чтобы дождевая вода в

сено не стекала. Латышскому пареньку предстояло хорошенько подумать, прежде чем найти ответы на такие загадки:

Kunga dūre ceļmalā, (Господский кулак на краю дороги
Īkšķa gals debesīs. большим пальцем в небо уперся.)

О т в е т : Церковь.)

Caur piedurkni (Через рукав молоко процеживают.
pienu kāš. О т в е т : Дым, выходящий из окон
овина.)

Lielskungs guļ uz (Большой господин спит на камнях,
akmeņiem, малые господа — на подушечках.
Mazie kungi — uz О т в е т : Возведен дом на камнях,
spilveniem. бревна мхом законопачены.)

Не забыли придумщики загадок о своих реках и городах:

Viena māsa Rīgā, (Одна сестра в Риге, другая в
Otra Valmierā, matu Валмиере, косы же их рядом.
bizes kopā. О т в е т : Соединенные два ската
кровли.)

В некрасовской поэме "Кому на Руси жить хорошо" поражает точное наблюдение:

Крестьяне в речь Петрушкину
Вставляли слово острое,
Какого не придумаешь,
Хоть проглоти перо.

Именно такими задорными, переливчатыми, емкими по мысли словами расцветивали русские люди свои загадки:

Комовато, ноздревато,
И губато, и горбато,
И тяскло, и кисло,
И пресно, и вкусно,
И красно, и кругло,
И легко, и мягко,
И твердо, и ломко,
И черно, и бело,
И всем людям мало. (Каравай)

И отдельные слова, и целые речения, которые теперь мы привычно называем неологизмами, были известны и создателям малых фольклорных жанров.

Певунчики¹ поют,
Ревунчики² ревут,
Текунчики³ текут,
Бегунчики⁴ бегут —
Сухо дерево⁵ везут. (Похороны)

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Какие-то новые штрихи в национально-психологическом и этнокультурном облике русских и латышей оттеняет сопоставительное изучение пословиц и поговорок. Эти чеканные, афористичные высказывания с предельной ясностью свидетельствуют об отношении к тем или иным явлениям социального, бытового, нравственного характера, их оценки.

Бытуют у латышей пословицы, известные и другим народам:

Par vienu mācītu dod divus nemācītus.

(За ученого двух неученых дают.)

Viens ar, bet septiņi plāta rokas.

(Двое пашут, а семеро руками машут.)

Отмечаются нередкие случаи, когда русские и латышские пословицы — ранее это наблюдалось во всем своде загадок — совпадают по лексическому, понятийному составу:

По работе и работника знать. — Darbs dara darītāju.

Как аукнется, так и откликнется. — *Kā mežā sauc, tā atskan.*

Понурая свинка глубок корень роет. — *Lēna cūka dziļu sakni rok.*

Не убив медведя, шкуру не продают. — *Lācis vēl mežā, kad ādu jau dala.*

¹Певунчики — поющее духовенство.

²Ревунчик — плакальщик.

³Текунчики — текущие слезы.

⁴Бегунчики — бегущие кони.

⁵Сухо дерево — гроб, домовина.

В фольклорных сборниках находим немало пословиц, близких по содержанию, по открыто выраженным моральным установкам, которым исстари следовали и русские, и латыши:

Седина в бороду, а бес в ребро. — *Jo vecs, jo traks.*

Борода с ворота, а ум с калитку. — *Liels cilvēks, bet kumeļa prāts.*

В этих же изданиях встречаем и такие русские пословицы, которые доносят отзвуки грозных исторических потрясений.

— Погибли как обры¹.

— Пусто, словно Мамай воевал.

В иных пословицах приметы народного быта, типичного только для русских.

— Волынка да гудок — собери наш домок.

— Спляшет, да не как скоморох.

— Стенька Разин на ковре летал и по воде плавал.

Неиссякаемый источник пословиц — летописи: "Лучше есть на своей земле костью лечи, чем на чуже славну быти", "Мир стоит до рати, а рать до мира", "Мертвии бо сраму не имуть", "Ни моря уполовню вычерпать", "Не едал бо есми от песка масла, а ото козла млека", "Не погнетши пчел, меду не едать".

Известны и латышские пословицы, связанные с давней или близкой историей народа, привычным его укладом:

Te, kundziņ, naudiņa, te lakatiņš.

(Вот, барин, денежки, вот и платочек [в этот домотканый лоскут крестьянин бережно заворачивал скудные свои гроши].)

Kamēr nav muižas, jāiztiek ar pirti.

(Пока мызы нет, обходись баней.)

Iebrauc kā muižnieks Jelgavā.

(Въехал, словно помещик в Елгаву.)

Ēd kā pa spranču laikiem.

(Ест, как в дни французского нашествия.)

СКАЗКИ

Емкий, многоцветный, сверкающий мир сказки... Полет мечты и чудесные превращения, неистощимая выдумка и с детства любимые персонажи. Первые — но на-

¹Обры (авары) — повествует летопись — это великаны, не знавшие сострадания и жалости. За жестокость истреблены Богом.

всегда — уроки поэзии и красоты. И все это — сказка... Драгоценные россыпи народного творчества приобщают юных — и не только юных — читателей и слушателей к извечным духовным и нравственным ценностям, зовут к бесстрашию и трудолюбию, милосердию и добру, к отзывчивости и справедливости. Образно-эмоциональная природа сказок, их глубинная, внутренняя суть воспринимаются лично значимее, многомернее, если сопоставляются русские и латышские тексты.

Рассматривая сходные ситуации, связанные, скажем, с удивительными свойствами волшебного ларца, можно увидеть: в сказке, рожденной где-то в средней полосе России, из чудесного берестяного туеска возникает невиданной красоты дворец в окружении золотых и серебряных рощ. Из латышской резной шкатулки неспешно вылезает мудрый еж, ведающий, как звездное небо расстелить над землей, и выползает уж, спешащий творить добро людям и зверям. Выбегает на волю коровье стадо и рассеивается на приречных зеленых лугах. И в одном, и в другом эпизоде отозвалась мечта о народном благоденствии, о справедливости и красоте. Мечта эта от века была заветной как для русского, так и латышского землепашца, лесоруба, рыбака.

Еще одно наблюдение: времен связующая нить подчас самым неожиданным образом соотносит старинные сказки с непростой нашей эпохой, побуждает о многом задуматься.

Ведущие школы фольклористики — мифологическая, миграционная, историческая — по-разному объясняют причины типологической близости русских и латышских сказок, возникновение сходных сюжетов, образов, положений. По мнению одних, — это осколки мифов, известных всем древним народам. Другие близость объясняют миграционными процессами, блуждающими сюжетами (с Востока на Запад или с Запада на Восток). По утверждению третьих, стародавний уклад, древние верования, обычаи и обряды — источники повествовательного фольклора.

Во многих русских и латышских сказках о животных — "Лисичка-сестричка и Волк" и "Zvejnieks un Lapsa", "Kā Lapsa mācīja Vilku zvejot zivis" ("Рыбак и Лиса", "Как Лиса учила Волка рыбу удить"); "Звери в яме" и "Zvēri iekrīt

bedrē"; "Лисичка со скалочкой" и "Lapsa par nabadzi" ("Лиса-побирушка"); "Заяц, Лиса и Петух" и "Zaķis un Lapsa"; "Кот, Петух и Лиса" и "Kaķis, Gailis un Lapsa" — сходные событийные линии, в чем-то близкие персонажи. Вместе с тем каждая из них отмечена печатью неповторимости. Русские сказки от латышских разнятся своим "складом-ладом". К примеру, песенными вставками:

"Котик, мой братик!

Несет меня лиса

В дремучие леса,

За высоко гору,

В тесную нору".

(*"Кот, Петух и Лиса"*)

В латышских сказках такие вставные ритмизованные эпизоды встречаются реже.

Означает ли сказанное, что русские и латышские сказки о животных находят полное соответствие? Свообразием, идущим из глубин народного бытия, явственно выраженными этнопсихологическими подробностями замечательны русские сказки "Лиса-плачеха", "Лиса-исповедница". Знакомство с ними не оставляет сомнений: такие сюжеты могли сложиться только в православной русской среде. Все в них единственно, неповторимо — и лексика, и образная природа, и стиль: "Эх, вор Петруша, — говорит Лиса-исповедница, — не бывать тебе в пресветлом раю, не пивать тебе из медной чаши".

С другой стороны, латышские сказки и предания "Kā zvēri Daugavu raka" ("Как звери в Даугаве дно прорывали"), "Zvēri un abru taisītājs" ("Как старик себе еды добыл"), "Gailitis un Vistiņa" ("Петушок и Курочка") отличаются живыми приметам латышского крестьянского обихода, нехарактерными для русского фольклора.

Волшебные сказки... Проникнуться магией волшебных сказок — значит восхититься игрой смысла и слова, расшифровать аллегорическую суть персонажей и "вещного" их окружения. Исследователи предлагают любопытную статистику. Из 173 сюжетов, наиболее распространенных в волшебных сказках, пятнадцать известны не только русским и латышам, но и украинцам, белорусам, литовцам, эстонцам, карелам. Это сказки о борьбе со злым чудищем

Кошеем Бессмертным, трехглавым змеем, великаном-песьеглавцем, о счастливом избавлении от вражьей силы. Знакомство со сказками "Царевна-лягушка" и "Varde par palīgu", "Жар-птица" и "Putnu Bulbulis", "Мальчик с пальчик" и "Sprīdītis", "Конек-горбунок" и "Zirgs par palīgu" в этом убеждает.

Двадцать девять сходных сюжетов отмечены в латышских, русских и литовских сказках. Среди них: "Золушка" — "Pelnušķīte", "Безручка" — "Bezrocīte", "Кот в сапогах" — "Kungs no aizkrāsnes" ("Помещик из Запечья"), "Золотая рыбка" и "Pasaka par zvejnieku un zelta zivtiņu".

Однако — и об этом шла речь выше — фабульные совпадения, смысловые переклички, конечно же, никак не противоречат необщему выражению, исключительности устно-поэтических произведений разных народов. К тому же "кочующие сюжеты" отмечаются далеко не в каждой сказке. Скажем, коллизии, получающие развитие в "Финисте-Ясном соколе", "Незнайке", "Невестке-богатырке", почти не встречаются в собраниях латышских сказок. И наоборот, носители русского фольклора не знают широко известных среди латышей преданий о летающих по воздуху озерах, о кладах, зарытых совсем неглубоко, о незадачливом черте, который всегда оказывается посрамленным.

Но выяснение сюжетных совпадений и различий — только одно направление сравнительного анализа сказок. Другая сторона — определение степени родственности персонажей, общности их устремлений, поступков, человеческих качеств. В этом случае речь может идти о положительных героях в латышских и русских сказках. Это —

а) младший брат — "дурачок", падчерица (pameita, bārenīte, sērdienīte), Золушка (Pelnušķīte);

б) мудрые люди — разгадчики загадок, победители чертей и другой нечисти (Мальчик с пальчик — Sprīdītis, Īkstītis; Василиса Премудрая);

в) богатыри (Иван-Медвежье ухо — Lāčausis).

Враги, противостоящие положительным персонажам, отличаются более определенно, резко. Кроме известных в сказках обоих народов черта (velns), ведьмы (tagana), змея-дракона (pūķis), песьеглавца (sumpurnis), великана (milzis) русские фольклорные произведения невозможно представить и без Кошея Бессмертного, Бабы-яги, Змея Горыныча, Кикиморы, лешего, водяного, Морского царя.

Трудно отыскать волшебную русскую сказку без мудрой присказки, афористичной концовки, песенных вставок: "За морем за океаном, за островом за Буяном"; "Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается..."; "Я там был, мед-пиво пил, по усам текло, в рот не попало". Для латышского фольклора такие отступления от ведущих сюжетных линий нехарактерны.

В латышском повествовательном фольклоре отчетливо — из предания в предание — звучат темы, соотносимые с латышско-русскими военными отношениями. Это — "Сражения русских со шведами", "О Храмовой горе в Алуksне", "Петр Великий — спаситель Риги", "Русский царь Петр на дорогах Видземе".

... Никак не удавалось Петровым полкам взять крепость Лиелварде. Такими надежными были ее стены и рвы, такими бесстрашными защитники. Тогда сказал царь: "Пусть пастух спокойно пасет свое стадо, пусть пахарь пашет свое поле! Я никого не трону. А коли Бог поможет, из этого края возьму себе жену". Что не удалось царю в жарких битвах, того достиг он ласковым словом. По цареву зову явились латышские девушки. На одной из них, Катрине, сверкали серьги. Ее-то повелитель россиян и выбрал себе в жены. Эта девушка жила на хуторе Мазие Сталдаты. Когда царь объявил о своем решении, на реке Огре, против хутора Лиелие Сталдаты, для Катрины поставили купальню. Еще совсем недавно на том месте можно было видеть черные от времени доски, балки, ведущие к воде, осевшие ступени...

Предание это вызывает интерес в нескольких отношениях.

Необыкновенные происшествия (и военные, и самые мирные) имеют реальную основу. Только подчиняются они, так сказать, законам жанра. Все происходит так, как это случается в легенде.

Да, женой Петра стала воспитанница пастора Глюка. Стала русской императрицей Екатериной I. Но родные для нее Вышки, или Алуksне, — это, как известно, не Лиелварде и не Лиелие Сталдаты. Поэтому никакой купальни на Огре для своей избранницы царь соорудить не мог. Народное воображение немало потрудились и в дальнейшей передаче событий. "Через несколько лет Катрина прислала из Петербурга письмо своим родичам в Лиелварде, чтобы ехали к ней, в Петербург. Но все они к тому времени

перемерли". На самом же деле сестры императрицы, к полному своему удовольствию, прибыли в царские палаты... Как видим, предания являются не сами по себе. Их рождает жизнь.

БЫЛИНЫ

В контексте рассматриваемой темы — "Русские былины и эпические жанры латышского фольклора" — уместным окажется вопрос: почему в устном поэтическом творчестве латышей не утвердился жанр, близкий русской былине? Видный латышский этнограф и фольклорист второй половины XIX века Я. Спрогис объяснял это следующим образом: в XIII—XVI веках крестьяне, жестоко притесняемые рыцарями-крестоносцами, "потеряли всякое понятие о свободе и... личном своем гражданском достоинстве". Это обстоятельство никак не способствовало бытованию эпических песен о героях, передаче произведений этого жанра из поколения в поколение¹. Уроженец Лиепай Н. Соколов, впоследствии сотрудник Этнографического отдела Российского географического общества, не разделяя мнения Я. Спрогиса, полемизировал с ним. Гнетом чужеземцев, — полагал Н. Соколов, — никак нельзя объяснить отсутствие у латышских племен песен о победителях в былых битвах. Причины тому — с одной стороны, отсутствие государственности, с другой — социальная и национальная разобщенность, несформированность исторического самосознания². Совсем иную версию выдвигает знаток этнографии латышей Фр. Бривземниекс³. В ранние века, — считал ученый, — бесстрашие и вольнолюбие своих соплеменников воспевали латышские барды. Но за это их с особой жестокостью преследовали немецкие завоеватели. Факты этого ряда объясняют, по мысли

¹Спрогис Я. О латышском народном творчестве. — Виленский вестник, 1866, №218.

²Письмо Н.Соколова Я.Спрогису от 14 сентября 1866 года. — Рукописное отделение библиотеки Вильнюсского университета, фонд Я. Спрогиса.

³Бривземниекс Фр. О латышских народных песнях — Современная летопись (Москва). 1869. №14.

Фр. Бривземниекса, отсутствие у латышей "истинно мужского эпоса".

История распорядилась по-иному: не ведающие страха люди из латышей пришли в былины, сложенные русичами. Так произошла своеобразная компенсация: былинный жанр в латышских землях не получил распространения, но имена балтийских племен донесла до наших дней былинная строка.

В. Авенариус и Вс. Миллер — ученые-фольклористы, историки литературы — единодушны: женщина-богатырь Латыгорка, с которой Илья Муромец сошелся в горячей схватке и оказался поверженным, происхождением своим связана с "латышскими горами". Одно из подтверждений тому — встречающиеся в былинах слова и топонимы той же, что и "Латыгорка", семантики, того же словесного гнезда: "Латырь-камень" (янтарь), "Латырь-море" (Балтийское море), гидронимы¹ на земле Латвии — "Лата", "Латупе"²...

Эти наблюдения могут быть дополнены: Илья Муромец "проник" в латышские сказки под именем Илинша. Стабураг, у подножья которого в разное время вершились события, несущие страдания латышам, упоминает в своих дневниках Райнис. Легендарная скала у Даугавы — это русские богатыри, окаменевшие в битве с грозными посланцами неба, "нездешнюю" силою...

Драма Райниса "Илья Муромец" ("Iļja Muromietis")...

... Февральский вечер 1928 года. И партер, и балконы, и галерка Национального театра переполнены. Идет "Илья Муромец". На сцене — синяя полоска дальнего леса. Поляна, заросшая какой-то высокой и жесткой травой. Три неохватных дуба. Весело поблескивает река. Вдали — голубые вольные просторы. Раннее утро. Из темного леса на залитую солнцем поляну выходит Илья Муромец.

*Я скачу путем-дорогою
в стольный Киев-град
Верой-правдой послужить
Князю Владимиру,*

¹Гидронимы — названия рек, озер, морей.

²Авенариус В. Книга былин: Свод избранных образцов русской народной поэзии. — СПб: 1885.

Охранять несчастных,
сирых, обездоленных.
Наказал отец мне делать
дела добрые.
Не творить велел зла-худа
и татарину,
Не губить во чистом поле
люда доброго.

Зрителям вспоминаются старинные былины и васнецовская Русь, непокоренная, сказочная, таинственная.

Спектакль окончен. Зал рукоплещет. Успеху пьесы способствовал на редкость слаженный актерский ансамбль, великолепная игра Паулы Балтаболы, Яниса Осиса, Волдемара Шварца.

Райнисовское драматургическое новаторство, неумный напор сильных и светлых чувств, удивительно свежо прочитанная постановщиком А. Амтманом-Бриедитисом пьеса, декорации, воссоздающие русские неоглядные дали, златоглавый Киев, гряды холмов, одетых в синюю дымку, — все это не оставило зрителей равнодушными.

Работу над "Муромцем" Райнис начал необычно — прямо с третьего действия, с эпизода ссоры сына крестьянского с князем Владимиром, когда далеко окрест раздается звонкий глас Ильи:

*Завтра в Киеве как князь я
буду властвовать.
Вам же, голи, быть тогда над
всеми старшими.*

Великолепно чувствуя протестующую суть Ильи Муромца, обратился Райнис к былинному герою. И разве не знаменательно: во время работы над пьесой Райнису, по его признанию, слышались слова из разинского боевого клича, все зримее представал волнующий образ из давно задуманной народной драмы "Стенька Разин".

Чем же близок Муромец Райнису?

Не только вольнолюбивый дух русских былин находит внутренний отклик у латышского драматурга. Ильи привлекает автора трагедии и в свете его духовно-нравственных исканий общечеловеческого плана. Райнис принялся

за пьесу в день своего пятидесятилетия. И вот прелюбопытное признание: "Илья начинает свой путь подвигов зрелым мужем, тридцати лет отроду, и мне суждено было приступить к чему-то для меня значительному в ... зрелые годы. Поэтому удивительно ли, что Илья явился для меня примером?" И на других дневниковых страницах Райнис продолжает свои сравнения: "Я и мой Муромец... знали, отчего горе зародилось... Первая половина жизни нам это разъяснила до конца. Вторая половина научила еще большему. Хоть и знали, что нас ожидает, мы не свернули с избранного пути".

Надо ли удивляться после этого редкому даже для Райниса упорству в работе над "Муромцем"? Пьеса создана за полтора месяца. Кульминационное третье действие — в шесть дней.

При каких обстоятельствах познакомился Райнис с былинным эпосом? Чем полюбился ему Илья, крестьянский сын?

... Рижский рождественский базар. В центре города, на Ратушной площади, среди развалов старых книг бродит двенадцатилетний Янис. Чего здесь только нет! "Венецианские кровавые ночи", "Прекрасная Изабель", "Графиня Геновефа"... Но мальчик почему-то проходит мимо книжек, на обложках которых галантные кавалеры, неотразимые дамы, инквизиторы в черных сутанах...

И все-таки Янис не ушел без книги. Среди лубочных изданий он разыскал былины об Илье Муромце. "Я и теперь еще помню рисунок на обложке, который тогда меня привлек. Черный конь с развевающейся на ветру гривой взметнулся на дыбы. В синей дали — высокие горы..." В воспоминаниях Райнис пишет о символическом характере своей находки: "Илья Муромец, сам крестьянский сын, попал в мои руки из народной читальни — лубочного книжного базара".

Когда Райнис находился в изгнании, в далекой Кастаньоле, друзья прислали ему из родного края сборник былин, составленный В. Авенариусом. Книга пробудила воспоминания о Муромце. Возникает замысел пьесы. Райнис обращается к исследованиям о Киевской Руси, о метрике и языке былин, о русском героическом эпосе.

Былинные отзвуки в пьесе Райниса... Вслед за Горьким Райнис считает былины созданием гения русского народа.

Богатырей, и прежде всего Илью Муромца, — защитниками всех притесняемых, выразителями их чаяний. И в трактовке других персонажей Райнис следует былинным характеристикам. Добрыня — сметливый, почтительный, разумный. У Алеши — "глаза завидушие, руки загребушие". Дюк и Чурило — богатые "гости заезжие", натуры привлекательные, своеобразные.

Разумеется, драма Райниса — это вовсе не монтаж русских былин. И сюжет, и образы народного эпоса поэт осмысливает по-своему. Пьеса недвусмысленно объясняет причины поражений и неудач народных восстаний в Древней Руси. И не потому ли Райнис вводит новых персонажей, неизвестных народному эпосу, — Княжье Ухо, Княжье Око, Княжий Коготь?

Как настойчив Райнис в поисках любых фактов, любых свидетельств стародавней дружбы русского и латышского народов! Вслед за названными выше фольклористами имя бесстрашной Латыгорки Райнис образует из слов "Латышская гора". В финале пьесы — на латышской земле, на берегу широководной Даугавы, у крутого Стабурага — богатыри обращаются в скалы...

Авторы работ, в которых дается сравнительный анализ былин, латышской пьесы и ее переводного текста, выполненного Вс. Рождественским, отдают должное Райнису и его счастливому уменью в самых разных пластах родного языка находить лексические эквиваленты для фразеологизмов, метких речений, присловий, которые встречались ему в былинах. *Каурый конь* из русского эпоса у Райниса становится *Kāvu krāsas kumeļš*; глагол *сиротать* автор пьесы переводит двумя словами — *bāreņot, atraitņot*; *матерый* — *ilgaudzis, daudzaudzis*; *поветер* — *ravējš*; *глуздырь* — *ligzdenieks*.

Подлинным украшением "Ильи Муромца" стали русские имена собственные в их латышской передаче: *Сокольник* — *Vanadznieks*, *Святогор* — *Svētkalns*, *Соловей-разбойник* — *Svilpis-lupis*, *Никита Заолешанин* — *Ņikita Aizmežnieks*, *Идолище* — *Idaloņa*. Изобретательны, точны обозначения разных социальных групп Древней Руси: *калики перехожие* — *ubagi-staigulī*, *голь кабацкая* — *plikadīdas, draiskie brāļi*, *выходец (с того света)* — *Nācējs*.

БЫЛИНЫ М. С. КРЮКОВОЙ

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И БАБА ЛАТЫНГОРКА¹

(Фрагмент)

(...) Тут скакал его конь да на резвѣ ноги,
Говорил-то ему голосом человеческим:
"Уж ты ой еси, хозяин мой любимой-от,
Потому-ту пал, ведь и всё скажу тебе:
У тебя-то с ей ведь и бѹдет битва очунь тяжолоя.
Ета полянница-та² сама есь и королева-та,
Королева-та сама баба Латынгорка,
Ей никто, никто да победити не мог".
Нагонила полениця Илью Муромца,
Они начали тогда да вот съезжатисе;
Вот съезжалисе вони да тогда билисе,
Они бились, воевали трое сутокки,
Они друг друга ведь и до больна не ранили,
Ихны кони-то богатырьски утомилисe,
Заходили-те они же стѹпью тихою;
Соходили они тогда вот со добрых коней,
Они начали тогда держать бой да рукопашной-от,
Ай и они ведь билисе, боролисe целы сутокки,
А и по колен в землю они сборолисe. (...)
А и тут у Илья-то всё у Муромца силушки прибавилось,
А и тут ведь храбрости великую наполнилсe, (...)
А и тогда падала Латынгорка на сырѹ землю,
А и тут садилсe Илья же Мурамец на белы груди,
А и он хотел у ей спороть же груди белые.
А и королева-та Латынгорка взмолиласе,
А она начела его же всё упрашивать:
"А и уж ты ой еси, дородней доброй мѹлодецъ,
Э и ты оставь меня, не губи же да смертью скорою,
А и ты оставь меня ведь и всё сейчас во живности,
А я даваю тебе ведь и клятву-ту великую,
А и боле не буду я ведь и ездить на святую Русь,
А и на святую Русь и не приеду в славной Киев-град!

¹Латынгорка — так звучит имя женщины-богатыря в произносительной манере М. С. Крюковой. У других, более ранних, сказителей — "Латыгорка".

²Поляница — так сказители былины именовали женщин-богатырей.

А и отпусти меня всё же с чести, с радости,
А и ты бери-ко-се, сними-ко-се с меня выкуп дорогой
весьма,

А и ты бери, бери с меня же красно золото,
А и ты бери, бери с меня же чисто серебро;
А и тут ведь мы с тобой сейчас же познакомимся,
А и заведём с тобой сейчас теперь знакомствице!"
А и тут ставал скоро Илья же, Илья Муромец,
А и подымал тогда ведь и бабу он Латынгорку,
А и становил скоро тогда белой шатёр,
А и убирал-то во шатре-то он рытом бархатом,
А и пировали-столовали трое сутокки,
А и завелось у их тогда дело немалое,
А и вот немалое тогда дело превеликое,
Завелась у их любовь, любовь великая,
И пировали-столовали трои сутокки.

Он ведь звал ей ехать всё же в славной Киев-град,
Не поехала она же в славной Киев-град;
Звал-то, звал же ей во город во Муром свой,
Не поехала она в город в Муром-от;
Он ведь звал ей во село ехать Качарово,
Не поехала она в село Качарово.

Стала, стала королева отправлятися,
Когда ведь стала она с ним же распрощатися,
Подарила она ему вот всё златен перстень
Со тимá ли со тремá вставочками дорогима, —
Первой камешек-от был же самоцветной-от,
Второй же камешек-от был драгоценной-от,
Третьей камешек-от был да всё алмазной-от.

Она на прощенье звала его, просила всё,
Она просила его ехать с ней вместе́х,
Во ее-то ехать в город во столичной-от:

"Я йду да за тебя иду в замужество,

Ты садись, садись ко мне за короля царить!

Мне наскучило сидеть жить королевой".

Отказался-то тогда да Илья, да Илья Муромец,
Илья Муромец тогда же сын Иванович.

Спроводил он королевы всё до города

Да столичного ее же всё до славного,

Погостил-то, пожил он всё же во городи,

Распростился с королевой он, поехал-то.

Вот приехал Илья да Муромец в славной Киев-град,
Ницего-то не сказал про то ведь князю-ту,
Не открыл-то он ведь и тайности Владимиру,
Что была, была королева-та Латынгорка.
Прошло времени тому да годочик поры-времени,
Захотелось Йильи Муромцю попроведати,
Хто родился всё у королевы вот Латынгорки?
Он поехал в ее в город во столичной-от.
Вот приехал он во город к королеве ко Латынгорки,
Вот встречала его королева-та Латынгорка
Со великою большою вонá с радостью.
Он ведь жил у ей всё же три неделечки,
Он узнал, что у ей родилось чадо милоё,
Чадо милоё, вонó же всё любимое,
Нарекли его Михаилом королевичем.
Он ведь жил-гостил у ней же три неделёчки,
Когда стал-то он ведь от ней же собиратисе,
Он ведь нáчал с Михайлом-то прощатисе,
Целовал его в эти он уста сахáрные,
Он оставил много всё же золотой казны,
Чтобы жить-то ему было не прожить казны.
Королева-та поехала провожать его,
Провожала его гонá же трое сутокки,
Она тогда-то всё с Ильей же приразъехалась,
Во слезах-то она же с ним расставаласе.
С того времени королева вот Латынгорка
Понесла она в утробы чадо милого,
Ишше нá имя было млáдой Подсокольничек.
На прощаньицы дарил он королевы-то,
С правой ручки-то дарил же он златой перстéнь
Со двенадцатью со вставками со разныма,
Он сказал, сказал королевы таковы слова:
"Когда жива бúdeшь ведь и ты же всё здоровая,
Спородишь когда ведь и ты же чада милого, —
Если сын у тибя рóдится, ему отдай,
А если дочь-то у тибя, да может быть, она рóдится,
Она выростет больша, пойдёт в замужесьво,
Ты отдай, отдай ведь и дочери на память-ту".
Как тогда же королева распрощаласе,
Она поехала во свой город столичной-от,
Илья Муромец поехал в славной Киев-град. (...)

БОЙ ДОБРЫНИ СО ЗМЕЕЙ

(Фрагмент)

- (...) Как Дабрынюшка Микитиць стал ведь спрашивать:
"Вы откуле ёдите, богатыри́-ти славны киеськи?
Из какого-то вы ёдите сейчас города?"
Как богатыри ёму тогда ответили:
"Как ведь и я еду, сказал же Ёйлья Мурамець,
Я из горада-та еду из латынгорского,
(О)т королевы-тко я еду от Латынгорки,
Получал то съ ней жо я дань да всё же пошлину".
(Не получил-то, так скажешь — как ведь любушка!
Своих доложишь-то!) (...)

БОЙ МИКУЛЫ СЕЛЯНИНОВИЧА С НЕВЕРНЫМ БОГАТЫРЕМ БАБЫ ЛАТЫНГОРКИ

(Фрагмент)

- (...) А и тут немного Микула Селянинович
Поворачивал добра́ коня́,
Вот добра́ коня да богатырьского,
Он поворачивал, поехал-то.
Приезжаёт он ближошенько,
Вот ближошенько скорёшенько,
А он воздал чесь да богатырьскую:
"Уж ты здравствуй-ко, дороднёй доброй мо́лодец,
А и как богатырь-от приежжой есь,
А я хочу с тобой да поздороватьце,
Поздороватьце да познакомитьце.
Из какого, скажи, города?
Из какой земли да есь ведь родина?
Из какой земли, йиз города?
Ты, скажи, какой украины?
Ты ведь ишше чьих, скажи, родителей?
Какого города урожданець-от?
Ты-ко царь ли есь, царевиць-от?"

А и король ли есь, да королевиць-от?
Уж ты князь ли есь, княжевиць-от?
Какой есь же сын богатырей?"
Во первой раз богатырь не ответил-то,
Во второй раз не ответил-то,
На третей же раз говорил-то,
Он говорил всё со гордостью,
Как со гордостью, с насмешкою:
"Если нужно тебе знать про то:
Я от того ли морюшка от синего,
Я от того ли камешка от серого,
От того ли от колодцику студёнаго,
А я из города славного всё латынгорского,
От самой от королевы-то,
От королевы еду я всё тот Латынгорки,
Я ее же сильней рыцарь-от,
А я богатырь-от могучой-от,
В битвах никто не мог да победить миня,
Победить миня не будет никому не победить нигде..." (...)

БОЙ ДУНЯЯ С НАСТАСЬЕЙ

(Фрагмент)

Как Настасья королевисня поехала,
Вот поехала гонá да во Чахово,
Вот во Чахово поехала, во Ляхово,
А Дунаюшко поехал в славной Киев-град,
Славной Киев-от поехал всё ко князю-ту.
Он ведь жил-то во Киеви три месяца,
Подошла-то тогда силушка неверная,
Подошла-то всё ведь баба-та Латынгорка,
Хошь не сама она пришла же, королева-та,
Как пришел ее брат же всё любимой-от,
Силы много подошло да говорить нельзя.
Тут богатыри немного розговаривали,
Как ведь бились-то, боролись три-то годичка,
На четвертой-от на годицок окончили,
Перебили всю силу всё же Латынгорки. (...)

А КАК ПРО ДОЧЬ-ТО КОРОЛЕВЫ ВСЁ ЛАТЫНГОРКИ

(Фрагмент)

(...) Из тех гор славных Сорочиньских-то,
Увидал Добрынька: едет богатырь-от, —
Не знат, богатырь ли он, рыцарь ли?
Конь под им же очунь быстрой есть,
А переди его два да соколá летит,
Позади его две куньи бежит.
Тут ведь зорко начел Добрынюшка посматривать,
Зорко начел Никитич-от поглядывать,
По приметочкам оглядывать;
Усмотрял же тут Добрынюшка,
Прогледел хорошо Никитич млад,
А и что не богатырь был, не рыцарь-от,
А тут ведь ехала и гúлела
Поленница-то очунь млáдая, —
Не знат, девица ли она ведь, женшина?
Она поленицеськими играми забавляются,
Богатырьскими утехами наслаждаются.
А и конь у ей убран во сбрую в золочёную,
Стремена в ногах с драгими со каменьями,
Узда всё с каменьями со драгоценными;
Сáма всё сидит да в красном золоти.
А и тут задумалсе Добрынюшка:
"Это кто такá удáла поленица есь,
Не боитсе, не страшитсе-то?
Сáма млáдая очунь есь она ведь; премлáдая, —
Не боитсе смерти скорою,
Что побьют, побьют ей богатыри,
Что побьют, побьют ей всё могучие".
А вонá мечот-то в руках, бросает палицю тежолую,
Высоко выбрасывает она же по поднёбесью,
А правóй рукой она палицю выбрасывает,
А левóй рукой она же палицю подхватывает,
А и клонит палицю на Киев-град,
А сама же что-то выпеват же всё,
А и выпеват она да выговариват.
А и недосуг Добрыньки много розговаривать,
А и недосуг Никитицю просматривать,
А он бежал, бежал скорó со стéны богатырьскою,

Он кричал, звал добра́ коня да с зеленá луга;
Услыхал тогда его доброй конь,
А и услышал же Воронеюшко,
Он подбежал к ему, его доброй конь.
А Добрынюшка поймал его,
Как Микитич-от хватал его,
А скоро-на́скоро он сáдилсе на добра́ коня,
Не успел одеть латов богатырьских-то.
А и поскакал скорó Добрынюшка,
Он подъехал всё, Микитич-от,
Ко полени́цы ко премла́дою,
А закричал Добрынька звонким нежным голосочиком:
"А уж ты ой еси, полени́ца преудáлая,
А и как ты смела проехать-то нашу заставу

молодецькую,

А и молодецьку богатырьскую?
А и как ведь нашому-то старшому,
А ишше старшому-ту, бóльшему,
Не воздáла чести, Ильи Муромцу,
Ильи Муромцу сыну-ту Ивановичу?
А мне-ка, Добрынюшки Никитицю?
Асаулу-ту Алёшеньки Поповицю?"
Полени́ца не оглянетсе,
Ездит, играт-то, не овёрнетсе.
А крычал Добрынюшка другой-от раз,
Вот крычал Никитинец в третей-от раз;
Тогда полени́ца огленуласе,
Огленуласе, россмехнуласе:
"Ну, вам что нужно, богáтыри,
Что ведь надоть от меня же всё же, киевски?
А и как кинаю в руках леккó-то сво́ю палицю тежолую,
Так я буду вас побрасывать,
Как побрасывать, покинывать.
Во перьвých хочу увидети старого седатого,
Ише старого седатого,
Илью, Илью Муромца Ивановича,
А в других-то хочу видеть я
Как Добрынюшку Микитича,
Хочу видеть я Алёшу-ту Поповица,
Хочу видеть я Микулу Селениновича,
Хочу видеть Иванушка Гонёновича,
Хочу видеть я Михайлушка Егнатъевича,

Хочу видеть Росшу-Росшу Росшиби Колпак,
Росшиби Колпак с племянником,
Пересчота видеть со племянником,
Еремяку со племянником —
Хочу видеть тридцать три богатыря”.
Тут Добрынюшка россмехнулсе-то,
А Микитич улыбнулсе-то:
”А и как млада ездит поленица-то,
А сама, сама же хвастает!
Ето совсем же дитя младаё, —
Мне-ка не охвота с ей боротисе.
Я пошлю туда Олешеньку,
Пошлю боротисе Поповиця,
Пошлю Ваню-ту Залешанина:
Алеша-те Поповиц-от,
Он хоть силою не сильней есь,
А смелосью-ту смелой есь;
А Ванюша Залешанин
Не боитсе и не трусит-то,
Он ведь в воду едет и в огонь идёт”.(...)
(...) Поехал Илья Мурамец,
Видит: на зелёном на лужочки,
У лесов же всё да у Муравенских стоит белой шатёр,
Как белой шатёр белополотненой;
А и видит: знамя у шатра да всё повалено,
А по знаменью узнал же он, —
Это знаменьё-то королевскоё,
А королевско-то, королевы-то,
А и королевы-то Латынгорки, —
А и он признал, што от королевы от Латынгорки.
Не будил тогда ведь он же ей,
А и он поехал ко заставы-то.
Когда приехал Илья Мурамец,
На заставы его стретили,
Его стретили да с цести, с радости,
А и с великого удовольствия,
Рассказали, что они видели,
С поленицою боролисе.
Илья Мурамец ответил-то:
”Ето дитя же очунь младаё,
Оно младаё-премладаё:
Если дочь родна королевы-то Латынгорки,

Ей ведь отроду петнадцать лет.
Почему, дивуюсь я сейчас,
Отпустила королева-то Латынгорка
Как свою же дочь любимую?
Она уехала, наверно, всё омманом-то,
Омманула свою матушку,
Омманула она родимую,
Будто, ей сказала, что: "поеду-то", —
А и наверно, ей сказала дочь,
Что, — "поеду во луга гулять", —
Сама уехала ко Киеву".
А и тут Илья-то возговóрил же,
Возговóрил сын Иванович:
"Вы держали ль бой с поленицею?
Вы ведь билисе со млáдою?"
Тут богáтыри говóрили:
"Бились, бились с поленицею,
Бились, бились со млáдою, —
Не могли мы ей победить никак,
А за то будём ишше боротисе".(...)

Тут признал Илья Мурамец своим перстнем,
А и соходил тогда с белых грудей,
Стал поленицу тут выпрашивать:
"А и ты скажи-ко, поленица да все премлáдая,
Ты какой страны, какого города?
Какого отца, скажи, чьей ты матери?"
Тогда поленица-та говóрила:
(...) Я скажу тебе, старик, да правду верную:
Ото ли я от камня-та от Латыря,
Как того ли города Латынгора,
Как королевы дочь любимая,
Королевы-то Латынгорки.
А и как я нá имя Марина дочь Ильисня-то
Кóгда я из города Латынгора выезжала-то,
Со своей я матушкой прошшаласе,
Мне-ка матушка говóрила,
Что родимая наказывала:
"Ты не езди, моё дитятко любимое,
Ты любимое ў мня, милоё,
Ты не езди на светую Русь,
Ты не езди ко Непр-реки,

Не переезжай порогов-то непрёських-то,
Не проезжай жо во чисто полё,
Не бейся-ко со киевскими со сильными, с могучими с
богатырьми;

А если не послушаешь ты, дочь, своей да рódной матушки,
Ты проедешь-то на горы Сарачинские,
С Сарачинских ты проедешь тут
Как ко заставы к богатырьскою, —
У заставы ты, дитя, не проезжай же ей:
Тут богатыри где караулят-то,
День и ночь стоят в охраны-то,
Когда завидишь ты старого седатого,
Не дошод-то, соходи-ко-се с добра коня,
Уж ты кланяйсе ему же до сырой земли, —
Старой-от седатой есь ведь твой родитель-батюшко”. (...)

Когда приехали во город во Латынгор-от,
Подъехали к дворцу да королевскому,
Ко дворцу же королевскому,
Тут встречали слуги верные,
Тут выбежала встречать сама да королева-та,
Королева-та латынгорска;
Она ведь с радости хватала-то
Свою доченьку любимую,
Человала ее в уста сахарные,
Прижимала к ретиву сердю,
Называла ее премладай королевной-то:
”Уж ты, душочка, моя дочь любимая,
Как премлада ты Марина Ильисня-то,
Тебе отроду петнадцать лет,
Ты, поленица преудалая,
Преудала, очунь сильняя!
Добро жаловать, да дорогой же гось,
Дорогой гось Илья Мурамец,
Илья Мурамец сын Иванович!”
От убежала поленица в полаты в королевские,
Слуги убрали добра коня;
Когда стал Илья же Мурамец здороватьце
С королевой-то Латынгоркой,
Он ведь ей стал тут говорить-то всё,
Што: ”не пускай-то боле своей дочери любимую:

Ей побьют же киевски богатыри”.
Королева отвечала-то:
”Я не могу никак задержать её;
А теперь разузнала-то,
Не спушшу боле, задержу её”.
А жил Илья-то во городе во Латынгоре,
Жил ведь он же челой мeсeць-от,
Церез мeсeць-от он поехал всё,
Он поехал в славной Киев-град.
А королева провожала-то
А и далеко же Илью Муромца,
Надавала, надарила-то
Много злата, много сeрeбра,
Дорогого скатна жемчуга.
Поцему распросиласе ведь с ним она,
В слезах же прироссталасе?
Поцему Марина королевисня
Ненавидела отца же своего да Илью Муромца,
Илью Муромца Ивановича?
Когда с ребятами играла-то,
С имá шуточки шутила-то,
Балабúтки говорила-то —
Кого хватит она за́ голову,
Бросит, — у того парня голова болит;
Кого возъмёт она ведь за́ руки, —
У тех ребят болят да руки белые;
Кого хватит-то она за́ ноги, —
У того не владеют ноги резвые.(...)

ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕСНИ

ВЗЯТИЕ РИГИ

Как по морю, морю синему,
По синю морю по Хвалынскому,
Плыли, всплывали три военных корабля:
На первом кораблике император-царь сидит,
На другом кораблике князья-бояре сидят,
На третьем кораблике всё солдаты сидят, —
Сидели солдаты полку Семеновского,
Той ли первой роты бомбардирския.

Парусы они роняли белы-полотняные,
Того ли полотенца всё голландского;
Якори они бросали булатные,
Того ли булаты всё сибирского;
Мосты они намостили всё дубовые;
Подкопы они копали всё глубокие,
Глубокие подкопы на двенадцать верст;
Бочки закатали со лютым зельем,
Со лютым зельем, с черным порохом;
Свечи зажигали воску ярого.
Свечки догорали, бочки рбзорвало,
Взрывало ту стену белокаменную.
Вот и стали государя-царя поздравляти:
"Уж ты здравствуй, государь-царь, с крепким городом,
С крепким городом со Ригою!"

ЛАДОЖСКИЙ КАНАЛ

(Фрагмент)

Ах, далече-далече, в чистом полё,
Расплатится травушка зеленая;
Унимает ее мати земля сырая:
"Не плачь, не плачь, трава-мурава, —
Не одной тебе в чистом поле тошненько,
И мне еще того тошнее.
Как ехал государь-царь из-под Риги,
Велел меня, земляшку, копати,
И рвы, и колодези вырывать,
Ключевую воду испускати".

И ЗВУЧАТ ПО-РУССКИ ДАЙНЫ...

Если бы не "к дайнам верная любовь" бескорыстных подвижников, собирателей и публикаторов латышских народных песен — Яниса Спрогиса, Фрициса Бривземниека, Кришьяна Барона, — мудрые четверостишия навсегда остались бы в пределах той волости, того уезда, где их сложили. В лучшем случае их знали бы в каком-то одном регионе — или в Лифляндии, или в Курляндии, или в Латгалии. Если бы не переводы, выполненные в XIX веке Иваном Лажечниковым, в начале XX века — Валерием Брюсовым, в наше время — Александром Прокофьевым, Самуилом Маршаком, Давидом Самойловым, Юрием Абызовым, Феликсом Скудрой, русские, и не только русские, читатели не знали бы нравственной красоты и силы народных песен латышей.

У дайн, воссозданных на языке Ивана Лажечникова, Валерия Брюсова, Александра Прокофьева, полуторавековая история...

ВНАЧАЛЕ БЫЛ ПОДСТРОЧНИК

В середине 40-х годов прошлого столетия один из создателей Русского географического общества, профессор Московского университета Н. И. Надеждин составил и разослал по стране программу для собирателей этнографических материалов. Ответы не заставили себя ждать. Пять латышских народных песен в Петербурге получили из Люцинского уезда¹ (1847). Через пять лет в Петербурге

¹Ныне Лудзенский район.

печатаются "Этнографические заметки о латышах"¹. Это был сокращенный перевод статьи Э. Траутфеттера из журнала "Das Inland", где три дайны параллельно давались в латышском оригинале и немецком переводе. В "Этнографических заметках..." сохраняются латышские тексты дайн, но немецкие переводы уступают место русским. Сам факт этой публикации примечателен: читатели Петербурга и Москвы, Архангельска, Орла и Нижнего-Новгорода впервые познакомились с дайнами в их латышском звучании. В 1853 году эту статью на польский язык переводит этнограф Александр Полуянский. Василий Абрамóвич из города Ровны, не зная о русской первооснове польской публикации, снова передает ее по-русски и в 1855 году присылает в Географическое общество...

Остается добавить, что пересказанная В. Абрамóвичем статья о дайнах и латышах привлекла внимание этнографа Паули, который включил ровенские источники в свое обстоятельное исследование "Описание всех народов России". Так "Этнографические заметки о латышах", опубликованные в петербургском и дерптском журналах, воспроизведенные на польском и русском языках, снова сослужили свою службу...

Русские подстрочники латышских песен несколько неожиданно находим в двуязычном букваре². По этой первой школьной книге в латгальских уездах обучались и латышскому (родному), и русскому языку. Составитель азбуки Николай Соколов — последователь известных петербургских филологов-фольклористов Александра Гильфердинга и Леонида Майкова.

Viens gans nomira, visi gani raudāja.

Cūka raka dobīti augstā kalnā;

Dzeguze zvanija likā bērzā;

Dzenis kala krustiņu sausā apšē;

Visi siki putniņi pātarus skaitīja;

Dižais dunduris sprediķi sacīja;

Zīle nesa vēstiņu tēv' un mātei.

[Один пастух помер, все пастухи плакали.

Свинья рыла могилу на высокой горке;

¹Журнал Министерства внутренних дел. 1852. Ч. XXXVIII. С. 399.

²Латышский букварь. — Вильна, 1864. С. 114—121.

Кукушка звонила на кривой березе;
 Дятел ковал крестик на сухой осине;
 Все мелкие пташки читали молитвы;
 Толстый шмель сказывал проповедь;
 Синица снесла весточку отцу, матери.]

Это одна из нетрадиционных, семистрочных латышских песен. Оригинальный текст напечатан буквами русского алфавита с использованием диакритических знаков долготы или краткости гласных.

Возникает вопрос: почему Н. Соколову понадобилось вдруг в латышском букваре печатать дайну кириллицей? После польского восстания 1863 года (возмущение охватило и многие латгальские уезды) правительство запретило печатать латиницей книги для народного чтения — молитвенники, учебники, доступную по цене беллетристику.

Текст из соколовского "Букваря" встречаем и в сборнике Кришьяна Барона. На этот раз "Viens gans nomīra..." дается готическим шрифтом в разделе "Варианты". В своде латышских народных песен (составители Я. Эндзелин и Р. Клаустынь) эта песня печатается латиницей.

Практику двуязычного воспроизведения дайн в элементарных школьных учебниках продолжил Янис Крауклис¹. Приводим дайну из его азбуки.

<i>Krievam devu sav' māsiņu,</i>	Русскому я даю (в замужество)
	свою сестрицу,
<i>Pats sev ņēmu leišu meitu.</i>	А сам себе беру литвинку;
<i>Gāj' krievos, gāj' leišos,</i>	Хожу к русским, хожу к
	литовцам —
<i>Visur man znoti, radi.</i>	Везде мне зятя, родня.

Как видим, переводчик оказывается не в ладах с грамматикой: "везде мне зятя" (правильно: *везде у меня зятя*); допускает стилистические неточности: "Русскому я даю (в замужество) свою сестру" (правильно: *отдаю замуж*).

К концу 60-х годов XIX века относится первая русская публикация дайн не с традиционным семейно-бытовым, а

¹Крауклис Я. Русская азбука для латышей. — Рига, 1870; 4-е изд., 1879. С. 78—79.

острым социальным содержанием. Речь идет о книге Ю. Самарина¹ "Окраины России", где воспроизводится русский текст латышской песни:

*Кто вóрону меду даст?
Кто работнику — хозяйскую дочь?
Клюй, вороненок, болотный мох,
Бери, работник, дочь работницы!*

Дайна эта широко бытовала в южной Видземе.

В 1868 году увидела свет изданная в Вильне книга "Памятники латышского народного творчества" Я. Спрогиса. И в научный обиход, и в круг народного чтения вошли 1857 дайн, опубликованных с параллельными русскими подстрочниками. Широкий общественный отклик вызвал цикл антибаронских дайн. По заслугам доставалось и господским приспешникам — мызным² старостам, вагарам³, сельским богатыям. Возникает вопрос: чем объяснить повышенный интерес составителя "Памятников..." Я. Спрогиса к народным песням с отчетливо выраженной социальной проблематикой? Многие проясняет судьба самого Спрогиса. Исключенный в 1863 году из Петербургской духовной академии за недозволенное увлечение материалистической теорией Л. Фейербаха, он привлек к себе внимание и вызвал заступничество Владимира Васильевича Стасова⁴.

"Памятникам..." суждено было стать заметным явлением в фольклористике. Это и понятно: составители ранее опубликованных сборников антибаронские, антифеодалные дайны в свои собрания не включали. У издания 1868 года оказалась завидная судьба. Чуть ли не полвека для географов и историков, этнографов, фольклористов и писателей труд этот оставался основным источником достоверных сведений о землепашцах из Видземе и Латгале,

¹Самарин Ю. Полн.собр.соч. в 10-ти томах. — М., 1880. Т. VIII. С. 200.

²Мыза — помещичья усадьба в Остзейском крае с хозяйственными строениями.

³Вагарс — подручный барона, подобие старосты в российской деревне.

⁴Стасов В. В. (1824—1906) — художественный и музыкальный критик, историк русского искусства, почетный член Петербургской академии наук.

о бесправном их социальном состоянии, о высоких нравственно-эстетических достоинствах латышского устно-поэтического наследия.

Не преследуя целей художественного перевода, Спрогис тем не менее для подстрочников ищет адекватные лексические и эмоционально-образные средства, большие надежды связывает с экспериментом, словотворчеством. Латышское словосочетание *asariņu dzērājiņ'*, к примеру, передается неологизмом *слезопийца*. И все же первый автор подстрочников, выполненных на профессиональном уровне, сумел преодолеть далеко не все трудности, возникающие при воссоздании иноязычного текста.

Деятельность Я. Спрогиса заметили русские фольклористы, возглавляемые профессорами Н. Поповым и В. Миллером. По инициативе Московского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии в 1869—1871 годах Фрицис Бривземниекс дважды направлялся в Курземе и Видземе для разысканий народных песен латышей. Результат этих поездок — новый сборник, включающий 1118 дайн. И на этот раз оригинальные тексты сопровождалась русскими подстрочниками.

Переводческие установки Я. Спрогиса и Ф. Бривземниека далеко не однозначны. Передавая средствами русского языка смысловую емкость, афористичность дайн и одновременно комментируя их стержневые свойства, проясняя реалии семейно-бытового уклада, Бривземниекс вводит в подстрочник новые, преимущественно служебные, слова, отсутствующие в оригинале подробности, эпитеты, другие эмоционально-образные средства, свойственные русской песне.

*Iestatīju asu dadzi
Tīrumā
Buvjiēm, raganām
Plēvātīs.*

Воткнул я на поле
Иглистый чертополох,
Чтоб колдуны и раганы
Укололись о него.

В отличие от своего предшественника Спрогиса Бривземниекс исторические, мифологические, бытовые реалии, имена собственные, названные в дайнах, приближает к их изначальному латышскому звучанию. Если у Спрогиса *Pērkons* — "Перун", то у Бривземниека — "Перкуанс", *Lai-miņa* — "Лаймушка". В бривземниекских подстрочниках

находим неперевоенными латышские реалии — "сагша"¹, "виллайне"², "куаклэс"³, "сиак"⁴.

В 1882—1883 годах доцент Петербургского университета, рижанин по рождению Э. А. Вольтер побывал решительно во всех латгальских городах и весях. В итоге — свыше 1500 дайн, большую часть которых собиратель прокомментировал, сопоставил с фольклорными образцами других народов и опубликовал — оригинальные тексты и русские подстрочники — в 1890 году. Однако даже современники Э. Вольтера критиковали сборник за неоправданные отклонения от оригинала. Основания к тому были самые разные. Не владея латгальским диалектом, Э. Вольтер многое в дайнах толковал неверно: *augumeņš* (*augumiņš* — рост) — молодость; *smildzeņa* (*smildziņa* — былинка) — песочек; *prīcenoja* (*prīcināja* — обрадовал) — сватал; *zam pologa* (*zem palaga* — под простыней) — под одеялом; *aizaslēdza* (*aizslēdza* — закрывал) — открывал.

Примечателен сборник Э. Вольтера иным: описанием сватовства и венчанья в латгальской деревне, публикацией этнографических заметок Я. Плиекшанса (Райниса) "Описание свадебного обряда в волости Вышки". Статья будущего автора народных драм "Вей, ветерок!" и "Вороненок", созданных по фольклорным мотивам, предназначалась для Русского географического общества. Есть немало оснований полагать, что подстрочники песен сделаны также Райнисом.

<i>Dzer, māmeņ, dzer, māmeņ,</i>	Пей, матушка, пей, матушка,
<i>Saldons tautu brandavīns,</i>	Сладко вино женихово —
<i>Saldons tautu brandavīns,</i>	Сладко вино женихово,
<i>Syuras munas asariņas.</i>	Горьки мои слезы.

<i>Šej moseņa šur braukdama</i>	Эта сестрица, сюда приезжая,
<i>Pazīpēt mozgājos —</i>	Умывалась остатками мыла —
<i>Tajda malna padaguņa,</i>	Под носом у нее грязно,
<i>Kaj myusu syvānam.</i>	Как у нашего поросенка.

¹Деталь национального костюма.

²Национальный платок-накидка.

³Гусли.

⁴Мера веса.

Переводческая работа Райниса от многочисленных его предшественников отличается стремлением с наибольшей полнотой передать смысловую суть, образный строй, внутреннюю музыку латгальской дайны.

С переводческой практикой, которая сложилась к 90-м годам, полемизирует преподаватель Юрьевского (ныне Тартуского) университета Я. Лаутенбах¹.

<i>Mīļā Laima, Dieva meit',</i>	Милая Лайма, дочь Бога,
<i>Nāc dziesmiņas darināt:</i>	Приходи сочинять песенки!
<i>Teic dziesmiņas, dziedī pati</i>	Скажи песенки, пой сама
<i>Par jauniem, par veciem.</i>	О молодых, о старых.

<i>Nelaimīte kājas āva,</i>	Нелаймите (недоля, не-
	счастье) обувала ноги

<i>Dzirās man līdzi nākt.</i>	И готовилась мне сопут-
	ствовать.

<i>Nāc, Laimiņa, kad es lūdzu,</i>	Ступай, Лайминь, когда я
	прошу,

<i>I basām kājiņām.</i>	И босыми ногами.
-------------------------	------------------

<i>Laima gāja ar Nelaimi</i>	Лайма ходила с Нелаймою
------------------------------	-------------------------

<i>Pa ceļiņu runādamas.</i>	По дорожке, разговаривая.
-----------------------------	---------------------------

<i>— Ej, Laimiņa, tu pa priekšu,</i>	— Иди, Лайма, ты вперед,
--------------------------------------	--------------------------

<i>Grūd Nelaimi ūdenī.</i>	Столкни Злосчастье в воду.
----------------------------	----------------------------

В свои русские переложения Я. Лаутенбах сознательно включает непереуведенными имена героев латышской мифологии. По мере необходимости истинный смысл имени персонажа латышской мифологии переводчик раскрывает заключенными в скобки русскими соответствиями: *Нелаймите (недоля, несчастье) обувала ноги*. И наоборот, русские мифологические герои толкуются, проясняются их латышскими соответствиями: *дочь Бога (Dieva meita)*. В какие-то песенные тексты Я. Лаутенбах включает как латышские, так и русские имена: *Лайма ходила с Нелаймою; столкни Злосчастье в воду*.

Подстрочники, выполненные юрьевским ученым, не забылись и через десятилетия. В тыняновской "Восковой персоне", в том эпизоде, где императрица навсегда

¹Лаутенбах Я. Очерки по истории литовско-латышского народного творчества. — Юрьев, 1896.

прощается с великим своим мужем, в памяти Екатерины I неожиданно возникает милое ее сердцу село Вышки. Там, в Латгалии, пробежали юные годы будущей царицы... Служанки на скотном дворе по-латышски распевают озорную песню. В примечании даются переложённые автором "Восковой персоны" строки:

Послушайтесь,
 Девушки,
 Пока еще парни дешевы...
 ... все вы рядышком
 И толпой побежите
 За бородкою парня¹.

Переводу сопутствует пометка: "Лифляндская песня (запись 1715 года)". Тынянов, конечно же, считал необходимым подчеркнуть: строфа самым прямым образом соотносится с теми событиями, о которых идет речь в повести.

И в наше время подстрочники латышских народных песен находят место в научных публикациях фольклористов. Так, Е. Витолиньш и Н. Гринфелдс в свои исследования включили подстрочники, предложенные С. Бажановой:

<i>Ej, Saulīte, drīz pie Dieva,</i>	Склонись, солнышко, к закату,
<i>Dod man svētu vakariņu.</i>	Дай хоть вечером вздохнуть.
<i>Bargi kungi darbu deva,</i>	Злые господа велят батрачить,
<i>Nedev' svētu vakariņ'.</i>	Отнимают Божий вечер.

Создавая свои варианты подстрочников латышских народных песен, В. Мирский следует традициям точной передачи оригинала:

<i>Dziedot dzimu, dziedot</i>	С песней родилась, с песней
<i>augu,</i>	росла,
<i>Dziedot mūžu nodzīvoju,</i>	С песнею прожила,
<i>Dziedot nāvi ieraudzīju</i>	С песней смерть встретила
<i>Paradīzes dārziņā.</i>	В райском саду.

В счастливых случаях автор подстрочников достигает художественного уровня латышской первоосновы:

¹Тынянов Ю. Восковая персона. — Л.-М., 1931. С.118. (Латышский текст приводится только в этом издании.)

Я запрягаю в соху пчелку,
Из метелки делаю лемеха:
А красный клеверок
Служит им привязью.

Запрягу в соху я пчелку,
Срежу лемех из метелки,
Подберу я красный клевер,
Чтоб устроить пчелке
привязь.

Как видим, бережно сохраняя лексику подстрочника, В. Брюсов искусно воспроизводит ритмику подлинника, распевные интонации дайн.

В дни второй мировой войны выходит составленный Янисом Судрабкалном сборник дайн (Москва, 1944 год). Из несметного числа латышских народных песен, систематизированных и подготовленных к изданию Кр. Бароном, составитель отобрал те, в которых находили отзвук времена ратных испытаний. Переводчик А. Глоба приложил немало усилий, стремясь передать афористичность, ритмический строй, мелодику дайн.

Песенная полифония — свыше пятидесяти антибаронских, сиротских, лирических, шуточных дайн в переводах В. Брюсова, А. Глобы, С. Маршака, Ю. Абызова — зазвучала на страницах "Антологии латышской поэзии"¹. Составители следующего по времени антологического издания сделали достоянием русского читателя еще сто двадцать дайн. На этот раз латышскую первооснову бережно сохранили А. Прокофьев, С. Маршак, В. Валентинов².

Ej ar dievu, Jāņa diena,

До свиданья, Янов день!

.....
Nāc atkal citu gadu.

.....
Ждать нам будущего года.

(Перевел В. Валентинов³)

До свиданья, милый Янис,

.....
Через год опять являйся!

(Перевел Ю. Абызов⁴)

¹Антология латышской поэзии. — Рига, 1955. С. 5—16.

²Антология латышской поэзии в 2-х томах. Т. I. — М.—Л., 1959. С. 3—44.

³Там же, с. 22.

⁴Антология ... — Рига, 1955. С. 13.

<i>Krievi, krievi, leiši, leiši,</i>	Люди русские, литовцы —
<i>Visi manim draugi, radi.</i>	Все друзья мои и братья.
<i>Krievam devu sav' māsiņu,</i>	Замужем сестра за русским,
<i>Pats es nēmu leišu meitu.</i>	Сам женат я на литовке.
<i>Iem' krievos, iem' leišos,</i>	И в Москве я буду гостем,
<i>Visur manim znoti, radi.</i>	И в Литве я погощу.

(Перевел С. Маршак¹)

Горя мало, что приходит
 К нам литовец или русский;
 Мой братенок — муж лит-
винки,
 А сестрица — русской стала.

(Перевел А. Глоба²)

Сам я в жены взял литовку,
 Отдал русскому сестру,
 Еду к русским иль литовцам, —
 У меня везде родня.

(Перевел А. Прокофьев³)

Рассматривая переводческие работы поэтов "хороших и разных", автор предисловия к рижской "Антологии..." В. Невский замечает: "В. Брюсов и А. Глоба стремятся сохранить ... формальные особенности дайн. Напротив, С. Маршак, вслед за ним отчасти и Ю. Абызов, отдает предпочтение художественным средствам, более свойственным русскому фольклору. Так, вводится рифма для передачи афористичности, для воссоздания комического эффекта. Этими же установками продиктован и отказ от цезуры⁴..."

Небезынтересное обстоятельство: обращение к дайнам не прошло бесследно ни для А. Прокофьева, ни для С. Маршака.

¹ Антология латышской поэзии. — Рига, 1955. С. 12.

² Дайны. — М., 1944. С. 41.

³ Антология... — М.—Л., 1959. Т. I. С. 25.

⁴ Цезура — постоянный словораздел в стихе. Используется в длинных (6-, 7-, 8-стопных) размерах; обычно сопровождается интонационно-синтаксической паузой. В ряде случаев цезура приобретает сходство с границей стиха.

Вся Латвия в солнце сегодня...

Но кто-то искусно вплетает
Ту пряжу в узор полотна,
Она мне видна, золотая,
Ведь в дайнах латышских она...¹

Из песен вашего народа,
Где столько радости и слез,
Как золотые капли меда,
С собой я несколько увез.

Пересказал я песни эти,
И склад и лад их сохранив,
Чтоб и у нас читали дети
Про серебро рыбачьей сети
И золото латвийских нив.²

Более ста латышских народных песен зазвучали по-русски стараниями Г. Горского. Лучшие переложения, представленные в сборнике "Вей, ветерок!"³, отличает стремление не нарушить содержательную сущность, музыкальный лад дайн:

*Kas tie tādi, kas dziedāja
Bez saulītes vakarā?
Tie ir visi bāra bērni,
Bargu kungu klausītāj'.*

Кто такие те, что пели
На закате, вечерком?
Это пели сиротинки,
Слуги злого барина.

*Kūra guni, silda gaisu,
Slauka gaužas asariņ' s.
Krimta cietu pelav maizi,*

Жгут костер и воздух греют,
Плачут, горьки слезы льют,
Черствый хлеб грызут

Avotāi mērcēdam'.

Размягчая в ручейке.

С начала 80-х годов, когда в республике ширилась подготовка к 150-летию со дня рождения Кришьяна Барона, читатели знакомятся с новыми русскими версиями дайн. Журнал "Даугава" публикует несколько подборок перево-

¹Прокофьев А. Вся Латвия в солнце сегодня...//Собр.соч. в 4-х томах. Т. III.— М., 1979. С. 387.

²Маршак С. Латвийским друзьям//Собр.соч. в 8-ми томах. Т. 5. — М., 1970. С. 356.

³Dainu lokā/Вей, ветерок! — Рига, 1966.

дов Ю. Абызова, Д. Самойлова, Ф. Скудры, А. Копыловой¹. Сборник "Латышские даины"² знаменует новую страницу в давней практике воспроизведения на русском языке песен латышей. Следуя в главном признанным публикаторам дайн, составитель, в отличие от антологий 50—60-х годов, приводит не только русские версии, но и латышские оригинальные тексты. Теоретические аспекты иноязычного воссоздания дайн нашли нетрадиционную, в ряде утверждений новаторскую интерпретацию в статье Ю. Абызова "Мир дайн и проблемы их перевода". Автор развивает заветные для него положения. Смелые эти выводы сложились не сразу, меткие наблюдения явились не вдруг. Размышлениям автора статьи предшествовал многолетний переводческий опыт. Прислушаемся к Юрию Абызову: "Переводить многие даины нужно "букетами", где "цветы" подобраны так, чтобы они дополняли друг друга, объясняли своим соседством, поддерживали, перекаликались". Эта афористично высказанная мысль в немалой мере объясняет непривычную по первому впечатлению классификацию песен. Помня известный наказ Кр. Барона составителям песенных сводов — "от колыбели до могилы", Ю. Абызов в своем сборнике трижды повторяет циклы дайн о жизненном и трудовом, о нравственном становлении человека.

Стремясь доказать безграничные возможности воспроизведения дайн средствами русского языка, Ю. Абызов приводит разные русские варианты какой-то одной латышской песни. Версии эти принадлежат разным переводчикам:

*Jūs labi ļautiņi,
Mēs arī labi.
Nu mēs cits citu
Gānīsim.*

Вы — люди что надо,
Мы — люди что надо,
Так давайте же друг с дружкой
Власть полаемся.

(Перевел Д. Самойлов)

Вы нас не хуже,
Мы вас не хуже,
Язык почешем,
Душеньку потешим.

(Перевел Ф. Скудра)

¹Даугава, 1984, №2. С. 85; 1984, №6. С. 84; 1984, №7. С. 101.

²Латышские даины//Сост. Ю. Абызов. — Рига, 1984.

Бесспорные достижения русских интерпретаторов дайн находят самый сочувственный отклик в критике. Рассматривая русские публикации латышского устно-поэтического творчества 70—начала 80-х годов, Р. Добровенский¹ приходит к справедливому заключению: даины поддаются переводу никак не меньше, чем фольклор, письменная поэзия других народов. По наблюдению писателя, наиболее удачные русские версии сохраняют ритмику и фонетику подлинника, неумолчную его музыку, живое дыхание.

В октябре 1984 года на представительном рижском симпозиуме рассматривались проблемы, сопряженные с воплощением дайн на языках народов мира. Переводчики из Москвы, Вильнюса и Тбилиси, Варшавы и Бухареста, Лондона, Нью-Йорка и Торонто высказали немало перспективных идей, заслуживающих внимания рекомендаций. Настала пора, говорилось на симпозиуме, подготовить к изданию на разных языках словари словесно-образных формул дайн, помочь в мотивированном отборе лексических, изобразительных средств. Так переводчики получают возможность с наибольшей полнотой воспроизвести глубинный смысл, афористичность дайн, их трудноуловимый для нелатыша ритмический рисунок, затейливую игру аллитераций.

... С каждым годом становится все более очевидным: русским аналогам латышских дайн суждена долгая жизнь.

ЛАТЫШСКИЕ ДАЙНЫ

Saki manim, Daugaviņa,	Ты скажи, Даугавиня,
Kur aug mana līgaviņa:	Где растет моя невеста?
Vai poļos, vai leišos,	У поляков, у литовцев,
Vai dziļā Krievzemē?	Или на Руси далекой ² .
Krievi, krievi, leiši, leiši	Люди русские, литовцы —
Mani balti bāleļiņi:	Братья вы мои родные.
Citam bija krievu svārki,	У кого — одежда русская,
Citam — leišu cepurīte.	У кого — литовцев шапка.

¹Добровенский Р. "И звезда с звездой говорит...". Даугава, 1983, №12. С. 98.

²Здесь и далее даины даются в переводе авторов этой книги.

ОСТЗЕЙСКИЙ КРАЙ В ДНЕВНИКЕ И СУДЬБЕ ДЕНИСА ФОНВИЗИНА

... В июле 1784 года по пыльному тракту Петербург—Кенигсберг быстрые кони все дальше уносили легкую фонвизинскую коляску, давным-давно знакомую с солнцем и дождем. Навстречу стремительно надвигались увенчанные петухами островерхие кирхи, курные избы под горбатыми соломенными крышами. По обе стороны дороги простирались некошенные луга, несжатые поля. Все напоминало о грозных событиях, которые охватили видземские хутора и мызы. Генерал-губернатор Лифляндии Георг Броун (1698—1792) в мае того же года доносил Екатерине II: "Возмущение всей губернии есть общее. Почти нет деревни, которая не была бы в волнении... Все клонится к всеобщему восстанию". В Петербурге толковали о превращениях, которые поджидают путников на дорогах непокорного края. Но Фонвизин не внял осторожным советам...

Что же вызывало народное недовольство? Указ о подушных податях (латыши эти налоги метко окрестили "galvas nauda"), опубликованный осенью 1783 года, пробудил у эстонских и латышских землепашцев робкие надежды на облегчение подневольной доли. Поднималось, набирало силу невиданное до той поры противостояние людей из податного сословия. Доведенные до отчаяния гнетом, нуждой, неурожаями, крестьяне отказывались выходить на барщину. Бунтовщиков пороли, зачинщиков ссылали в Сибирь...

События в Остзейском крае воскресили в памяти Фонвизина озаренную повстанческими пожарами мятежную пугачевскую вольницу... Под низкими лифляндскими

небесами вспомнились деревни в сопредельных русских и белорусских землях. В свое время президент Коллегии иностранных дел граф Никита Панин пожаловал поместье своему секретарю Фонвизину. Тот в свою очередь имение отдал в аренду выходцу из Курляндии барону Ф. Медему. В полном соответствии с остзейскими нравами арендатор и его подручные требовали с крестьян непомерный оброк, заставляли выполнять непосильные работы, строптивых нещадно секли. Мольба о сострадании, о справедливости оставалась втуне. На Медема подавали челобитные в Петербург, прибегали к открытому протесту... Фонвизин возбудил судебное дело. Началось бесконечное разбирательство в самых разных инстанциях. Жестокосердие барона, беспардонная его наглость доставляли Фонвизину физические и нравственные муки. Треволнения закончились апоплексическим ударом. Последствия недуга давали о себе знать до конца дней...

Читая письма Фонвизина середины 80-х годов, согретые сочувствием к "крещеной собственности" лифляндских баронов, нельзя не вспомнить о закабаленных Медемом псковских и витебских крестьянах, о единокровных братьях арендатора — злонаправленных помещиках из "Недоросля". Строки, рожденные в курляндских заезжих дворах, протестующие свидетельства очевидца вызывают в памяти гневное предостережение Стародума: "...угнетать рабством себе подобных незаконно". И как прав был историк В. О. Ключевский, когда говорил: "Фонвизин взял героев "Недоросля" прямо из жизненного омута".

Верный своим антикрепостническим убеждениям, в одной из статей Фонвизин восклицает: "Самому Богу нельзя попустить, чтобы злоба торжествовала, а кровь невинных лилась!" Достойным должно быть положение в Отечестве не только одноземцев, но и других, разноплеменных, людей. В письме, адресованном генерал-аншефу Петру Панину, писатель заводит речь о "новых наших подданных — поляках, литовцах, латышах". По отношению к ним, — не без иронии замечает Фонвизин, — "остается желать только, чтобы, когда уже невозможно избежать злоупотребления, оно было хотя в меньшей степени".

Странствуя по остзейским дорогам, Фонвизин останавливался на почтовых станциях, в гостиницах и трактирах неподалеку от Дербта и Риги, Валки и Вендена.

Всюду писатель видел следы недавних вооруженных столкновений крестьян с их жестокосердными владельцами. "... Мужики крепко воинским командам сопротивляются, — читаем в одном из фонвизинских писем 1784 года, — и, желая свергнуть с себя рабство, смерть ставят ни во что. Многих из них перестреляли, а раненые не дают перевязывать ран своих, решаясь лучше умереть, нежели возвратиться в рабство... Мужики против господ и господа против них так остервенились, что ищут гибели друг друга". В письме, отправленном из Риги, Фонвизин говорит об острых социальных конфликтах, отдает должное бесстрашию латышских правдоискателей. В свете сказанного никак нельзя согласиться с Л. Кулаковой — автором книги о Фонвизине. Писатель, по ее словам, наблюдая в Лифляндии непримиримые общественные противоречия, "не дает оценки происходящему", "исход борьбы для него неясен"¹.

Небезынтересное обстоятельство: все, что драматург видел в городах и весях Балтии, со временем в его памяти не стерлось, не потускнело. Новые дороги и новые страны не заслонили лифляндских и курляндских впечатлений. На берегах Даугавы путника занимало все: природа, история, люди неведомого края. В Добеле он осматривает развалины рыцарского замка, который чем-то напоминает ему цитадель Тундердер-Трунк из Вольтеровой повести "Кандид". С легкой усмешкой говорит Фонвизин о дочери салдусского почтмейстера. Ее "бренчание на клавинодах", оказывается, "гораздо лучше" слушать "за стеною". Скрунда запомнилась хлебосольством, сердечной отзывчивостью "тутошнего" коммерсанта, счастливого отца двух сыновей и дочери — "совершенной красавицы"...

Того, кто примется за чтение остзейских писем Фонвизина разных лет, ждет немало неожиданностей. Из короткой весточки, помеченной 1762 годом и отосланной графу М. И. Воронцову, узнаем о любопытном факте: пребывание писателя в Лифляндии и Курляндии, о котором шла речь выше, никак нельзя считать его первым посещением Балтии. Нетрудно представить, как молодой дипломат декабрьским днем 1762 года, за четверть века до известных

¹Кулакова Л. Денис Иванович Фонвизин. — М.: Просвещение, 1966. С. 129.

дневниковых заметок и рижских писем, бродил по одноэтажной Митаве, преодолевая немощные улочки, одаривая мелкой монетой нищих, заглядывая в лабазы и лавки преуспевающих купцов. Совсем недавно принятый в Иностранную коллегия переводчиком, молодой Фонвизин пытался разобраться в хитросплетениях курляндской действительности тех лет. Борьба за герцогский престол. Нескончаемые интриги то единомышленников Эрнста Бирона, который томился в сибирском изгнании, то сторонников Карла — сына польского короля Августа III. Настороженность петербургских и варшавских дипломатов... В Остзейском крае столкнулся Фонвизин и с национальными предрассудками. Незадолго до его приезда немецкая администрация резко сократила доступ для латышских мастеровых в профессиональные объединения, ремесленные цехи. Заодно им запрещалось пить кофе, чай, вино, есть печенье, играть на духовых инструментах. Будущий создатель "Недоросля" (напомним: речь идет о самом начале 60-х годов) отдавал должное прогрессивной тогдашней публицистике. Однако не обходилось и без преувеличений. Авторы иных газетных и журнальных статей положение баронских крепостных уподобляли бесправной доле римских рабов... Между тем герцогские крестьяне — и Фонвизин видел это — пользовались хоть каким-то подобием прав.

Что же привело начинающего дипломата в столицу герцогства Курляндского? В автобиографических записках "Чистосердечное признание в делах моих и помыслах" Фонвизин говорит о цели своей поездки в Западную Европу: сама императрица поручила ему вручить знак царской милости — екатерининскую ленту — герцогине Мекленбургской-Шверинской...

С балтийскими маршрутами Фонвизина соотносится и парижская его поездка 1777 года. И в тот раз, держа путь во Францию, писатель не миновал те самые ливонские земли, откуда из глубины веков тянулся славный его род. Как удалось установить П. А. Вяземскому — биографу Фонвизина, комментатору и издателю его сочинений, — имя автора всенародно любимой комедии нервушейся нитью связано с лифляндским баронским гнездом Петра Фон-Визина. В самом конце Ливонской войны этот рыцарь Ордена меченосцев был пленен ратными людьми Ивана

Грозного. Впоследствии Петр и два его сына сложили головы в бою с воинством Лжедмитрия. Прадед драматурга Денис Петрович Фон-Визин, призванный на государеву службу, "принял греко-российское исповедание, по крещении назван Афанасием и пожалован в стольники"¹. Защищая Москву от полков королевича Владислава, он проявил незаурядную храбрость. Младший сын Дениса Петровича пал под Ригой в сражении со шведами...

Исследователь русско-остзейских культурных отношений Э. Валдманн доказывает: немецкая родословная, тевтонские корни Фонвизина никак не сказались ни на мировосприятии, ни на психологическом его складе, ни на галерее созданных персонажей. Он "был русский, из перерусских русский". Такими виделись Пушкину стержневые, человеческие и художнические, свойства "сатиры смелого властелина". Поэту вторит Гоголь: у Фонвизина "выразился чисто русский сгиб ума..."

В самом конце 80-х годов писатель снова в Балтии. Все настойчивее давал о себе знать тяжкий недуг. 1789 год застал Фонвизина на балдонских лечебных водах. О чудодейственной силе этих источников он был наслышан еще в Петербурге. Пребывание в Балдоне и Митаве длилось более месяца, и все эти дни Фонвизин вел дневник. Первые заметки помечены 19 июля, последние — 29 августа. Балдонские страницы опровергают мнение, высказанное Л. Кулаковой: "... лечение приносило лишь новые муки. Осенью писатель вернулся в Петербург, несколько не поправившись". Дневниковые заметки и действительное состояние дел говорят об ином... Ванны, заботы докторов помогли, явилась надежда на выздоровление. Путевые заметки петербургского "страдальца"² не оставляют сомнений в твердости духа, жизнелюбии их автора, в постоянных порывах к деятельности, к освещенному живой мыслью бытию. Нет, не только о недугах ведает дневник. Писатель зорко приглядывается к латышским крестьянам, к домашнему их укладу, к тяжелой полевой страде. Становится неравнодушным свидетелем многотрудных их забот, редких радостей. Подолгу задумывается Фонвизин

¹См.: Полное собрание сочинений князя П. А. Вяземского. Т. V. — Спб, 1889. С. 15.

²Выражение П. Вяземского.

над тем, как драматично складываются порой отношения между притесняемыми и притеснителями. Одно из подтверждений тому — запись от 21 июля: "... увидел я (на дворе. — Авторы.) лежащего человека, мужика моего хозяина. Обнаженная спина его, из которой текла кровь, показывала, что он был бит немилосердно". На вопрос, намерен ли хозяин избитого крестьянина искать правосудия, ответ был откровенным: "Не стану: ибо, конечно, не найду. Помещик, которого мужик бил моего, есть барон богатый, а я пономарь бедный: где мне с ним тягаться?"

Не лишены интереса упоминания о народных латышских танцах, о занятиях Фонвизина в курляндские его дни. Настоятельно ищет он встреч с местными людьми, не чуждыми литературе. Один из них, митавец Биркель, в присутствии автора читает сцены из "Недоросля" в немецком переводе...

В 1848 году П. Вяземский уведомляет читателей, что впервые "сообщает несколько отрывков из ... подневных записей" драматурга. Высказывается сожаление: удалось отыскать и включить в книгу только малую часть "разных бумаг деловых, политических и совершенно домашних, которые не менее других любопытны в своем роде и носят на себе живые следы обычаев его и частной жизни". Дневник Фонвизина, его письма и сегодня — через два столетия — поражают метким и чистым слогом, точно схваченными, колоритно переданными подробностями, мастерством эпистолярного стиля — истинно народного, выразительного, ироничного. Многие строки, явившиеся на свет в Балдоне и Митаве, Олайне, Скрунде и Риге, звучат с такой пронзительной силой, несут в себе такой сатирический заряд, словно они сказаны героями бессмертного "Недоросля" — Правдиным и Стародумом.

ИЗ ДНЕВНИКА Д. И. ФОНВИЗИНА

Из журнала¹ путешествия в Ригу, Бальдон и Митаву.

Четверг, 19 июля 1789. Встав с постели рано, собирался я в Ригу, чтобы там только выбраться: ибо в Бальдонах нет ни фершела, ни бритв. (...) В Ригу приехали к

¹Имеется в виду дневник.

Миллеру¹ в пять часов пополудни. Вечеру сделал то, за чем приехал, то есть выбрился. Плясали по-русски Миллеровы дочери; тут мой Губский² показал свое проворство.

Пятница, 20 июля. Встав рано, собираюсь теперь назад в Бальдоны. Отправил письма к жене, Татьяне Каллистратовне, и Клостерману³. Из Риги выехал в 8 часу; в Бальдоны приехал в 5 часов...

Суббота, 21 июля. (...) После обеда лег отдыхать; вдруг Теодора⁴ вошла ко мне с растроганным видом и, вызвавши меня из комнаты, вывела во двор, где увидел я лежащего человека, мужика моего хозяина. Обнаженная спина его, из которой текла кровь, показывала, что он был бит немилосердно. Я призвал хозяина и спросил, за что сей человек так растерзан. Хозяин рассказал мне, что сей битый мужик был теперь на сенокосе, где чужой мужик, поссорясь с ним и будучи его сильнее, так бесчеловечно его изувечил. Это подало повод к дальнейшему моему с хозяином разговору.

Я. Что ж ты хочешь делать? станешь ли искать правосудия?

Х о з я и н . Не стану: ибо, конечно, не найду. Помещик, которого мужик бил моего, есть барон богатый, а я пономарь бедный: где мне с ним тягаться?

Я. И так обида твоя ничем удовлетворена не будет?

Х о з я и н . Я сам хочу управиться. Теперь мужик, который бил моего, работает один в поле. Я собрал своих мужиков и позволю им идти с палочьем отмстить за побой бедного мужика моего и мою обиду.

Я уговаривал его и доказывал, как он будет виноват, когда выйдет смертоубийство (что весьма легко и случиться могло бы), и что тогда его же казнят смертью; но хозяин мой был так взбешен, что не только не отменил своего мщения, но паче поспешил оным. И действительно, мужики к вечеру возвратились. Я спросил одного

¹Содержатель гостиницы, которая находилась на улице Большая Кипсальская, дом 89.

²Слуга Фонвизина.

³Герман Клостерман — петербургский антиквар, друг и доверенное лицо Фонвизина.

⁴Теодора — горничная Фонвизина.

из них, что они сделали. "Мы били того, кто нашего бил". — Да не умрет ли он от побоев? — спросил я. — "А Господь ведает! — отвечал он. — Мы оставили его чуть живого". Между тем, как все сие происходило, Теодора моя лечила битого мужика, который, получа отмщение, забыл болезнь и обиду. Ввечеру Губский мой играл под окном на гусях и привлек тем кучу мужиков под окошко. (...) латыши мои расплясались, и я заснул спокойно.

Воскресенье, 22 июля. (...) Возвратясь из церкви, посетил меня доктор Штендер, который вступил со мною в разговор. (...) Приехав домой, я застал вчерашнюю пляску. Принял ванну в 18-й раз и уснул благополучно.

Вторник, 24 июля. (...) В 10 часов поехал обедать в Дингоф¹, к барону Ливену, чтобы от него (...) ехать после обеда в Митаву через Ригу. И, действительно, отобедав у барона Ливена, через Двину переехал у Красной корчмы; в Кирхольме² пил кофе; в Ригу приехал в 9 часов ввечеру и стал в трактире у Миллера...

Среда, 25 июля. (...) Ездил я с визитом к почт-директору³. После обеда, в 5 часов, выехал с Штендером из Риги, (...) в 9 приехали в Олею⁴, где настигло нас дождливое время, так что мы принуждены были в Олее ночевать.

Четверг, 26 июля. Из Олеи выехали в 6 часов и проехали таможду без всякого осмотра; потом, переправясь через две реки, приехали в 10 часов поутру в Митаву. Стал в трактире у Герцеля и послал за доктором Герцом, который, пришед ко мне, рассматривал с великим прилежанием состояние моей болезни и нашел, что четыре года совсем у меня пропали, ибо доктора лечили меня очень кавалерски. Он находил, что помочь мне может. Бальдонские воды хвалил, но уверял при том, что оне одне без внутренних лекарств помочь мне неспособны. И так мы условились с ним, что он меня лечить берется, но чтоб я переехал из Бальдон тотчас в Митаву и там бы прожил

¹Ливберзе.

²Саласпилс.

³Август Иванович Ган.

⁴Олайне.

недели две, а потом с Богом возвращался бы в Петербург; но если пользу получу очевидную, то бы опять на целую зиму приехал в Митаву. Все сие казалось мне сходно со здоровым рассудком, и я положил поступать по его предложению. Отобедал у Герцеля с курляндцами, кои показались мне люди (...) учтивые (...)

Пятница, 27 июля. Поутру в 10 часов, заехав к Герцу и осмотрев свою квартиру, выехал из Митавы. Обедали в Экау¹, и выехав в 6 часов после обеда, приехали в 10 в Бальдоны. (...)

Воскресенье, 29 июля. Встав поутру очень рано, стали собираться к отъезду и выехали в 8 часу, заплатя Брикману за месяц за все, то есть за квартиру, за лошадей и прочее, сорок талеров.

Не доезжая с полмили до Экау, переломилась у коляски задняя ось. Находящиеся со мною люди так искусно подделали другую, что она довезла нас до Митавы. В Экау обедали. После обеда ехали преглубокими песками и насилу в 12 часов дотащились до Митавы, где стали на квартире у ревизора Шульда. Жена его приняла меня весьма учтиво; и так я в сем доме расположился.

Среда, 1 августа. (...) После обеда доктор мой возил меня в своем экипаже прогуливаться. Возвратясь с прогулки, нашел я у хозяина одного шестидесятилетнего курляндца, которого мой доктор точно от моей болезни вылечил.

Пятница, 3 августа. (...) После обеда хозяйка привела ко мне г-жу Важиганскую, вдовствующую секретаршу, жившую против моих окон. Она сидела у меня весь вечер. Потом был доктор Герц и уверял надеждою выздоровления.

Суббота, 4 августа. (...) доктор Герц приводил ко мне славного митавского декламатора, секретаря Биркеля, который у меня долго сидел.

Воскресенье, 5 августа. (...) была у меня пасторша, г-жа Жульяни, которая сходством своим с сестрою Марфою Ивановною меня и Теодору удивила. (...)

Понедельник, 6 августа. (...) Был у меня Биркель. Хозяйка и г-жа Жульяни (...) слушали мою немецкую комедию, читанную Биркелем.

¹Ицава.

Вторник, 7 августа. (...) Доктор Герц не отходил от меня и присутствием своим весьма облегчал мое страдание. Признаюсь, что Герц редкий человек и великий медик. Он никогда не обещает того, чего сделать не может; а мне обещал всеконечно меня вылечить, но только с тем, чтоб я держался правила моего: исполнять его предписания.

Среда, 8 августа. Поутру встал, хотя слаб, однако довольно свеж. Были у меня доктор Герц, поручик Малер и священник; после обеда Вегнер с женою, баронесса Таубе, камер-юнкерша Трейден и фрейлина Фитингоф. Сии три дамы, мои соседки, зная, что я болен, из одного сострадания пришли навестить меня, ибо я ни одну из них в лицо не видывал. Была у меня г-жа Жульяни; потом доктор Герц. (...) Вечер провели у меня Биркель и Малер.

Пятница, 10 августа. (...) Поутру был у меня поручик Малер, а после обеда он же, почтмейстер Кригер и поверенный в делах Гоберг. (...)

Суббота, 11 августа. После обеда ходил я с доктором к мяснику, который, не по примеру своих товарищей, человек с сантиментами и много читал. (...)

Воскресенье, 12 августа. (...) надев кафтан, ходил я с визитом к баронессе Таубе; потом прогуливался по улице с хозяйкою и фрейлиною Фитингоф.

Понедельник, 13 августа. Поутру получил письма из Белоруссии, Москвы и Петербурга; (...) потом был с визитом у баронессы Таубе.

Вторник, 14 августа. (...) баронесса Таубе и девица Фитингоф приходили ко мне пить шоколад. Были доктор Герц, поручик Малер и бальдоненский пастор Кейлер. Отправил письма в Москву и в Петербург. (...) Перед ужином посетили меня девица Фитингоф и мой доктор.

Воскресенье, 19 августа. Поутру хотел было ехать к обедне, но, за болезнию священника, оной не было. (...) потом я сам ходил к баронессе Таубе, а от нея домой проводила меня девица Фитингоф. (...) сегодня поутру в ванне мог я поднять руку до бровей. Это меня весьма обрадовало.

Среда, 29 августа. Проспав ночь очень спокойно, возблагодарил я Бога за сохранение жизни моей чрез четыре года после случившегося мне в сей день в Москве параличного удара. Ездил к обедне. После обеда навестила меня девица Фитингоф. (...)

Рига, июля 1784

Матушка, друг мой сердечный Федосья Ивановна, здравствуй!

(...) Здесь прожили мы изрядно, отдохнули, посмотрели Риги¹ и благополучно отъезжаем. В Лифляндии и Эстляндии мужики взбунтовались против своих помещиков; но сие нимало не поколебало безопасности большой дороги. Мы все эти места проехали так благополучно, как бы ничего не бывало; везде лошадей получали безостановочно. Что после нас будет, не знаю; но мужики крепко воинским командам сопротивляются и, желая свергнуть с себя рабство, смерть ставят ни во что. Многих из них перестреляли, а раненые не дают перевязывать ран своих, решаясь лучше умереть, нежели возвратиться в рабство. Словом, мы сию землю оставляем в жестоком положении. Мужики против господ и господа против них так остервенились, что ищут погибели друг друга.

(...) В Нарву приехали около полуночи и спали, как мертвые. Проснулись поздно. Наняли коляску и поехали от Нарвы версты три в сторону смотреть славных водяных порогов. Признаюсь тебе, что я не воображал найти такого страшного зрелища. Представь себе целый ряд, на полверсты слишком, водяных гор, которые с высоты ужасным стремлением и с ревом падают вниз и походят на белейший снег. Рев так громок, что за 12 верст во время непогоды слышен. Подходя к ним, кажется, что идешь в Нептуново царство. От Нарвы до Риги ехали мы день и ночь, и терпели много от жаров; сюда приехав, отдохнули и пускаемся в путь далее. Вот, мой сердечный друг, все наше путешествие. Пожелай нам продолжать его так же благополучно, как начали.

Прости!

Лейпциг, 13/24 августа 1784

(...) Вез я с собою шелковый новенький и прекрасный кафтанец, но в Риге за ужином у Броуна (...) разиня,

¹Д. Фонвизин, следуя речевым нормам своего времени, в словосочетании "посмотрели Риги" употребляет "родительный разделительный" падеж.

обнося кушанье, вылила на меня блюдо прежирной яствы. Здесь хочу нарядиться и предстать в Италию щеголем.

(...) В Риге проводили мы наше время столько весело, сколько в Риге можно, и выехали из нея 23 июля нашего стиля, в шесть часов после обеда. Возьми ты теперь календарь, где есть станции от Риги до Митавы, и смотри, по скольку верст мы когда переезжали. В тот вечер ужинали мы в Олее. Тут встретили мы двух рижских дворянок, кои сами вояжируют в Митаву. Мы с ними ужинали и, хотя количество пищи для нас, для них, для людей наших и для их людей было весьма малое, но, благодарение Богу, насытившему некогда пятью хлебами пять тысяч народа, все мы были сыты. Ночь всю мы ехали, а 24 числа поутру приехали в Доблен¹ завтракать. Здесь примечания достоин один старинный развалившийся замок, весьма похожий на Тундердер-Трунк, о котором писано в "Кандиде". Обедали во Фрауенбурге² у почтмейстера, старика предоброго, который утешается тем, что воспитывает дочь свою, учит ее бренчать на клавикордах и петь. Я не могу судить об успехе, но мне кажется, что за стеною слушать ее гораздо лучше. Ночевать приехали мы в Шрунден³. 25 числа поутру жена тутошнего диспонента⁴ Фока прислала к моей жене блюдо плодов и цветов. (...) К ужину приехали мы в Обербартау⁵. (...)

¹Добеле.

²Салдус.

³Скрунда.

⁴Диспонент — коммерсант, дающий деньги под проценты.

⁵Барта.

И В ЛАТВИИ ОН ОСТАВАЛСЯ РАДИЩЕВЫМ

В отделе редких книг и рукописей Национальной библиотеки Латвии хранится единственный в Балтии рукописный список радищевского "Путешествия из Петербурга в Москву". Тронутые временем, ломкие страницы... Без какого-либо намека на спешку, с предельным тщанием выведены строки... На внутренней стороне переплета слабые контуры экслибриса библиотеки графской семьи Паленов из курляндского имения Гофцумбер¹. Кто-то из Паленов — увлеченных собирателей редкостных книг, гравюр, никому неведомых документов — приобрел "Путешествие..." на каком-то российском книжном аукционе. Как свидетельствуют каталог распродажи и обозначенная цена, произошло это никак не ранее 70-х годов XIX века. Таким образом, отпадает версия, высказанная рядом латвийских исследователей: список "Путешествия..." попал в нашу библиотеку то ли стараниями Германа Даля², то ли доставил его В. В. Пассек³.

В латвийском списке "Путешествия..." не находим "Слова о Ломоносове". Чем объяснить этот пропуск? Быть может, раздел о великом сыне России Радищев включил в

¹Теперь Калнамуйжа.

²Даль Герман — крупный специалист по межгосударственным таможенным отношениям во второй половине XVIII века. Сослуживец А. Радищева.

³Пассек Василий Васильевич — офицер, поэт радищевской школы. За распространение "Путешествия..." был сослан в литовский город Кейданы.

свою книгу после того, как чья-нибудь старательная рука сняла копию с начальной редакции "Путешествия...?"

...Упоминания о Риге находим в главных книгах Радищева.

"Житие Ф. В. Ушакова"...

Группа молодых людей, — и среди них Радищев, — посланных на учение в Германию, останавливается в одном из рижских заезжих дворов. Можно думать, будущий автор статей о торговле в Остзейском крае со свойственной ему наблюдательностью знакомился с городом и его людьми, заглядывал в шумный порт, наблюдал, как ловко иностранные матросы, разгружая корабль, переносили по зыбким трапам пестрые тюки колониальных товаров...

Но в автобиографической повести "Житие Ф. В. Ушакова" Радищев пишет об ином — о чести и достоинстве русского дворянина. Поводом к рассуждениям подобного рода послужил конфликт студентов с их духовным наставником, отцом Павлом. Рассмешив священника на молитве, они вызвали его "неграмматикальную" брань. Дальше — больше. Студент, который вызвал гнев "чернеца" (речь идет о том же отце Павле), "показывая ему эфес с темляком, говорил: "Забыл разве, батюшка, что я кирасирский офицер".

"Путешествие из Петербурга в Москву". Глава "Городня".

Некий дворянин, юный, просвещенный, до самозабвения влюбленный в отчий свой край, возвращается на родину из европейских стран. Радищев делает нас сопричастными к миру переживаний очарованного Россией странника: "Сердце трепетало, вступая опять в пределы моего отечества..."

Сходные чувства испытывал и Радищев, когда вместе со своими однокашниками возвращался из-за границы в Россию и на короткое время оказался в Митаве. Много лет спустя, восстанавливая в памяти впечатления от этой поездки, Радищев из сибирской ссылки обращается к другу юности А. Кутузову: "Вспомни о восторге нашем, когда узрели между, Россию от Курляндии отделяющую... Но если кто... скажет, что не могли бы мы тогда жертвовать и жизнью для пользы отечества, тот, скажу, не знает сердца человеческого..."

Но вернемся к "Городне".

И вот радищевский герой на улицах Риги. Он тут же узнает о кончине отца. Недолгими были слезы... Почувствовав полную независимость от людей и обстоятельств, он с легким сердцем отпускает своего воспитателя-француза... Далее рижские происшествия разворачиваются вокруг этого самого губернатора. В одном из рижских трактиров он выигрывает крупную сумму, покупает себе за десять рублей "изрядный кафтан" и, пристроясь к проезжему купцу лакеем, отправляется с ним в Казань.

80-е годы...

Радищев — один из ближайших сотрудников президента коммерц-коллегии А. Р. Воронцова. В Петербургской таможене он устанавливает близкие отношения с действительным статским советником Германом Далем, в ведении которого находились и Петербургская, и Рижская таможни. Знакомясь с воронцовским архивом, латышский историк Янис Зутис установил: Г. Даль, знаток торговой и административной практики Рижского магистрата, выполняя правительственное поручение, вместе с Александром Радищевым подготовил новое "Положение о городах". В 1785 году сенат принял этот законопроект. С этого времени в деятельности городских властей наметились демократические тенденции: уравнивались в правах немцы, русские, латыши, отменялись некоторые ограничения в торговле. Авторы "Положения о городах" в 1786 году удостоились государственных наград. Г. Далю вручили 4000 рублей, А. Радищеву — 1000.

Интерес Радищева к Балтии, ее истории, экономике, административному устройству с годами не угасал. В его библиотеке сохранилась книга Генриха Иоганна Яннау "История рабства и характер лифляндских и эстляндских крестьян". В письмах к А. Р. Воронцову 1785—1787 годов Радищев пишет и о трудностях в остзейском сельском хозяйстве. Причина тому — крестьянские волнения 80-х годов. Но не только. Дело еще и в том, что "в Риге... Двина... не прошла...", и хлеб, "сказывают, в Лифляндии... очень дурен", и озимые поля помещики вновь засевают яровыми.

Выполняя служебные обязанности в Петербурге, Радищев проявлял интерес к делам Рижской таможни, к ее успехам и просчетам. В проекте доклада "О запрещении провоза товаров иностранных" Радищев излагает свои

взгляды политика, экономиста, коммерсанта. Расцвету Риги, по его мнению, могло бы содействовать ограждение столицы Лифляндии от торгово-экономической экспансии Кенигсберга. "Что касается до Рижской пограничной таможенной, — пишет Радищев, — то она... оставлена в полном ее действии, потому что к немалой государственной пользе в общем тарифе великие сделаны поощрения для переходных чрез оную польских, курляндских и литовских продуктов, дабы тем оный переходный торговый сколько можно более к себе привлечь и преодолеть все от кенигсбергского торгового чинимые рижскому подрывы". Разве через старинный слог, тяжелые синтаксические конструкции деловой речи не пробиваются весьма перспективные для тех лет идеи, стремление "поощрить" экономическое развитие Лифляндии?

Нигде, ни в одной строке русского вольнолюбца не найдем доброго слова о помещиках — ни о российских, ни об остзейских. Показывая разрушительные последствия крепостнических отношений, Радищев обращает свой взор к литературному собрату, "другу свободы" Денису Фонвизину. В памфлете "Памятник дактилохореическому витязю..."¹, высмеивающем, кроме всего прочего, давнюю бесплодную практику усадебного воспитания дворянских недорослей, Радищев напоминает о небезызвестных и, как оказалось, весьма живучих господах Простаковых. Выясняется: избавясь без особых хлопот от наказания — это была та самая печально знаменитая, назначенная "властью правительства" опека, о которой говорится в пьесе Фонвизина, — закоренелые крепостники "истребовали дозволения продать деревни и на вырученные за то деньги" купили мызу... в Прибалтике. И вот по прошествии не очень долгого времени Простаковы, сравнивая возможности тиранить крестьян в Остзейском крае и российских губерниях, приходят к выводу: "они оглашены в жестокостях несправедливо"².

С не меньшей неприязнью автор "Путешествия..." относится и к родовитым остзейцам. В радищевских письмах из Сибири курляндские дворяне предстают в нелестном свете: они и "ябеды", и "лгуны".

¹Радищев А. Н. Полн. собр. соч. в 3-х томах. Т. II. — М., 1941. С. 200.

²Говоря другими словами, их обвинили, нарушая букву закона...

Еще Я. Янсон-Браун в горьковском "Сборнике латышской литературы" сближает имена Радищева и Гарлиба Меркеля. По его слову, книга рижского философа и публициста "Латыши..." вызвала среди балтийских феодалов такое же возмущение, столь же открытый протест, как это было с "Путешествием из Петербурга в Москву" в России. Исследователь русско-латышских литературных отношений М. Николаев отмечает в этих произведениях немало сходного: оба автора ратуют за вызволение крестьян из неволи, оба выступают за гуманное к ним отношение. И одна, и другая книги покоряют бесстрашной правдой, зорко увиденными подробностями беспросветной барщины, неопровержимыми свидетельствами помещичьего произвола. Но в чем-то существенном произведения эти разнятся. Если Радищев возвысил голос против безудержной тирании, звал к ниспровержению самодержавия, то Меркель до конца дней мечты свои и надежды связывал с милосердным, благодетельным, просвещенным монархом.

В латышской печати имя Радищева впервые появилось только в начале двадцатого века. Это была статья "Гонение Радищева" неизвестного автора, опубликованная в 135-м номере газеты "Балсс" за 1906 год. Публикация обращала внимание латышского читателя на первое легальное издание "Путешествия...". "Балсс" отдаст должное Радищеву — человеку, бойцу, гражданину, ниспровергателю цензуры, сковывающей вольную мысль.

В разные годы и в разных планах о высокой и горькой радищевской доле говорили латышский ваятель с европейским именем Карлис Зале, ведущий сотрудник московского латышского журнала "Целтне" Эдуард Шиллерс. Автору "Путешествия из Петербурга в Москву" в "Истории мировой литературы" отдают должное Рудольф Эгле и Андрей Упит. По их убеждению, Радищев — самый оригинальный русский мыслитель XVIII века. Теоретические его рассуждения проникнуты горячим негодующим чувством. И надежный этот сплав облечен в совершенную литературную форму. И никогда не знал Радищев компромиссов. И ни разу не склонил головы пред своими гонителями. И так обрел вечную жизнь.

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ ЛИВОНИИ НИКОЛАЙ КАРАМЗИН

ЗА СТРОКОЙ РИЖСКОГО ПИСЬМА

Беспокойные предки наши, отсчитывая версты по тряским проселкам Отечества или продвигаясь по дорогам чуждадельных пределов, ямщиков своих не торопили. Словно муравьи, аршин за аршином ощупывали они, оглядывали землю, всматривались в "люди и дома". Путешествие Карамзина в европейские страны длилось полтора года. И ничего не оставалось незамеченным. В этом нетрудно убедиться. Стоит только прислушаться к дорожным его размышлениям, к обмену впечатлениями с пестрым странствующим людом. Общениа путник искал всюду. И на станциях, где часами дожидался лошадей, и в придорожных корчмах, и в почтовых дилижансах, и в особняках высокородных аристократов, и в скромных обителях поэтов. Разговоры он вел то случайные, мимолетные, то обстоятельные, расспрашивающие, долгие.

Свою поездку по видземским и курземским городам Карамзин начал задолго до того, как пересек лифляндскую границу. Готовился он долгих четыре года. Ему были ведомы стихи остзейских поэтов Иоганна Андреаса Крамера¹ и Якоба Михаэля Рейнгольда Ленца², социально-философские

¹Крамер И. А. (1723—1783) — немецкий поэт, жил в Нарве.

²Ленц Я. Р. (1751—1792) — немецкий писатель "Бури и натиска". Лирика, социальные драмы. С 1781 года жил в России, разделял вольнолюбивые устремления Н. И. Новикова.

трактаты Иоганна Готфрида Гердера¹, труды по истории Балтийского края Христиана Келха², Августа Арндта³, Матфея Преториуса⁴.

30 мая 1789 года хозяин трактира "Hotel de Petersburg", на рижской Замковой площади, приветливо встречал двадцатидвухлетнего Карамзина. Позади оставались эстонские города и мызы, Нарва и Дерпт. Рассуждениями о Лифляндии и начинаются "Письма русского путешественника". Карамзин открыто сочувствует крепостным, говорит о жалком их состоянии. Потомки ливонских крестоносцев в "крещеной собственности" видели только пороки: и ленивы-то они, и тупы, и темны... Однако бароны и управляющие поместьями, — и об этом повествует послание из Риги, — умудрялись выжимать из барщинных крестьян вчетверо больше, чем какие-нибудь симбирские или казанские помещики. При всем при том автор "Писем..." не смог преодолеть своих противоречивых чувств, разнонаправленных социальных симпатий. С одной стороны, трогательное участие к людям податного сословия, с другой — неумение вырваться из плена сословных предубеждений, страх перед цензурой.

Вчитаемся в карамзинский текст. Строка из Давидова псалма — "работающие из нужды и по принуждению" — должна была, как можно думать, усилить сказанное о горькой доле подневольных землепашцев, придать письму гневный тон. Но этого не случилось. Обнаженную и грозную библейскую правду автор приглушает, сетования царя Давида переиначивает, смягчает их обличительную суть: "сии бедные люди, работающие Господеви со страхом и трепетом". Но минует столетие, и немецкий переводчик "Писем..." Альфред Ределин⁵, догадываясь о потаенном авторском замысле, восстанавливает тысячелетнее речение...

¹Гердер И. Г. (1744—1803) — философ, пастор, писатель-просветитель. Теоретик "Бури и натиска". Друг Гете. Рижские его годы: 1764—1769.

²Келх Хр. (1657—1710) — автор хроники, примечательной благосклонным отношением к латышским крестьянам.

³Арндт А. — немецкий историк последней четверти XVIII века.

⁴Преториус М. (1635—1707) — богослов и историк.

⁵Redelien A. Karamsin's ausgewählte Reisebriefe, zur Erinnerung an die vor 100 Jahren erfolgte Veröffentlichung der Reisebriefe. — Riga, 1891.

Еще в Петербурге близкие Николаю Новикову и Александру Радищеву люди говорили с Карамзиным о возрождении в Лифляндии и Курляндии "римского рабства", самого беззастенчивого угнетения. Нигде в Европе — ни в швейцарских кантонах, ни в британских графствах, ни в немецких землях — автор "Писем..." ничего подобного не видывал...

Не забудем: после волнений 1784 года любые высказывания о взаимоотношениях остзейских помещиков и крестьян правительством и цензурой воспринимались как недозволенные, дерзкие. Даже самый факт карамзинского обращения к этой теме историком литературы В. Сиповским¹ признается как поступок безбоязненный, истинно гражданский. Общеизвестно, каким гонениям подвергались "неистовый латыш" Гарлиб Меркель, Александр Радищев и весь новиковский кружок. О верности Карамзина новиковским идеям говорит многое. Сошлемся на диалог автора с достойным собеседником, скрытым за инициалами Г. З. Загадочный псевдоним расшифровал известный литературовед Юрий Лотман. Г. З. — это Василий Николаевич Зиновьев, русский дипломат, друг Радищева. С Карамзиным он коротко сошелся в доме Новикова. Автор этой версии идет еще дальше. По мнению Ю. Лотмана, путешествие Карамзина очень напоминает бегство, спасение от недругов, возможных преследователей.

Познавательное значение "Писем..." бесспорно. Читатель узнает о социальных потрясениях, философских, духовно-нравственных, психологических теориях, о самых разных течениях в западноевропейском искусстве. Но не только высокие материи занимали путешественника. Карамзин — неравнодушный наблюдатель хозяйственного и бытового уклада латышей, эстонцев, немцев, людей разных сословий, состояний и званий. Приметливый его взгляд отличает несоответствия в одежде, во внешнем облике "эстляндцев" и "лифляндцев". Напротив, языки крестьян, населяющих эти земли, по замечанию автора, "сходны". Это высказывание у лингвистов, литературоведов, историков вызывало недоумение. В примечаниях Альфреда Ределина, сопровождающих его перевод "Писем..."

¹Сиповский В. В. Карамзин — автор "Писем русского путешественника". — СПб., 1899.

на немецкий язык, находим: "Это ошибка: язык латышей отличается от эстонского"¹. В наши дни Ю. Лотман снимает неоправданный этот упрек: на самом деле автор "Писем..." речь ведет совсем не о языках эстонцев и латышей, а об эстляндском (ревельском) и лифляндском (дерптском) диалектах. К слову сказать, консультировал гостя из Петербурга по всему спектру эстонской этнографии великолепный знаток местных говоров Фридрих Давид Ленц².

Непривычными для россиянина показались хутора, отдаленные один от другого на изрядные расстояния: "Избы больше наших, и разделены обычно на две половины; в одной живут люди, а другая служит хлевом". Ни разу не случилось ему встречать на псковских или тверских дорогах "пребольших лошадей", с "висящими на них погрешками", впряженных в "длинные фуры цугом".

По обе стороны оживленного тракта высились поросшие молодым сосняком песчаные взгорья, мелькали типичные для лифляндского ландшафта болотца с черной недвижной водой...

Для читателей в высшей степени поучительным было узнать из "Писем..." о курляндских городах и весях, об истории этого края, его людях. О Митаве говорилось: "Вид сего города... для меня был привлекателен! Вот первый иностранный город, — думал я, — и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового". Таким оказался герцогский замок — создание великого Растрелли. Через четверть века в той же самой Митаве люди с громкими именами — физик Фридрих Паррот, открыватель новых земель Иван Крузенштерн, зоолог Карл Бер, астроном Отто Струве, археолог Сергей Уваров, этнограф и художник Иоганн Христоф Бротце, врач Отто Гун, человек многих дарований Гарлиб Меркель, генерал-губернатор Лифляндии, Курляндии и Эстляндии маркиз Федор Пауллуччи — избрали Николая Карамзина почетным членом Курляндского общества словесности и художеств³.

Немало у Карамзина зорких наблюдений о столице Лифляндии: "... Это торговый город — много лавок, много

¹Karamsin's ausgewählte Reisebriefe... S. 15.

²Ленц Ф. Д. (1745—1809) — гербатский пастор, университетский лектор, автор книг на эстонском и латышском языках.

³Stradiņš J. Etides par Latvijas zinātņu pagātnei. — Rīga, 1982. 23. lpp.

народа — река покрыта кораблями и судами разных наций — биржа полна...” На тесных улочках Старой Риги “много каменных строений и есть хорошие дома”. Но не только по камням, из которых сложены стены и “дома”, скользит взгляд Карамзина. Не менее занимают его камни истории, любые события, которые составляли прошлое, из которых складывалось настоящее нового для него края.

Было бы напрасным занятием отыскивать в карамзинских “Письмах...” элементы нарочитой занимательности, хитроумную интригу, пикантные сцены. Автор зовет читателя к совместному размышлению, к сопоставлению и анализу самых разных фактов из бытия иноземных народов.

Путешественник не нарадуется мягкой живописи курляндских пейзажей, вслушивается в языковое разногласье рижских улиц, портовый грохот и гул. Вот путник становится свидетелем разговора двух немецких купцов. Без всяких на то оснований бранили они русских, Россию. “Я... хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? Нет, отвечали они. А когда так, государи мои, сказал я, то вы не можете судить о русских, побыв только в пограничном городе”.

Еще современники ставили писателю в заслугу его стремление представить западноевропейскую культуру как единое, внутренне сочлененное пространство. Многие в России из карамзинской книги впервые узнали о немецких, французских, английских просветителях (иные имена из блистательного этого созвездия и произносить-то в те годы было небезопасно!), быть может, впервые задумались о природе их действенного гуманизма, о мучительных духовно-нравственных исканиях. Примечательный момент: знакомство россиян с общечеловеческими ценностями — в этом едва ли не главное назначение “Путешествия...” — начинается с письма из Риги.

В круг новых для читателя имен входит Иоганн Андреас Крамер. Ода, созданная этим природным лифляндцем и посвященная высокоталантливому поэту Кристиану Геллерту, вызвала у Карамзина и восторг, и соучастие, и слезы... Кто-то прочитал немецкому поэту те строки из рижского письма, в которых речь идет о нем, Крамере. Слова признательности из Нарвы порадовали Карамзина...

Чувством сострадания проникнуты строки о Якобе Михаэле Рейнгольде Ленце. Лифляндец родом из Цесвайне, тонкий и проникновенный романтик, надежда Гете и Виланда¹, он стал близким Карамзину еще в Москве, задолго до "Писем...". Ленцу, замечает Ю. Лотман², суждено было стать литературным и духовным наставником молодого Карамзина. Немецкий поэт первым приобщил своего русского собрата к миру идей Иммануила Канта о Боге, свободе, бессмертии, познакомил с поэзией Кристофа Виланда, Иоганна Вольфганга Гете, мятежными стихотворцами "Бури и натиска". Литературный аспект отношений с Ленцем и в самом деле не лишен интереса. Карамзин отдавал должное ранней его элегии "Народные бедствия", лирическим миниатюрам, опубликованным в митавской газете "Для читателей и читательниц"... Литературовед конца XIX—начала XX века М. Розанов первым заметил тематические переключки в стихах Ленца и Карамзина³. В наше время Ю. Лотман ввел в научный обиход новый факт: карамзинская элегия "Цветок на гроб моего Агатона" — скорбный отклик на раннюю смерть Александра Петрова⁴ — близка по духу стихам Ленца "Нечто о Филотесе... Фиалка на его гроб"⁵.

Заботился Ленц и о предстоящем паломничестве русского литератора. К своему брату Фридриху Давиду (лектору Дерптского университета, в прошлом пастору в Дзербене, Цесвайне, Цесисе) Ленц обратился с письменной просьбой: "Если приедет господин Карамзин, окажи мне дружбу, дорогой, и постарайся сделать ему, насколько возможно, пребывание совершенно приятное". Фридрих Давид Ленц письмо из Москвы не оставил втуне, многое рассказал Карамзину об Остзейском крае, о лифляндских и эстляндских крестьянах. Беспокойный путник из России не оставался в долгу: и в Веймаре, и в Цюрихе — всюду, где когда-то бывал Якоб Ленц, он расспрашивал именитых

¹Виланд Кристоф Мартин (1733—1813) — немецкий писатель Просвещения. Романы "Агатон", "Абдеритяне", фантастическая поэма "Оберон".

²Лотман Ю. Сотворение Карамзина. — М.: Книга, 1985.

³Розанов М. Н. Поэт периода бурных стремлений. — М., 1901.

⁴Петров А. А. — литератор, друг Н. Карамзина, его соредaktor по журналу "Детское чтение для сердца и разума".

⁵Стихи на смерть лифляндского барона Фитингофа.

горожан о давнем и добром своем знакомом. Имя его Карамзин благодарно упоминал и в "Письмах русского путешественника", и в частной переписке с Иоганном Каспаром Лафатером¹, Александром Андреевичем Петровым.

Запоминается и диалог Карамзина с Иоганном Готфридом Гердером. В лифляндской столице он провел более пяти лет. Для нескольких поколений рижан, и не только рижан, Гердер оставался человеком всесторонне замечательным. Он был настоятелем Домского собора, автором литературно-критических статей, трудов по истории и философии, переводчиком на немецкий язык и первым публикатором латышских и русских народных песен. Главное в наследии Гердера — идеи исторического прогресса, его влияние на развитие гуманистических начал во всех сферах жизнедеятельности человека. Он решительно осуждал вторжение немецких крестоносцев в Латвию, многовековое их господство, высоко ценил труды Гарлиба Меркеля. В нравственно-философском трактате "Идеи" Гердер размышлял о том, как движение эпох, непрерывная смена политических режимов, экономических укладов, правителей сказывается на судьбах народов. К мыслям о суетном и вечном, о всеохватном слове "гуманность", "о благородной расположенности человека к разуму и свободе", к "тонким ощущениям и стремлениям" Гердер снова и снова возвращался в своих веймарских беседах с посланцем России. Разговоры эти запомнились Карамзину навсегда. Одно из подтверждений тому — ливонские эпизоды из "Истории государства Российского", рижские и курляндские страницы в "Письмах русского путешественника".

Мгновенные встречи на остзейских дорогах... Прислушаемся не только к смыслу, но и к тону, и к строю карамзинских разговоров с лифляндцами. Вот путник за привет, за отзывчивое сердце благодарит средней руки помещика, на лице которого "добродушие написано", и его семью, "ласковую и сердечную". Высказывается пожелание, чтобы хозяин дома и впредь "своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями".

¹Иоганн Каспар Лафатер — швейцарский богослов, философ и поэт; автор многочисленных трактатов, в том числе: "Phisiognomische Fragmente..." — о том, как характер человека соотносится с чертами его лица.

Даже не очень развитый слух в письмах из Риги, курляндской корчмы или Палангена различит приметы стиля Карамзина-сентименталиста. Повышенное внимание к жизни сердца, сильные и глубокие переживания, эмоционально окрашенная тональность... Всех этих свойств нового художественного направления, начатого Карамзиным, не знала русская литература последних десятилетий XVIII века.

Как видим, "Письма..." — это не столько путевые наброски пестрых впечатлений, сколько стремление проникнуть в неоглядные сферы — мир людей и мир идей. Между тем в ряде публикаций (русских, латышских, немецких) о карамзинской книге граница между подлинным фактом, многоплановым его осмыслением и литературным приемом размывается. И выходит: послание из Риги от 31 мая 1789 года — каким его читаем у Карамзина — отправлено в Москву, А. А. Плещееву, на следующий день после приезда автора в Лифляндию. В действительности все было не так. Свои наблюдения, заметки "по следам событий" Карамзин приводил в порядок, давал им философское освещение, облакал в совершенную форму через какое-то время. И происходило это не в дни странствий, а в Москве, когда самые разные наблюдения отстоялись, улеглись. Стержневые для всего карамзинского наследия темы — "Россия и Запад", "Народы из сопредельных с Россией и дальних стран", "Русские за пределами своего отечества" — начальное воплощение нашли именно в "Письмах..."

По тонкому наблюдению Ю. Лотмана, в дальние земли отправились два Карамзина: один — восторженный литератор, художник по восприятию людей и событий, другой — мыслитель, аналитик, деятельный участник новиковского кружка. Этот первый Карамзин адресовал в Москву короткие, наспех набросанные весточки. Те же письма, которые мы знаем по книге, рождались не на почтовых станциях и не в гостиницах, а в московской квартире Карамзина. При этом писатель никак не ограничивался личными наблюдениями. Он постоянно обращался к самым разным источникам о виденных краях и странах.

Вчитаемся в "Письма...". В любом из них (в том числе и рижском и митавском) через пласты социальных событий, многоцветье разговоров и впечатлений, полифонию

красок и звуков пробивается половодье чувств, повышенное внимание ко всему спектру внутренних состояний, переживаний. Условные аллегорические фигуры — все эти амуры, хлои и фебы (персонажи античной мифологии) — и стеснительные каноны классицизма сменялись неотторжимыми приметам сентиментализма. Одно и то же обстоятельство — скажем, трудности в пути — воспринимается всякий раз по-иному, вызывает разноречивый эмоциональный отклик — от радости и восторга до крайнего уныния, неприятия, возмущения: "Мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие... Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки еще не чувствовал". И рядом: "Внутренне проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от верных удовольствий к неверным".

Еще современники, отдавая должное Карамзину как автору труда, откровенно социального, многопланового, открывающего России западные страны, их философов и политиков, поэтов и ученых, их музеи, дворцы и соборы, библиотеки, театры и университеты, высоко ставили художественные достоинства "Писем...". И в пушкинские десятилетия, и в более поздние времена читателей приводили в восторг благородный замысел, безупречная логика повествования, чистый, незамутненный язык, способный передать едва уловимые состояния души, неповторимый карамзинский стиль... Выступая со статьей "И снова зовет старый почтовый тракт..."¹, Айварс Калве размышляет о завидной участи, о долгой жизни "Писем русского путешественника". В очень непростом социальном, философском, нравственном контексте последних лет латышский прозаик напоминает, с каким трогательным участием относился Карамзин к лифляндским крепостным, как занимали его минувшее и настоящее Прибалтийского края, его грядущий день. "И не настала ли пора, — обращается ко всем нам А. Калве, — в помещительную почтовую карету рядом с латышами усадить "московских историков и писателей, эстонцев и литовцев" и ясным июньским днем через Тверь и Санкт-Петербург, Дерпт и Ригу карамзинским маршрутом двинуться в Елгаву? И там, в замке, воздвигнутом самим Растрелли, вспомнить

¹Kalve A. Senā pasta ceļā vilina/Literatūra un Māksla. 1989. 31. nr.

и о гуманистической устремленности "Писем...", и о бессмертных просветителях разных стран и народов, и о Великой французской революции, на встречу с которой торопился беспокойный странник, не ведая еще о яростной силе и самых разных последствиях этих потрясений... И пусть петербуржец Дмитрий Лихачев и наш Имант Зиедонис, — высказывает пожелание А. Калве, — объединят свои усилия и напишут новую книгу "Писем...". И пусть отзовется в ней день сегодняшний, его трагедии, надежды, свершения".

ЛАТЫШСКОЙ ИСТОРИИ РУССКИЙ РЕВНИТЕЛЬ

Какой бы устойчивый успех ни сопровождал "Письма русского путешественника", повести "Бедная Лиза", "Наталья — боярская дочь", дважды и в разное время переведенные на латышский язык, главной книгой Карамзина согласно считают "Историю государства Российского". Труд, который и в наши дни оказывает воздействие едва ли не на все сферы духовной и нравственной жизни, Карамзин отдал более двух десятилетий. Автор сумел дать систематическое изложение русской истории с древнейших времен до "смутного времени", с удивительной для конца XVIII—начала XIX века научной объективностью осветил самые противоречивые, самые запутанные явления и события.

Даже при беглом знакомстве "История государства Российского" — с первой главы I тома до незавершенного тома XII — поражает обстоятельностью, с которой первый русский историограф прослеживает судьбы балтийских народов, вовлеченных в круговорот войн, политических, торговых, культурных отношений. Ссылаясь на летопись Нестора, на другие источники, автор прослеживает судьбы древних племен, которые обитали на балтийских землях. Это "летигола и сель, корсь, земигала, ливь". Дается свое, незаемное толкование этнонима "латыш". Слово это, по Карамзину, восходит к литовскому "лата". Означало оно расчищенную под пашню землю. Однако балтийские лингвисты К. Буга и Я. Эндзелин это мнение не

разделяют. По их убеждению, свое название народ получил от видземских рек Лата и Латупе.

Карамзин прослеживает не только этнографию восточнославянских и балтийских племен, их расселение на пространствах Центральной России, Лифляндии, Курляндии. Говорит он и об истоках государственности, о повседневных занятиях, быте, разных слоях духовной культуры. На многих страницах "Истории..." сопоставляются русские и латышские языческие предания, легенды, верования. "Русские язычники, — находим у Карамзина, — имели одних богов с латышами, ежели не все, то хотя некоторые славянские племена в России, — вероятно, кривичи, ибо название их свидетельствует, кажется, что они признавали... первосвященника Криве¹ главою веры своей". При всей смелости такой гипотезы, принять ее нельзя. Бесспорные авторитеты в области балтийской мифологии — В. Мангардт и П. Шмит утверждали: "Криве" — это обозначение сана первосвященника у прусских племен. Происхождение этого слова филолог и богослов А. Хупель соотносит с этнонимом "krievs". Со временем это словопонятие распространилось и на русских властителей, которым восточнолатышские племена платили дань. По нашему мнению, "Krīve" — это общее название русских священников, к которым латыши иной раз обращались охотнее, чем к католическому капеллану.

В примечаниях ко II главе первого тома "Истории..." знакомимся с легендой о "пращуре латышского народа", первом его "короле" Видевуте. "Знаменит" он был "как в своем отечестве, так и в чужих землях умом и богатством". Приводится пространное обращение Видевута к своим соплеменникам, исполненное державной мудрости и благородства: "Изберите Государя и вручите ему судьбу вашу, да судит распри граждан, отвращает убийства, злоупотребления силы и печется о всеобщей безопасности!" Гуманистические эти заветы находят отклик у толкователя древних сказаний: "Вот народная сказка, которая может иметь некоторое историческое основание". Указываются источники эпизода о латышском "короле" — хроника

¹Криве ("Krīvu Krivs") — имя нарицательное, означающее сан языческого первосвященника в Ромове, храме древних пруссов.

поляка М. Стрыковского¹ и "История" немецкого автора М. Преториуса². Исследователи 20—30-х годов XX века В. Мангардт, П. Шмит и А. Швабе критически относятся к источникам, на которые ссылается Карамзин. Тем не менее эпизод о Видевуте — он и в наше время не противоречит логике исторического повествования — еще одно свидетельство редкостного таланта Карамзина-беллетриста.

Многотомной "Истории государства Российского" суждено было стать не только сводом знаний о стародавних событиях, но и достоверным источником о народах порубежных земель — латышах, литовцах, эстонцах. Обратимся к любой странице, рассказывающей о древней истории Латвии. Формирование нации, становление и развитие государственности... Всюду ссылки на древнеримские, германские, византийские, арабские, скандинавские источники, на хронику Генриха Латвийского³, "Рифмованную хронику"⁴.

Как же складывались, по Карамзину, государственные отношения между вождями латышских племен и русскими князьями? Вот самое первое упоминание об этом.

"Вся Ливония платила дань Владимиру: междоусобие детей его возвратило ей независимость. Ярослав в 1030 году снова покорил Чудь, основал город Юрьев, или нынешний Дерпт, и, собирая дань с жителей, не хотел насильно обращать их в христианство: благоразумие достохвальное, служившее примером для всех князей российских!" Русско-ливонские отношения — со времен Владимира Святославовича и Ярослава Мудрого — прослеживаются Карамзиным основательно, разносторонне, глубоко.

Из русских летописных сводов приходят на страницы "Истории..." упоминания о голяди, о храбрых битвах этого

¹*Strykowski M. Kronika polska, litewska...* — Königsberg, 1582. Ausg. von Bohomolec//Zbior Diejopisow polskich. T. II. — Warszawa, 1766.

²*Praetorius M. Nachrichte von der Littauer Art, Natur und Leben.* I, 1723.

³Текст, переведенный на немецкий, русский, английский языки, освещает период с 1187 по 1259 год.

⁴"Рифмованная хроника" ("Reimchronik") воссоздает события с 1180 по 1290 год.

балтийского племени с многочисленной дружиной Изяслава. Преданные родной земле и воле семигалы¹ в 1106 году преградили путь самим князьям братьям Всеславовичам... Воспроизводится в "Истории..." и такой эпизод из летописи: в 1117 году Рюрик Ростиславович отправился из Новгорода в полюдье по северолатышским землям. В Лучине² родился его сын Михаил. В честь этого события был воздвигнут православный храм.

Свидетельства Генриха Латвийского и "Рифмованной хроники" дали возможность Карамзину со множеством подробностей рассказать о покорении крестоносцами балтийских племен. Полоцкий князь Владимир, пишет историк, не только "дозволил" католическому монаху из Зегеберга миссионеру Мейнард — он сопровождал немецких торговых людей из Бремена — крестить "икскульских"³ ливов и латышей, но и щедро одарил проповедника учения Христова. При этом русский правитель "не предвидел вредных следствий для россиян от властолюбия немецких купцов, как и духовенства римского". Обращение в новую веру имело равно отрицательные последствия и для русских, и для балтийцев: "Сей бедный народ в течение веков не забывал насилье своих жестоких правителей". И в доказательство приводится плач латышской матери по умершему сыну: "Иди, несчастный, в мир лучший, где немцы уже не могут господствовать над тобою, а будут твоими рабами". Этот эпизод из "Истории..." вызывает в памяти рижское письмо Карамзина, те его строки, где речь идет о притеснениях остзейских крепостных, тираническом баронском правлении. Удивительная переключка эпох!

И какой читатель "Истории..." — будь то русский или латыш, литовец, немец или эстонец — останется безучастным к страницам, повествующим о покорении крестоносцами Ерсика⁴ — военно-политического и религиозно-культурного центра латышского племени летиголы! Было так:

¹Семигала — одна из древнелатышских народностей, населявшая территорию нынешней Земгале.

²Лучин — Люцин, теперь Лудза.

³Икскуль — немецкое название Икшкиле.

⁴Ерсика — у Карамзина Герцике — неверно идентифицируется с Крейцбургом (Крестпилсом).

Ерсику клеветы епископа Альберта сожгли, жену князя Всеволода и многих горожан пленили... В хронике Генриха Латвийского, в некоторых других источниках Всеволод — князь ерсицкий (Карамзин именует его "двинским князем") назван "Wissewalde". Основываясь на этом различии, историки А. Швабе и У. Германис по-разному определяют национальную принадлежность князя. Первый относит "Висвалдиса" к племени летиголы. На русский же лад "Висвалдис" именуется в летописях только потому, что был вассалом полоцкого князя. Другой исследователь и вовсе считает Всеволода выходцем из варягов, который приобщился к латышской среде.

Столь же неясно национальное происхождение и кокнесского князя Вячко. У Генриха Латвийского он назван "Vetseke". А. Швабе толкует — "Vesākais". Карамзин же в одном случае (примечание 418 к главе XVII второго тома) называет кокнесского властелина русским ("кривским") князем, в другом эпизоде (примечание 205 к главе VII третьего тома) — единоземцем латышей.

И в последующих томах "Истории..." множество упоминаний о военных конфликтах между русскими и ливонцами, "замирениях" между ними. Даются точные временные границы войн, даты заключения торговых договоров, документов Ганзейского союза. Не одну страницу занимает в "Истории..." рассказ об основании Риги и Ордена меченосцев. Воссоздавая ливонский театр военных действий, Карамзин снова и снова вводит в повествование крепости и города (Псков, Нарва, Дерпт, Оденпе — "Медвежье Ухо"), называет имена предводителей ливов и латышей, повествует о русских князьях и противостоящих им ландмаршалах, магистрах. Время от времени в боевых религиях упоминаются Рига и Кесь¹.

В разных главах и на разном материале утверждается единая мысль: Ливонская война ожесточала людей, пагубно сказывалась на экономическом их положении, нравственном, духовном состоянии.

Карамзин запечатлел образы русских и немецких, литовских, польских и шведских военачальников, которые на протяжении четырех столетий вели сражения на берегах Гауи и Даугавы. Рассказал о храбрости, верности

¹Кесь — Цесис.

долгу, стратегических прозрениях одних, трусости, вероломстве, безжалостности других. Не остаются без внимания и московские стрельцы, и псковская вольница, и ордынские конники, и немецкие ландскнехты. В большей или меньшей мере они были причастны к событиям в балтийских землях.

Все, что являет трагедию войны — разрушение городов и селений, угон в плен, мор, насилие, грабежи, — автор запечатлел в своей "Истории...": "Ливония действительно была в жалостном состоянии. Несчастные земледельцы, избежавшие меча и плена, не могли поместиться в городах, умирали от изнурения и холода среди лесов, на кладбищах". Пером Карамзина водит сама правда. На батальных полях Ливонии храбрыми, благородными бойцами предстают то русские, то немцы.

Любая страница, любой эпизод в труде Карамзина поражают верностью подлинным событиям, документам, фактам. Трудные переходы, длительные осады ливонских крепостей сменяются жаркими схватками русских и немецких арьергардов, нескончаемыми и жестокими битвами. Историк, к примеру, рассказывает о подвиге защитников Дерпта — Ускиля и бургомистра Тилева, о пламенном их слове, обращенном к согражданам: "Настало время жертв или погибели, лишимся всего, да спасем честь и свободу нашу!"

Автор "Истории..." не замалчивает мрачных сторон личности Ивана Грозного. Несправедливый гнев, бессердечие, крутые расправы монарха в равной мере испытывали и те, кто вступал с ним в бой, и мирные горожане, и землепашцы, и собственные его воины. Когда россияне овладели Зесвегеном¹, одних защитников крепости, которые не сдались на милость победителя, "посадили на кол, других продали татарам в неволю". Продавали немцев, латышей... Не было пощады и тем, кто оборонял Венден и другие крепости... Не приемля любые вторжения в иноплеменные земли, осуждая покорение сопредельных народов, Карамзин представляет Грозного в самом неприглядном свете, называет его "свирепым", "неистовым", "кровожадным, подобно азиатским и римским мучителям", "извергом вне законов, правил и вероятностей рассудка".

¹Теперь Цесвайне.

И черная слава о царе-тиране распространилась не только по Москве, но и в Новгороде, и в Казани, и по всей Ливонии. Но Грозный для Карамзина не только деспот, не только лиходей... Во время двухдневного отдыха в Кокенгузене¹ он затеял богословский диспут с "главным лютеранским пастором". Но стоило оппоненту соотнести, сблизить имена Лютера и апостола Павла, как тут же по цареву слову он был примерно наказан...

Со страниц "Истории..." не только встают образы прославленных русичей — Александра Невского, Дмитрия Донского, Ивана III, но и даются психологически тонкие, освещенные и мыслью, и чувством национальные характеры балтийцев — Довмонта Псковского (Даумантаса), Витовта, Гедимины, Ольгерда. "Витовт, — узнаем у Карамзина, — тогда славнейший из государей северной Европы... в теле малом вмещал душу великую; умел пользоваться случаем и временем, повелевать народом и князьями, награждать и наказывать; за столом, в дороге, на охоте занимался делами; обогащая казну войною и торговлею; собирая несметное множество серебра, золота, расточая оные щедро, но всегда с пользою для себя...; в пирах отличался трезвостью и, подобно Ольгерду, не пил ни вина, ни крепкого меда". Отдадим должное Карамзину: даже Витовту — великому князю Литовскому — автор придает удивительно симпатичные свойства. Но ведь он "своими завоеваниями... стеснил пределы России на юге и западе..."

Разгадку двухвековой тайны "Истории государства Российского", немеркнувшей ее духовности надо искать в безупречной гражданской, нравственной, научной позиции автора. Раскроем наугад любую страницу из тех разделов, где находим галерею ни в чем не похожих людей — от воевод и магистров, бискупов (епископов) и бояр до стрельцов, купечества, крестьян. Как объективен, как неподкупно честен автор! Как не склоняет он головы перед "сильными мира сего"! Обратимся еще раз к ливонским эпизодам. Рыцари, — рассказывает Карамзин, — "в великолепных замках своих жили единственно для чувственных наслаждений и низких страстей... А как жили орденские, духовные сановники, так и дворяне светские, и

¹Ныне Кокнесе.

купцы, и мещане в своем избытке; одни земледельцы трудились в поте лица, обремененные налогами алчного корыстолюбия”.

Какую же роль в Ливонской войне отводит автор латышам и эстонцам? В современных учебниках, научно-популярных изданиях встречаем утверждение: безжалостное воинство Грозного вызывало противодействие; вооруженные группы крестьян нападали на малочисленные подразделения русских¹. Но документы, которые Карамзин цитирует в “Примечаниях” к “Истории...”, вовсе не так однозначны. Случалось и по-иному: латыши и русские оказывались в одном стане. В 522-м примечании к V главе восьмого тома приводится свидетельство летописца: “Прибежали к воеводам два латыша, а сказали, что майстер² и бискуп... побежали...”

Свидетельства такого рода, которые автор в целом ряде случаев приводит не в основном тексте, а в разделе “Примечания”, по-новому освещали сложные переплетения российско-ливонских отношений. Подумать только: карамзинский труд сопровождает 6548 ссылок, комментариев, сносок! Немало из них проясняют далекое прошлое Ливонии.

Из самых разных документальных фондов, к которым обращался Карамзин, в перечне источников упоминается только кенигсбергский архив. Чем же объяснить такое предпочтение прусскому собранию древних — с XIII по XVI век — актов? Именно в Кенигсберге хранились бесценные документы о многовековых контактах Руси с Ливонией и Пруссией...

В начале прошлого века для Карамзина — он просил об этом влиятельного лифляндца В. Унгерна-Штернберга — снимались копии жалованных грамот, писем московских князей, адресованных орденом магистратам, военных реляций, уставов и договоров Ганзейского союза. 21 ноября 1811 года Карамзин сообщает о результатах длительных своих переговоров с высшими правительственными чиновниками: “... Наш великий государь согласен содействовать похвальному предприятию лифляндского,

¹*Kēniņš I. Latvijas vēsture.* — Rīga: Zvaigzne, 1991, 67. lpp.

²Майстер — магистр.

эстляндского и курляндского дворянства по копированию документов кенигсбергских архивов. Его Величество уже назначило известную сумму для уплаты почтовых посылок доктора Геннига¹ из Кенигсберга в Ригу. Сообщая Вам доверительно, что министр² отдает справедливость Вашим заслугам, как и Вашему усердию в этом интересном деле, я уверен, что Вы получите лестный знак благосклонности императора³. Карамзин дает совет своему корреспонденту, как снизить затраты на копирование остзейских материалов: "... Я допускаю, что сумма, требуемая дворянством для окончания этого предприятия, очень большая... Может быть, следовало бы отказаться от всякой роскоши и придерживаться одного лишь существенного, просто копировать документы на обыкновенной бумаге, без зарисовки букв и печатей? В качестве историографа, я говорил и буду говорить нашему уважаемому министру о большой важности этого дела, и я желаю достичь того, чтобы Его Величество представило то, о чем его просят"⁴.

22 апреля 1812 года Карамзин снова обращается к В. Унгерну-Штернбергу: "Большое спасибо... за хронику Лукаса Давида, которую я просмотрел с чрезвычайным интересом... я Вас прошу дать скопировать для меня самые важные документы (письма, сообщения) о последней войне⁵ царя Ивана Васильевича, когда Вы получите от господина Геннига из Кенигсберга. Скопировать все это слишком большая работа. И я Вас прошу сделать выбор (лишь главное, характерные черты, выдающиеся детали)"⁶.

Полученные из Риги копии Карамзин в примечаниях к "Истории..." называет "моими кенигсбергскими бумагами".

Любое событие времен Ливонской войны, о котором повествует автор, сопровождается нравственно-философскими размышлениями — незаемными, выстраданными, почти всегда обращенными к современнику.

¹Генниг Э. — кенигсбергский архивариус и сотрудник прусской королевской библиотеки.

²Речь идет о министре О. П. Козодавлеве.

³Цит. по статье Г. А. Енша "Н. М. Карамзин и М. П. Румянцев и археология Прибалтики начала XIX века"/Исторический архив, 1960. №6. С. 177—182.

⁴Там же.

⁵Имеются в виду события Ливонской войны.

⁶Названная статья Г. Енша.

Главы о Ливонии дают возможность судить о научных и художественных принципах Карамзина-историка. Это — бескомпромиссность в отборе и толковании источников, искусство восстанавливать и уплотнять материал, до сих пор поражающая объективность (в аракеевскую эпоху давалась она совсем не легко) в оценке явлений, фактов, событий. И как верен был Карамзин излюбленному, им же самым открытому лексико-стилистическому строю! Как доверял природной силе языка! Как свободно владел логикой строгого и ясного изложения! Многое в "Истории..." напоминает о приверженности Карамзина сентиментализму. Отсюда повышенная эмоциональность, искусная стилизация не только речи персонажей, но и самого повествования. Этому служат и карамзинские неологизмы, и разысканные в древних актах архаизмы.

Вслушаемся в слова Ивана Грозного, обращенные к "ливонскому королю" Магнусу¹, в их суть, патетику, гнев: "Глупец! Ты дерзнул мечтать о королевстве Ливонском? Ты, бродяга, нищий, принятый в мое семейство, женатый на моей возлюбленной племяннице, одетый, обутый мною, наделенный казною и городами — ты изменил мне, своему государю, отцу, благодетелю!.."

Всмотримся в скупые, но на редкость выразительные, созвучные разворачиваемой событийной канве пейзажи. Ну, хотя бы в этот остзейский ландшафт: "Сей городок (Алуksне. — Авт.) был тогда одним из прекраснейших в Ливонии; стоял на острове среди большого озера и казался недоступным в летнее время..."

"Светские люди, — говаривал Пушкин, — бросились читать историю своего Отечества", и знакомство это "стало для них откровением". В Латвии карамзинский труд — как на языке оригинала, так и в немецком переводе² — "бросились читать" не только "светские люди", но и учителя из латышских, русских, немецких школ, интеллигенты из разночинной среды, православное духовенство,

¹Магнус (1540—1581) — датский принц, участник Ливонской войны на стороне Ивана IV; впоследствии перешел на службу к Стефану Ваторию.

²*Karamsin N. Geschichte des Russischen Reiches. Nach der 2. orig. Ausgabe übersetzt.* — Riga, Hartmann, 1820—1829; *Karamsin N. Geschichte Russlands. Nach Karamsin, nebst vielen Erläut und Zusätzen von Dr. A. W. Tappe.* — Dresden — Leipzig, 1823—1831.

купцы-старобрядцы. Однако признание "История государства Российского" получила далеко не сразу и не вдруг. В чем только не обвиняли автора! Каких ярлыков не навешивали! И "монархист"-то он, и "реакционер", и "защитник самодержавия", и "охранитель"... И совсем Карамзину не везло в не очень далекие 30—60-е годы. Сошлемся хотя бы на оценку академических кругов: "История освещалась Карамзиным с реакционных позиций. Его труд — это прежде всего история русского самодержавия"¹. Латышские писатели и литературоведы в разные времена по-разному высказывались о труде Карамзина. Р. Эгле и А. Упит, похвально отзываясь о литературных достоинствах "Истории...", решительно отрицали ее научное значение: "Передача отдельных исторических эпизодов и характеристики известных личностей сильно беллетризованы все в том же сентиментальном ключе..."² А. Григулис, вслед за Р. Эгле и А. Упитом, относит "Историю..." к разряду изящной словесности. Однако ее автора без всяких на то оснований объявляет приверженцем крепостнических отношений, антагонистом свободолюбивой России³.

Сейчас на волне нарастающего интереса к личности и наследию Карамзина издаются его литературные, исторические, публицистические произведения и незамедлительно входят в круг избранного нашего чтения. И продолжают многотрудную свою работу по воспитанию гражданина.

ПИСЬМА РУССКОГО ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Рига, 31 мая 1789

Вчера, любезнейшие друзья мои, приехал я в Ригу и остановился в "Hôtel de Pétersbourg". Дорога меня измучила. Не довольно было сердечной грусти, которой причина вам известна: надлежало еще идти сильным дождем; надлежало, чтобы я вздумал, к несчастью, ехать из Петербурга на перекладных и нигде не находил хороших кибиток. Все меня сердило. Везде, казалось, брали с меня

¹История русской литературы в 3-х томах. Т. 2-й. Изд. АН СССР. — М., 1963. С. 123.

²Egle R., Upits A. Pasaules rakstniecibas vēsture, IV. — Rīga, 204. lpp.

³Grigulis A. Nikolajs Karamzins. 1766.—1826.//Literatūra un Māksla, 1946, 25. nr., 2. lpp.

лишнее; на каждой перемене держали слишком долго. Но нигде не было мне так горько, как в Нарве. Я приехал туда весь мокрый, весь в грязи; насилу мог найти купить две рогожи, чтобы сколько-нибудь закрыться от дождя, и заплатил за них по крайней мере как за две кожи. Кибитку дали мне негодную, лошадей скверных. Лишь только отъехали с полверсты, переломилась ось: кибитка упала в грязь, и я с нею. Илья мой поехал с ямщиком назад за осью, а бедный ваш друг остался на сильном дожде. Этого еще мало: пришел какой-то полицейский и начал шуметь, что кибитка моя стояла среди дороги. "Спрячь ее в карман!" — сказал я с притворным равнодушием и завернулся в плащ. Бог знает, каково мне было в эту минуту! Все приятные мысли о путешествии затмились в душе моей. О, если бы мне можно было тогда перенестись к вам, друзья мои! Внутренно проклинал я то беспокойство сердца человеческого, которое влечет нас от предмета к предмету, от верных удовольствий к неверным, как скоро первые уже не новы, — которое настроивает к мечтам наше воображение и заставляет нас искать радостей в неизвестности будущего!

Есть всему предел; волна, ударившись о берег, назад возвращается или, поднявшись высоко, опять вниз упадает — и в самый тот миг, как сердце мое стало полно, явился хорошо одетый мальчик, лет тринадцати, и с милою, сердечною улыбкою сказал мне по-немецки: "У вас изломалась кибитка? Жаль, очень жаль! Пожалуйте к нам — вот наш дом — батюшка и матушка приказали вас просить к себе". — "Благодарю вас, государь мой! Только мне нельзя отойти от своей кибитки; к тому же я одет слишком по-дорожному и весь мокр". — "К кибитке приставим мы человека; а на платье дорожных кто смотрит? Пожалуйте, сударь, пожалуйста!" Тут улыбнулся он так убедительно, что я должен был стряхнуть воду с шляпы своей — разумеется, для того, чтобы с ним идти. Мы взялись за руки и побежали бегом в большой каменный дом, где в зале первого этажа нашел я многочисленную семью, сидящую вокруг стола; хозяйка разливала чай и кофе. Меня приняли так ласково, потчевали так сердечно, что я забыл все свое горе. Хозяин, пожилой человек, у которого добродушие на лице написано, с видом искреннего участия расспрашивал меня о моем путешествии. Молодой

человек, племянник его, недавно возвратившийся из Германии, сказывал мне, как удобнее ехать из Риги в Кенигсберг. Я пробыл у них около часа. Между тем привезли ось, и все было готово. "Нет, еще постойте!" — сказали мне, и хозяйка принесла на блюде три хлеба. "Наш хлеб, говорят, хорош: возьмите его". — "Бог с вами!" — примолвил хозяин, пожав мою руку, — "Бог с вами!" Я сквозь слезы благодарил его и желал, чтобы он и впредь своим гостеприимством утешал печальных странников, расставшихся с милыми друзьями. — Гостеприимство, священная добродетель, обыкновенная во дни юности рода человеческого и столь редкая во дни наши! Если я когда-нибудь тебя забуду, то пусть забудут меня друзья мои! Пусть вечно буду на земле странником и нигде не найду второго Крамера¹! Простился со всею любезною семьей, сел в кибитку и поскакал, обрадованный находкой добрых людей! —

Почта от Нарвы до Риги называется немецкою, для того что комиссары на станциях немцы. Почтовые дома везде одинакие — низенькие, деревянные, разделенные на две половины: одна для проезжих, а в другой живет сам комиссар, у которого можно найти все нужное для утоления голода и жажды. Станции маленькие; есть по двенадцати и десяти верст. Вместо ямщиков ездят отставные солдаты, из которых иные помнят Миниха; рассказывая сказки, забывают они погонять лошадей, и для того приехал я сюда из Петербурга не прежде, как в пятый день. На одной станции за Дерптом надлежало мне ночевать: г. З., едущий из Италии, забрал всех лошадей. Я с полчаса говорил с ним и нашел в нем любезного человека. Он настрашал меня песчаными прусскими дорогами и советовал лучше ехать через Польшу и Вену; однако ж мне не хочется переменить своего плана. Пожелав ему счастливого пути, бросился я на постелю; но не мог заснуть до самого того времени, как чухонец пришел мне сказать, что кибитка для меня впряжена.

Я не приметил никакой розницы между эстляндцами и лифляндцами, кроме языка и кафтанов: одни носят черные, а другие серые. Языки их сходны; имеют в себе мало собственного, много немецких и даже несколько

¹Один из моих приятелей, будучи в Нарве, читал Крамеру мое письмо — он был доволен — я еще больше! (Прим. Н. Карамзина.)

славянских слов. Я заметил, что они все немецкие слова смягчают в произношении: из чего можно заключить, что слух их нежен; но видя их непроворство, неловкость и недогадливость, всякий должен думать, что они, просто сказать, глуповаты. Господа, с которыми удалось мне говорить, жалуются на их леность и называют их сонливыми людьми, которые по воле ничего не сделают: и так надобно, чтобы их очень неволили, потому что они очень много работают, и мужик в Лифляндии или в Эстляндии приносит господину вчетверо более нашего казанского или симбирского.

Сии бедные люди, работающие Господеви со страхом и трепетом во все будничные дни, зато уже без памяти веселятся в праздники, которых, правда, весьма немного по их календарю. Дорога усеяна корчмами, и все они в проезд мой были наполнены гуляющим народом — праздновали Троицу.

Мужики и господа лютеранского исповедания. Церкви их подобны нашим, кроме того, что наверху стоит не крест, а петух, который должен напоминать о падении апостола Петра. Проповеди говорятся на их языке; однако ж пасторы все знают по-немецки.

Что принадлежит до местоположений, то в этой стороне смотреть не на что. Леса, песок, болота; нет ни больших гор, ни пространных долин. — Напрасно будешь искать и таких деревень, как у нас. В одном месте видишь два двора, в другом три, четыре и церковь. Избы больше наших и разделены обыкновенно на две половины: в одной живут люди, а другая служит хлевом. — Те, которые едут не на почтовых, должны останавливаться в корчмах. Впрочем, я почти совсем не видал проезжих: так пуста эта дорога в нынешнее время.

О городах говорить нечего, потому что я в них не останавливался. В Ямбурге, маленьком городке, известном по своим суконным фабрикам, есть изрядное каменное строение. Немецкая часть Нарвы, или, собственно так называемая Нарва, состоит по большей части из каменных домов; другая, отделяемая рекою, называется Иван-город. В первой всё на немецкую статью, а в другой всё на русскую. Тут была прежде наша граница — о, Петр, Петр!

Когда открылся мне Дерпт, я сказал: прекрасный городок! Там все праздновало и веселилось. Мужчины и

женщины ходили по городу обнявшись, и в окрестных рощах мелькали гуляющие четы. Что город, то норы; что деревня, то обычай. — Здесь-то живет брат несчастного Л.¹ Он главный пастор, всеми любим и доход имеет очень хороший. Помнит ли он брата? Я говорил об нем с одним лифляндским дворянином, любезным, пылким человеком. "Ах, государь мой! — сказал он мне, — самое то, что одного прославляет и счастливит, делает другого злополучным. Кто, читая поэму шестнадцатилетнего Л. и все то, что он писал до двадцати пяти лет, не увидит утренней зари великого духа? Кто не подумает: вот юный Клопшток, юный Шекспир? Но тучи помрачили эту прекрасную зарю, и солнце никогда не воссияло. Глубокая чувствительность, без которой Клопшток не был бы Клопштоком и Шекспир Шекспиром, погубила его. Другие обстоятельства, и Л. бессмертен!" —

Лишь только въедешь в Ригу, увидишь, что это торговый город, — много лавок, много народа — река покрыта кораблями и судами разных наций — биржа полна. Везде слышишь немецкий язык — где-где русский, — и везде требуют не рублей, а талеров. Город не очень красив; улицы узки — но много каменного строения, и есть хорошие дома.

В трактире, где я остановился, хозяин очень услужлив: сам носил паспорт мой в правление и в благочиние и сыскал мне извозчика, который за тринадцать червонцев нанялся довести меня до Кенигсберга, вместе с одним французским купцом, который нанял у него в свою коляску четырех лошадей; а я поеду в кибитке. — Илью отправлю отсюда прямо в Москву.

Милые друзья! Всегда, всегда о вас думаю, когда могу думать. Я еще не выехал из России, но давно уже в чужих краях, потому что давно с вами расстался.

Курляндская корчма, 1 июня 1789

Еще не успел я окончить письма к вам, любезнейшие друзья, как лошади были впряжены и трактирщик пришел

¹Ленца, немецкого автора, который несколько времени жил со мною в одном доме. Глубокая меланхолия, следствие многих несчастий, свела его с ума; но в самом сумасшествии он удивлял нас иногда своими пиитическими идеями, а всего чаще трогал добродушием и терпением. (Прим. Н. Карамзина.)

сказать мне, что через полчаса запрут городские ворота. Надобно было дописать письмо, расплатиться, укласть чемодан и приказать кое-что Илье. Хозяин воспользовался моим недосугом и подал мне самый аптекарский счет; то есть за одне сутки он взял с меня около девяти рублей!

Удивляюсь еще, как я в таких торопях ничего не забыл в трактире. Наконец все было готово, и мы выехали из ворот. Тут простился я с добродушным Ильею — он к вам поехал, милые! — Начало смеркаться. Вечер был тих и прохладен. Я заснул крепким сном молодого путешественника и не чувствовал, как прошла ночь. Восходящее солнце разбудило меня лучами своими; мы приближались к заставе, маленькому домику с рогаткою. Парижский купец пошел со мною к майору, который принял меня учтиво и после осмотра велел нас пропустить. Мы въехали в Курляндию — и мысль, что я уже вне отечества, производила в душе моей удивительное действие. На все, что попадалось мне в глаза, смотрел я с отменным вниманием, хотя предметы сами по себе были весьма обыкновенны. Я чувствовал такую радость, какой со времени нашей разлуки, милые! еще не чувствовал. Скоро открылась Митава. Вид сего города некрасив, но для меня был привлекателен! "Вот первый иностранный город", — думал я, и глаза мои искали чего-нибудь отменного, нового. На берегу реки Аа, через которую мы переехали на плоту, стоит дворец герцога курляндского, не малый дом, впрочем, по своей наружности весьма не великолепный. Стекла почти везде выбиты или вынуты; и видно, что внутри комнат переделывают. Герцог живет в летнем замке, недалеко от Митавы. Берег реки покрыт лесом, которым сам герцог исключительно торгует и который составляет для него немалый доход. Стоявшие на карауле солдаты казались инвалидами. Что принадлежит до города, то он велик, но нехорош. Дома почти все маленькие и довольно неопрятны; улицы узки и худо вымощены; садов и пустырей много.

Мы остановились в трактире, который считается лучшим в городе. (...) Французенка, едущая с парижским купцом, женщина лет в сорок пять, стала оправлять свои седые волосы перед зеркалом, а мы с купцом, заказав обед, пошли ходить по городу — видели, как молодой офицер учил старых солдат, и слышали, как пожилая курносыя

немка в чепчике бранилась с пьяным мужем своим, сапожником!

Возвратясь, обедали мы с добрым аппетитом и после обеда имели время выпить кофе, чаю и поговорить довольно. Я узнал от спутника своего, что он родом итальянец, но в самых молодых годах оставил свое отечество и торгует в Париже; много путешествовал и в Россию приезжал отчасти по своим делам, а отчасти для того, чтобы узнать всю жестокость зимы; и теперь возвращается опять в Париж, где намерен навсегда остаться. — За все вместе заплатили мы в трактире по рублю с человека.

Выехав из Митавы, увидел я приятнейшие места. Сия земля гораздо лучше Лифляндии, которую не жаль проехать зажмурясь. Нам попались немецкие извозчики из Либавы и Пруссии. Странные экипажи! Длинные фуры цугом; лошади пребольшие, и висающие на них погремушки производят несносный для ушей шум.

Отъехав пять миль, остановились мы ночевать в корчме. Двор хорошо покрыт; комнаты довольно чисты, и в каждой готова постель для путешественников.

Вечер приятен. В нескольких шагах от корчмы течет чистая река. Берег покрыт мягкой зеленою травой и осенен в иных местах густыми деревьями. Я отказался от ужина, вышел на берег и вспомнил один московский вечер, в который, гуляя с Пт. под Андроньевым монастырем, с отменным удовольствием смотрели мы на заходящее солнце. Думал ли я тогда, что ровно через год буду наслаждаться приятностями вечера в курляндской корчме? Еще другая мысль пришла мне в голову. Некогда начал было я писать роман и хотел в воображении объездить точно те земли, в которые теперь еду. В мысленном путешествии, выехав из России, остановился я ночевать в корчме: и в действительном то же случилось. Но в романе писал я, что вечер был самый ненастный, что дождь не оставил на мне сухой нитки и что в корчме надлежало мне сушиться перед камином; а на деле вечер выдался самый тихий и ясный. Сей первый ночлег был несчастлив для романа; боясь, чтобы ненастное время не продолжилось и не обеспокоило меня в моем путешествии, сжег я его в печи, в благословенном своем жилище на Чистых Прудах. — Я лег на траве под деревом, вынул из кармана записную книжку, чернильницу и перо и написал то, что вы теперь читали.

Между тем вышли на берег два немца, которые в особой кибитке едут с нами до Кенигсберга; легли подле меня на траве, закурили трубки и от скуки начали бранить русский народ. Я, перестав писать, хладнокровно спросил у них, были ли они в России далее Риги? "Нет", — отвечали они. "А когда так, государи мои, — сказал я, — то вы не можете судить о русских, побывав только в пограничном городе". Они не рассудили за благо спорить, но долго не хотели признать меня русским, воображая, что мы не умеем говорить иностранными языками. Разговор продолжался. Один из них сказал мне, что он имел счастье быть в Голландии и скопил там много полезных знаний. "Кто хочет узнать свет, — говорил он, — тому надобно ехать в Роттердам. Там-то живут славно, и все гуляют на шлюпках! Нигде не увидишь того, что там увидишь. Поверьте мне, государь мой, в Роттердаме я сделался человеком!" — "Хорош гусь!" — думал я — и пожелал им доброго вечера.

Поланга, 3/14 июня 1789

Наконец, проехав Курляндию более двухсот верст, въехали мы в польские границы и остановились ночевать в богатой корчме. В день переезжаем обыкновенно десять миль, или верст семьдесят. В корчмах находили мы по сие время что пить и есть: суп, жареное с салатом, яйца; и за это платили не более как копеек по двадцати с человека. Есть везде кофе и чай; правда, что все не очень хорошо. — Дорога довольно пуста. Кроме извозчиков, которые нам раза три попадались, и старомодных берлинов¹, в которых дворяне курляндские ездят друг к другу в гости, не встречались никакие проезжие. Впрочем, дорога не скучна: везде видишь плодоносную землю, луга, рощи; там и сям маленькие деревеньки или врозь рассеянные крестьянские домики...

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОССИЙСКОГО

(Обращаясь к латвийским страницам...)

<Латышские народы> Между сими иноплеменными народами, жителями или соседями древней России, Нестор

¹Берлин — карета, колымага.

именует еще Летголу (Ливонских Латышей), Зимголу (в Семигалии)¹, Корсь (в Курляндии) и Литву, которые не принадлежат к Финнам, но вместе с древними Пруссами составляют народ Латышский. В языке его находится множество Славянских, довольно Готфских и Финских слов: из чего основательно заключают Историки, что Латыши происходят от сих народов. С великою вероятностью можно определить даже и начало бытия их. Когда Готфы удалились к пределам Империи, тогда Венеды и Финны заняли юго-восточные берега моря Балтийского; смешались там с остатками первобытных жителей, т.е. с Готфами; начали истреблять леса для хлебопашества и прозвались Латышами или обитателями земель расширенных: ибо лата знаменует на языке Литовском расширение. Их, кажется, называет Иорнанд² Видвариями, которые в половине шестого века жили около Данцига и состояли из разных народов³: с чем согласно и древнее предание Латышей, уверяющих, что их первый Государь, именем Видвут, царствовал на берегах Вислы и там образовал народ свой, который населил Литву, Пруссию, Курляндию и Летландию, где он и доныне находится и где, до самого введения Христианской Веры, управлял им северный Далай-Лама, главный судия и Священник Криве, живший в Прусском местечке Ромове.

<Междоусобия Славян Российских> Многие из сих Финских и Латышских народов, по словам Нестора, были

¹Зимгола (Семигалия) — Земгале.

²Иорнанд — автор древнегерманских хроник (X век).

³Стриковский и Преторий рассказывают, что Видвут (в разных главах "Истории..." имя героя латышских легенд дается по-разному — Видвут и Видевут. — Авторы.), оскорбленный междоусобием народным, говорил так своим единосемцам: "Если бы вы имели хотя разум пчел, то ссоры ваши давно бы прекратились. Знаете, что рой повинуется одной матке и что она для каждой пчелы определяет особенную работу, выгоняя ленивых из улья. Воспользуйтесь сим примером; изберите Государя и вручите ему судьбу вашу, да судит распри граждан, отвращает убийства, злоупотребление силы и печется о всеобщей безопасности!" Народ единодушно избрал его в Цари: ибо Видвут был знаменит как в своем отечестве, так и в чужих землях, умом и богатством. Более кроткими наставлениями, нежели строгостию, он приучил своих подданных к трудолюбию, земледелию, скотоводству. — Вот народная сказка, которая может иметь некоторое историческое основание. (Прим. Н. Карамзина.)

данниками Россиян: должно разуметь, что Летописец говорит о своем времени, то есть о XI веке, когда предки наши овладели почти всею нынешнею Россиею Европейскою.

(Том I, глава I)

Бог веселия, любви, согласия и всякого благополучия именовался в России Ладо; ему жертвовали вступающие в союз брачный, с усердием воспевая имя его, которое слышим и ныне в старинных припевах. Стриковский называет сего бога Латышским: в Литве и Самогитии¹ народ праздновал ему от 25 Маия до 25 Июня, отцы и мужья в гостиницах, а жены и дочери на улицах и на лугах; взявшись за руки, они плясали и пели: Ладо, Ладо, дидис Ладо, то есть великий Ладо². Такое же обыкновение донныне существует в деревнях наших: молодые женщины весною собираются играть и петь в хороводах Лада, ди-ди-Лада. Мы уже заметили, что Славяне охотно умножали число идолов своих и принимали чужеземных. Русские язычники, как пишет Адам Бременский³, ездили в Курляндию и Самогитию для поклонения кумирам: следственно имели одних богов с Латышами, ежели не все, то хотя некоторые Славянские племена в России — вероятно, Кривичи: ибо название их свидетельствует, кажется, что они признавали Латышского Первосвященника Криве Главою Веры своей. Впрочем Ладо мог быть и древним Славянским божеством: жители Молдавии и Валахии в некоторых северных обрядах донныне твердят имя Лада.

(Том I, глава III)

(...) Вся Ливония платила дань Владимиру: междоусобие детей его возвратило ей независимость. Ярослав в 1030 году снова покорил чудь, основал город Юрьев, или нынешний Дерпт, и, собирая дань с жителей, не хотел насильно обращать их в христианство: благоразумие

¹Самогития (Жемайтя) — этническая область Литвы.

²В "Слове о полку Игореве" Ярослава называет супруга ладою. (Прим. Н. Карамзина.)

³Адам Бременский — священник, автор древнегерманских хроник (ум. около 1081 года).

достохвальное, служившее примером для всех князей российских! Пользуясь свободой веры, древняя Ливония имела и собственных гражданских начальников. (...) Однако ж, несмотря на умеренность россиян и на легкость ига, возлагаемого ими на данников, чужд и латыши, как увидим, нередко старались свергнуть оное и не щадили крови своей для приобретения вольности совершенной. [1031—1036 гг.]

(Том II, глава II)

(...) В сие время, по сказанию древнейшего летописца ливонского, славился могуществом князь полоцкий Владимир: он господствовал до самого устья Двины, и власть его над южною чудскою землею была вообще столь известна, что благочестивый старец Мейнгард, усердный немецкий католик, приехав около 1186 года с купцами немецкими в Ливонию, просил у него дозволения мирно обращать тамошних язычников в христианство: на что Владимир охотно согласился и даже отпустил Мейнгарда с дарами из Полоцка, не предвидя вредных следствий, которым скоро надлежало открыться для россиян от властолюбия пап и духовенства римского. Мейнгард имел успех в важном деле своем: основал первую христианскую церковь в Иксуле вместе с маленькою крепостию (недалеко от нынешней Риги); учил язычников Закону и военному искусству для их безопасности; крестил волею и неволею; одним словом, утвердил там веру латинскую.

(...) Тогда же другие крестоносцы сделались опасны для северо-западной России. Мы упоминали о Мейнгарде, проповеднике латинской веры в Ливонии: преемники его, утверждаемые главою бременской церкви в сане епископов, для вернейшего успеха в деле своем прибегнули к оружию, и папа отпускал грехи всякому, кто под знаменем креста лил кровь упрямых язычников на берегах Двины. Ежегодно из немецкой земли толпами отправлялись туда странствующие богомольцы, но не с посохом, а с мечом, искать спасения души в убийстве людей. Третий епископ ливонский, Альберт, избрав место, удобное для пристани, в 1200 году основал город Ригу, а в 1201 орден Христовых воинов, или меченосцев, которым папа Иннокентий III дал устав славных рыцарей Храма, подчинив их епископу

рижскому: крест и меч были символом сего нового братства. Россияне назывались господами Ливонии, имели даже крепость на Двине, Кокенойс (ныне Кокенхузен)¹; однако ж, собирая дань с жителей, не препятствовали Альберту волею и неволею крестить идолопоклонников. Сей хитрый епископ от времени до времени дарил князя полоцкого, Владимира, уверяя его, что немцы думают единственно о распространении истинной веры. Но Альберт говорил как христианин, а действовал как политик: умножал число воинов, строил крепости, хотел и духовного и мирского господства. Бедные жители не знали, кому повиноваться, россиянам или немцам: единоплеменники финнов, ливь, желали, чтобы первые освободили их от тиранства рыцарей, а латыши изъявляли усердие к последним. Наконец князь Владимир объявил войну пришельцам: осаждал Иксуль и не мог в 1200 году взять Киргольма, ибо россияне, искусные стрелки, по сказанию ливонского древнего летописца, не умели действовать пращою; хотя и переняли сие орудие у немцев, но, худо бросая камни, били ими своих. Владимир снял осаду — услышав, что многие чужеземные корабли приближаются к берегам Ливонии — и Двиною возвратился в Полоцк. Флот, испугавший россиян, был датский: король Вольдемар в угодность папе шел оборонить новую церковь ливонскую; пристал к Эзелю, хотел основать там крепость, но вдруг, переменяв мысли, удалился, отправив в Ригу лунденского архиепископа, знаменитого ученостию Андрея, который в сане римского посла должен был способствовать успехам католической веры в сих пределах. Скоро большая часть жителей крестилась: ибо они видели, что их ничтожные идолы, разрушаемые секирами христиан, не могли защитить себя. Современный летописец рассказывает случай любопытный: латыши бросили жребий, какую веру принять им, немецкую или русскую, и согласно с волею судьбы избрали первую. Впрочем, они долго еще с некоторою благодарностию хранили в памяти имена ложных богов: Перкуна, или громовержца, Земинника, или дарователя земных плодов, Тора, или северного Марса, и проч. Ливь и чудь назвали самого творца вселенной

¹Кокнесе. В "Истории..." встречаем двойное написание этого топонима: Кокенхузен и Кокенгузен.

именем главного их идола, Юммала: были уже христианами, но ходили еще молиться в леса священные, приносили жертвы древам, ежегодно торжествовали праздник усопших с обрядами язычества и клали в могилу оружие, пищу, деньги, говоря мертвому: "Иди, несчастный, в мир лучший, где немцы уже не могут господствовать над тобою, а будут твоими рабами!" Сей бедный народ в течение веков не забывал насилия своих жестоких просветителей! — Довольный услугами рыцарей, епископ Альберт уступил им третью часть покоренной Ливонии; старался более и более утверждать там свое владычество; выгнал россиян из укрепленного замка Куkenойса, принудив удельного князя двинского, именем Всеволода, быть данником рижской церкви. Сей князь, женатый на дочери одного знатного литовца, господствовал в Герсике (нынешнем Крейцбурге): он делал много зла не только немцам, но и россиянам, свободно пропуская литовских грабителей чрез Двину и доставляя им съестные припасы. Епископ Альберт сжег столицу Всеволода, пленил его княгиню, многих жителей и с тем условием возвратил им свободу, чтобы сей князь отказался от союза с литовцами и навсегда подарил свою область Богородице, то есть епископу. Всеволод под тремя знаменами клялся верно служить Матери Божией; торжественно назвал Альберта отцом; признал себя его наместником в Герсике! Но северная часть Ливонии оставалась еще независимою от немцев: там хотел господствовать храбрый Мстислав Новгородский.

(Том III, глава III)

(...) Опаснейшими их врагами были тогда Альбертовы рыцари: новгородцы требовали сильной помощи от Георгия и, с братом его, Святославом, вступив в Ливонию, опустошили берега реки Аа. Летописец немецкий говорит, что россияне своими жестокостями возбудили тогда гнев рижской Богоматери: изъявляя ненависть к Ее новым храмам, разрушали латинские церкви, монастыри, пленяли жен, детей и жгли хлеб на полях. Сын Владимира Псковского, Ярослав, с войском литовских союзников встретил Святослава близ Кеси, или нынешнего Вендена. Россияне осадили сей город. С утра до вечера продолжалась

кровавопролитная битва. Немцы всего удачнее действовали пращами и тяжело ранили многих из наших бояр под стеною. На другой день, узнав, что сам великий магистр ордена, Вольквин, ночью вошел в крепость и что к осажденным скоро прибудет новая помощь, — Святослав отступил. Но военные действия не прекратились.

(...) Довольные сею местию, немцы спешили уйти без сражения и, боясь россиян, старались укрепиться в восточной Ливонии: строили замки, рыли в них колодези на случай осады, запасались хлебом, а всего более оружием и пращами. Возбуждаемые рыцарями, толпы чуди два раза зимою приходили незапно из-за Наровы в Ижорскую землю, издавна область Новгородскую; пленили множество людей и побили весь скот, которого не могли взять с собою.

(...) Надлежало обуздывать Литву, бороться с властолюбивыми немцами в Ливонии, наблюдать датчан: а князь новгородский был десятилетний отрок! Его именем правили чиновники: чтобы удержать за Россию Дерпт, они уступили сей город одному из владетелей кривских, мужественному Вячку, который начальствовал прежде в двинском замке Куkenойсе. Имея у себя не более двух сот воинов, он утвердил свое господство в северной Ливонии: брал дань с жителей, строго наказывал ослушников, беспрестанно тревожил немцев и счастливо отразил приступ их к Юрьеву. Тогда епископ Альберт созвал всех рыцарей, странствующих богомольцев, купцов, латышей и сам выступил из Риги, окруженный монахами, священниками. Сие войско расположилось в шатрах около Юрьева, и Вячко равнодушно смотрел на все приготовления немцев. Они сделали огромную деревянную башню, равную в вышине с городскими стенами, и придвинули оную к самому замку, подкопав часть вала; но князь российский еще не терял бодрости. Напрасно Альберт предлагал ему мир и свободу выйти из крепости со всеми людьми, с их имуществом и с конями: Вячко не хотел о том слышать, надеясь, что новгородцы не оставят его без помощи. Стрелы и камни летали с утра до вечера из города и в город: немцы бросали туда и раскаленное железо, чтобы зажечь деревянные здания. Осажденные не имели покоя ни в самую глубокую ночь, стараясь препятствовать работе

осаждающих, которые, разводя большие огни, копали землю с песнями и музыкою: латыши гремели щитами, немцы били в литавры; а россияне также играли на трубах стоя беспрестанно на стене. Утомленные трудами, ежедневными битвами, немцы собрались на общий совет. "Не будем терять времени (сказал один из них) и возьмем город приступом. Доселе мы излишне щадили врагов своих: ныне да погибнут все без остатка! Кто первый из нас войдет в крепость, тому честь и слава; тому лучший конь и знаменитейший пленник. Но опасный князь российский должен быть повешен на дереве". Одобрив сие предложение, рыцари устремились на приступ. Хотя жители и россияне бились мужественно; хотя пылающими колесами зажгли башню осаждающих и несколько часов отражали немцев; однако ж принуждены были уступить превосходному числу врагов. Вслед за рыцарями ворвались в крепость и латыши, убивая своих единоплеменцев, жен, детей без разбора. Долее всех оборонялись россияне. Никто из них не мог спастись от меча победителей, кроме одного суздальского боярина: пленив его, немцы дали ему коня и велели ехать в Новгород, чтобы объявить там о бедствии россиян. Храбрый Вячко находился в числе убитых.

(Том III, глава VI)

(...) Ливония и в лучшее, славнейшее для ордена время, при самом великом муже Плеттенберге видела невозможность счастливо воевать с Россиею: орден, лишенный опоры немецкого¹, сделался еще слабее, и пятидесятилетний мир, обогатив землю, умножив приятности жизни, роскошь, негу, совершенно отучил рыцарей от суровой воинской деятельности: они в великолепных замках своих жили единственно для чувственных наслаждений и низких страстей (как уверяют современные летописцы): пили, веселились, забыв древнее происхождение их братства, вину и цель оною; гнушались не пороками, а скудостью; бесстыдно нарушая святые уставы нравственности, стыдились только уступать друг другу в пышности, не иметь драгоценных одежд, множества слуг, богато убранных

¹Имеется в виду Немецкий, т.е. Тевтонский орден в Пруссии.

коней и прекрасных любовниц. Тунеядство, пиры, охота были главным делом знатных людей в сем, по выражению историка, земном раю; а как жили орденские, духовные сановники, так и дворяне светские, и купцы, и мещане в своем избытке: одни земледельцы трудились в поте лица, обременяемые налогами алчного корыстолюбия, но отличались не лучшими нравами, а грубейшими пороками в бессмыслии невежества и в губительной заразе пьянства. Многосложное, разделенное правительство было слабо до крайности: пять епископов, магистр¹, орденский маршал, восемь командоров² и восемь фохтов³ владели землею; каждый имел свои города, волости, уставы и права; каждый думал о частных выгодах, мало заботясь о пользе общей. Введение лютеранского исповедания, принятого городами, светским дворянством, даже многими рыцарями, еще более замешало Ливонию: волнуемый усердием к новой вере, народ мятежничал, опустошал латинские церкви, монастыри; властители, отчасти за веру, отчасти за корысть, восставали друг на друга. Так преемник магистра фон-Галена, Фирстенберг, свергнул и заключил архиепископа рижского маркграфа⁴ Вильгельма (после освобожденного угрозами короля Августа). Для хранения самой внутренней тишины нанимая воинов в Германии, миролюбивый орден не думал о способах противиться сильному врагу внешнему; не имея собственной рати, не имел и денег: магистры, сановники богатели, а казна скудела, изводимая для их удовольствий и пышности; они считали достояние орденское своим, а свое не орденским. Одним словом, избыток земли, слабость правления и неграждан манили завоевателя.

(...) Прибавим к сему неутомимость россиян, их физическую укрепленность в трудах, навык сносить недостаток, холод в зимних походах, — вообще опытность ратную; прибавим наконец необъятную нравственную силу государства самодержавного, движимого единою мыслию, единым словом венценосца юного, бодрого, который, по сказанию наших и чужеземных современников, жил только

¹Магистр — глава некоторых светских и духовных учреждений.

²Командор — один из руководителей рыцарского ордена.

³Фохт — орденский судья.

⁴Маркграф — владелец приграничной земли.

для подвигов войны и веры. Чего могли ожидать ливонцы, имея дело с таким неприятелем? погибели.

Всякое борение слабого с сильным, возбуждая в сердцах естественную жалость, склоняет нас искать справедливости на стороне первого: но и российские и ливонские историки винят орден в том, что он своим явным недоброжелательством, коварством, обманами раздражил Иоанна, действуя по извинительному чувству нелюбви к соседу опасному, но действуя неблагоразумно. Истинная политика велит быть другом, ежели нет сил быть врагом; прямодушие может иногда усовестить и властолюбца, отнимая у него предлог законной мести: ибо нелегко наглым образом топтать уставы нравственности, и самая коварная или дерзкая политика должна закрываться ее личиною. Иоанн, начиная войну Ливонскую, мог тайно действовать по властолюбию, рождаемому или питаемому блестящими успехами; однако ж мог искренно уверять себя и других в своей справедливости; обязанный сею выгодой худому расчету ливонских властителей, которые, зная физическую силу россиян, надеялись их проводить хитростию, посольствами, учтивыми словами, льстивыми обещаниями и навлекли на себя ужасное двадцатипятилетнее бедствие, в коем, среди развалин и могил, пал ветхий орден как утлое дерево.

(...) Ливония действительно была в жалостном состоянии: несчастные земледельцы, избежавшие меча и плена, не могли поместиться в городах, умирали от изнурения сил и холода среди лесов, на кладбищах; везде вопль народный требовал защиты или мира от правителей, которые, на сейме в Вендене долго рассуждав о лучших мерах для их спасения, то гордо хваляся славою, мужеством предков, то с ужасом воображая могущество царя, решились вновь отправить посольство в Москву. Шиг-Алей — коего одни из ливонских историков именуют свирепым кровопийцею, а другие весьма умным, скромным человеком, — взялся склонять Иоанна к миру, действуя, конечно, по данному ему от государя наказу. Но судьба хотела, чтобы орден был жертвою неразумия своих чиновников и чтобы сильный Иоанн, терзая слабую Ливонию, казался правым.

(...) <1559 г.> Недовольный Курлятевым и Репниным, государь в декабре <1558 г.> месяце послал в Ливонию

мужественных воевод, князей Симеона Микулинского, Василия и Петра Серебряных, Ивана Шереметева, Михаила Морозова, царевича Тохтамыша, князей черкесских и войско сильное, чтобы идти прямо к Риге, опустошить землю, истреблять неприятеля в поле. Готовые начать кровопролитие, они писали к магистру, что от него зависит война и мир; что Иоанн еще может простить, если немцы изъявят покорность. Ответа не было. 17 января россияне вступили в Ливонию: от городка Красного, захватив пространство ста верст или более, шли на Мариенбург, и близ Тирсина¹ встретили немцев, коими предводительствовал Фелькерзам. Тут был один князь Василий Серебряный с своею дружиною. Неприятель оказал мужество: знатнейшие витязи ордена и чиновники архиепископа рижского стояли в рядах. Храбрый Фелькерзам и четыреста немцев пали в битве. Канцлер архиепископов и тридцать лучших дворян находились в числе пленников; остальные рассеялись, и князь Серебряный открыл безопасный путь войску до самого моря. Зима была жестокая. Не занимаясь осадю больших крепостей, Вендена, Риги, воеводы подступали единственно к маленьким городкам. Немцы уходили из них. Один Шмильтен² не сдавался: казаки³ наши разбили ломами каменную стену его и долго резались в улицах с отчаянным неприятелем.

(Том VIII, глава V)

(...) Давно Россия не видала такого сильного войска. Все думали, что оно устремится на Ревель. "Мужайтесь снова, — писали к его гражданам рижане, отправив к ним суда с хлебом и воинскими снарядами: — готовьтесь к третьей, ужаснейшей буре — и в третий раз да спасет вас Господь от злочестивого тирана!" 15 июня выехав из Новгорода, царь около месяца жил во Пскове, где явился к нему и Магнус, уже с трепетом, уже вероломный, как увидим; но еще царь не знал сего тайного коварства и велел ему с его немецкою дружиною идти к Вендену, а сам, 25 июля, вступил в южную Ливонию, к изумлению поляков, которые там господствовали, считая себя в мире

¹Тирза.

²Смилтене.

³Старое написание слова "казаки".

с Россиею. Таким образом началась война Иоаннова с Баторием, столь важная последствиями! Главный воевода Стефанов, Хоткевич, нимало не готовый к обороне, бежал; за ним и другие. Царь в несколько дней взял Мариенгаузен¹, Луицен², Розиттен³, Дюнебург⁴, Крейцбург, Лаудон⁵; защитники их, поляки и немцы, не обнажили меча, требуя милосердия: которые сдавались без размышления, тех выпускали свободными; которые медлили, тех брали в плен. До основания разорив Лаудон, а все другие крепости заняв московскими дружинами, Иоанн отрядил воеводу Фому Бутурлина к городу Зесвегену⁶, где начальствовал брат изменника Таубе. Россияне овладели посадом; но Бутурлин известил царя, что немцы, отвергнув милость, сели насмерть в крепости. Государь пришел сам и велел стрелять из пушек: стены пали, а с ними и немцы к ногам его. Уже не было милости: знатнейших из них посадили на кол; других продали татарам в неволю. Берсон⁷, Кальценау⁸ покорились без условия: Иоанн отпустил всех тамошних немцев, с женами и детьми, в Курляндию. — С другой стороны Магнус также брал города, не силою, а добровольно. "Хотите ли спасти жизнь, свободу, достояние? — писал он к ливонцам: — покоритесь мне, или увидите над собою меч и оковы в руках москвитян". Все с радостью признавали его королем на условиях, выгодных для их безопасности, и в надежде избавиться тем от грозы Иоанновой. Магнус без ведома государева занял Кокенгузен, Ашерраден⁹, Ленвард¹⁰, Роннебург¹¹ и многие иные крепости; наконец Венден и Вольмар¹², где граждане выдали ему воеводу Стефанова, князя Александра Полубенского. С легкомысленною гордостью известив царя о сих успехах,

¹Виляка.

²Лудза.

³Резекне.

⁴Даугавпилс.

⁵Ляудона.

⁶Цесвайне.

⁷Берзоне.

⁸Калснава.

⁹Айзкраукле.

¹⁰Лиелварде.

¹¹Рауна.

¹²Валмиера.

он требовал, чтобы россияне не беспокоили ливонцев, уже верных законному королю своему, и в числе городов, ему подвластных, называл даже самый Юрьев, или Дерпт. Иоанн изумился!

Мы видели, что царь, избрав Магнуса в орудие нашей политики, не ослеплялся излишнею к нему доверенностию; помнил измену Таубе и Крузе; знал, что союз родственный не есть надежное ручательство в усердии властолюбивого. Он, конечно, не оставил без внимания и не забыл слухов о тайных Магнусовых сношениях с панами; но молчал, скрывал подозрение до сего времени: тут закипел гневом; устремился к Кокенгузену: велел умертвить там 50 немцев Магнусовой дружины и всех жителей продать в неволю; а к зятю написал следующее: "Гольдовнику¹ нашему, Магнусу королю. Я отпустил тебя из Пскова с дозволением занять единственно Венден... а ты, следуя внушениям злых людей или собственной безрассудности, хочешь всего! Знай, что мы недалеко друг от друга. Управа легка: имею воинов и сухари; а более мне ничего не надобно. Или слушайся, или — если ты недоволен городами, мною тебе данными, — иди за море в свою землю. Могу отправить тебя и в Казань; а Ливонию очищу и без твоего содействия". Послав воевод своих в Ашераден, Ленвард, Шваненбург², Тирсен, Пибальге³, царь два дня отдыхал в Кокенгузене, где, любя прения богословские, мирно беседовал с главным пастором о вере евангельской, но едва было не предал его казни за нескромное сравнение Лютера с апостолом Павлом. Узнав, что крепости южной Ливонии не противятся нашему войску, он выступил к Эрле⁴, пленил всех ее жителей за то, что они не вдруг сдались, и спешил к Вендену.

(...) Магнус трепетал; не смел послушаться и с двадцатью пятью чиновниками поехал на страшный суд; увидел Иоанна, сошел с коня, пал к ногам царским. Иоанн поднял его и говорил так, более с презрением, нежели с гневом: "Глупец! ты дерзнул мечтать о королевстве Ливонском? ты, бродяга, нищий, принятый в мое семейство, женатый

¹Гольдовник (от слова "голь") — нищий, бедняк.

²Гулбене.

³Пнебалга.

⁴Эргли.

на моей возлюбленной племяннице, одетый, обутый мною, наделенный казною и городами — ты изменил мне, своему государю, отцу, благодетелю? Дай ответ! Сколько раз слышал я о твоих замыслах гнусных? но не верил, молчал. Ныне все открылось. Ты хотел обманом взять Ливонию и быть слугою польским. Но Господь милосердный сохранил меня и предает тебя в мои руки. И так будь жертвою правосудия: возврати мое и снова пресмыкайся в ничтожестве!”

(Том IX, глава IV)

(...) Жизнь тирана есть бедствие для человечества, но его история всегда полезна, для государей и народов: вселять омерзение ко злу есть вселять любовь к добродетели — и слава времени, когда вооруженный истиною деятель может, в правлении самодержавном, выставить на позор такого властителя, да не будет уже впредь ему подобных! Могилы бесчувственны; но живые страшатся вечного проклятия в истории, которая, не исправляя злодеев, предупреждает иногда злодейства, всегда возможные, ибо страсти дикие свирепствуют и в веки гражданского образования, веля уму безмолвствовать или рабским гласом оправдывать свои исступления.

(Том IX, глава VII)

НЕИЗВЕСТНАЯ ОДИССЕЯ БАСНОПИСЦА

РИЖАН ПРИНИМАЕТ ... КРЫЛОВ

В театре Дайлес давали "Модную лавку". Премьерный спектакль — прошел он 29 июня 1951 года — заметили. Во-первых, в бесспорно лучшей крыловской комедии предстали первоклассные мастера — Вия Артмане, Эвалд Валтерс, Вера Грибача, Эрика Ферда, Аустра Балдоне. Во-вторых, даже на российской сцене "Модную лавку" не видели давным-давно. И вот, как говаривали в старину, успех превзошел все ожидания. И через полтора столетия пьеса — и театр знает не много тому примеров — не утратила ни сатирического своего запала, ни обаяния, ни зрелищной привлекательности.

...Зрителей захватила интрига — прихотливая и забавная одновременно. Чего только не происходит в "Модной лавке"! Петербургские французы — мадам Каре и месье Трише (он же, когда надо, Дюпре) — при любой покупке надувают легковых провинциальных помещиков-толстосумов. Их вздорные жены готовы отдать все на свете, только бы блеснуть в таком же "платье из Парижа", в каком на вчерашнем балу красовалась обворожительная баронесса. Безоглядно влюбленные — "прекрасная, как ангел", Лиза и удалой офицер Лестов — на пути к счастью вынуждены преодолевать то и дело возникающие преграды. Мачеха Лизы — владелица богатого имения, "своей нравная и корыстолюбивая", — из кожи лезет вон, чтобы молодые люди не соединили свои судьбы. И все эти острые конфликты по воле драматурга разрешает бойкая и находчивая простолюдинка Маша. В модную лавку Каре она

отпущена на оброк своей помещицей — сестрой Лестова... И режиссер спектакля Александр Лейманис, и сценограф Оскар Муйжниекс, и актеры стремились высказать свое отношение к стародавней русской глубинке, создать примечательные для провинции нравы, высмеять французманию, слепое подражание всему иностранному. Комедийное дарование Эрики Ферды в роли Маши и подчеркнуто откровенную эксцентриаду Эвалда Валтерса — он играл месье Трише — зрительный зал оценил по достоинству. Тем, кто был занят в "Модной лавке", руководитель постановки Александр Лейманис рассказывал о рижских днях молодого сочинителя, о лифляндском его окружении, о самых разных впечатлениях, которые с годами не забылись, отозвались в крыловских комедиях, баснях.

... Старая Рига. Тесные ее улочки и гулкие площади хранят дух рыцарских и ганзейских времен. Глухие, сложенные на века стены орденского замка. Через узкие ворота — конь в конь — не без труда въезжали в цитадель два рыцаря... Если бы камни говорили, сколько поведали бы они о горьких и суровых временах, о яростных сечах рижского ремесленного и торгового люда с тевтонским воинством. Под сенью замковых башен картинно гарцевали польские конники Стефана Батория, мелькали черные сутаны монахов-иезуитов, гремела трубная медь шведских королевских гвардейцев, реяли победные штандарты петровских полков... Здесь, в замке, в самом начале прошлого столетия находилась резиденция остзейского губернатора, вельможи жестокого и изысканного екатерининского века, князя Сергея Федоровича Голицына. Правителем генерал-губернаторской канцелярии Российский сенат в первые месяцы царствования Александра I утвердил Ивана Андреевича Крылова, домашнего учителя детей С. Ф. Голицына, постоянного его собеседника в часы досуга.

В первой книге журнала "Русская старина" за 1898 год Б. Модзалевский, знаток русских литературных архивов, неустанный добытчик редкостных документов, впервые опубликовал материалы о назначении И. А. Крылова на эту должность. В рапорте "правительствующему Сенату от Октября 2-го дня 1801 года" С. Ф. Голицын сообщает об отстранении находящегося при нем секретаря, коллежского асессора Ивана Нагеля и "избрании... способным и достойным к исправлению сей должности уволенного

кабинета Его Императорского Величества Горной экспедиции провинциального секретаря Ивана Крылова". В этом же донесении — "всепокорнейшая" просьба: "паки принять Крылова в службу, пожаловать его в титулярные советники". Решением от 11 октября 1801 года Сенат удовлетворил это ходатайство, но "в награждении чином Крылова" отказал... Можно думать, в Петербурге не забыли о недавнем прошлом рижского "секретаря", о сатирическом его журнале "Почта духов". В известном всей России ежемесячном издании печатались гневные статьи против крепостной неволи, обличались взяточничество, казнокрадство, другие общественные неурядицы. Выступления журнала отличались такой остротой, такой благородной гражданственностью, что его сотрудников безоговорочно отнесли к лагерю А. Н. Радищева... Редактор же "Почты духов" и еще одного запрещенного журнала "Зритель" — куда более радикального — вынужден был покинуть столицу и начать многолетние скитания по стране...

Как же Крылова, литератора с весьма сомнительной политической репутацией, Сенат утвердил на видную должность, да еще в приграничной Риге? Многое объясняет время. На смену мрачному пятилетию царствования Павла I пришла короткая пора либеральных веяний. Многие государственные и военные деятели, которые в годы павловской тирании оказались отстраненными от дел, при Александре I снова обрели былое влияние. Именным повелением ссыльный князь Сергей Голицын был вызван из глухого украинского села Казацкое и назначен на высокую должность в Остзейском крае. Сановник, которому вновь засветила счастливая звезда, вспомнил о домашнем учителе семерых своих сыновей Иване Крылове и призвал его служить под своим началом.

Сведения о пребывании Крылова в Лифляндии противоречивы, отрывисты, бедны. Даже начало служебной его деятельности под началом Голицына датируется по-разному. 5 октября упоминается чуть ли не во всех источниках, начиная со "Словаря" Д. Бантыш-Каменского и "Аттестата", выданного Крылову в 1810 году, и кончая публикациями современных исследователей. Между тем в обнародованном Б. Л. Модзалевским решении Сената значится иная дата — 11 октября! Где же истина? Обратимся к "Rigasche Zeitung". Эта единственная в начале XIX века

городская газета из номера в номер печатала списки прибывающих в лифляндскую столицу лиц с упоминанием титулов, занятий, чинов, указанием временного местопребывания, поименным перечислением камердинеров, слуг, поваров. В предлинных перечнях имени Крылова отыскать не удалось. Не оказалось материалов о губернаторских чиновниках, в том числе Крылове, в архивном фонде С. Голицына. Не встречается имя баснописца и в старых домовых книгах. Быть может, тех, кто составлял голицынскую администрацию, не полагалось называть в газетных уведомлениях? Нет, подобную версию опровергает принятый в те годы распорядок, церемониал представления чиновников всех должностей и рангов. Из той же "Rigasche Zeitung" за 27 ноября 1801 года, к примеру, горожане узнали об очередном посещении Риги коллежским асессором фон Нагелем — предшественником Крылова на посту правителя канцелярии. Имена же С. Ф. Голицына, его жены, сыновей по самому разному поводу мелькают на газетных страницах и в крыловские дни, и в предшествующее время.

Исследователь русской литературы Н. Степанов полагает: "...лишь в конце 1801 года добрались Голицын и Крылов до Риги"¹. Для автора монографии, надо думать, остались неизвестными некоторые немецко-балтийские источники. 4 сентября 1801 года "Rigasche Zeitung" странно рассказывает о торжественном бале, который 4 августа (до "конца года", как видим, оставалось еще по меньшей мере четыре месяца...) был дан в честь коронации императора Александра I. К многочисленным гостям обратился князь Голицын. Значит, в новую свою резиденцию генерал-губернатор прибыл сразу после назначения... Нельзя ли из этого заключить: узнав о "сенатском определении", так же поступил и Крылов?

Неясности, спорные суждения, не до конца проясненные обстоятельства на этом не кончатся. Как выглядел, каким предстал перед рижанами 32-летний Крылов? Ясное дело, не таким малоподвижным, умудренным годами, в зените мирской любви и славы, каким запечатлел баснописца Карл Брюллов. И не таким погруженным в думы, невозмутимым, с внимательным, не без лукавинки взором,

¹Степанов Н. Крылов. — М., 1963. С. 119.

каким автора "Волка на псарне", "Демьяновой ухи" и "Квартета" всякий знает по клодтовскому памятнику в петербургском Летнем саду. И весьма сомнительно, чтобы облик Крылова рижской поры помог представить портрет, созданный живописцем Эстеррейхом. Его работа помечена 1815 годом. Стало быть, со времен остзейской одиссеи голицынского секретаря минуло тринадцать лет... Куда ближе к началу века малоизвестный карандашный рисунок Крылова из парижского издания его басен. На этот раз, судя по всему, писателю немногим более тридцати...

И еще один крыловский портрет. ... Исполненный достоинства поворот головы. Крупные простонародные черты. Высокий чистый лоб. Неплотно сомкнутая линия губ. В глазах — по-детски прямодушных — прихотливая игра мысли, легкое озорство. Верной натуре, свободной кисти нельзя не поверить. Перед нами сочинитель, провидец, лицедей. Придумщик необыкновенных историй, где истину, земную быль никак невозможно отделить от вымысла, мистификации, игры... За это полотно рижский художник Иоганн Леберехт Эгинк был удостоен звания академика. И красоваться бы великолепной этой живописи в экспозиции старых мастеров, и свидетельствовать, сколь ранним был интерес лифляндцев к русской культуре... Но нет, прижизненное изображение живописца, скрытое от любопытных глаз, обрело вечный покой в запасниках Музея истории Латвии...

Как складывалась общественная и писательская судьба Крылова до Риги?

Безрадостное детство в провинциальной дворянской семье. Незнатное происхождение, стесненные материальные обстоятельства. После недолгого учения — серые чиновничьи будни. И единственная отрада — театр. Дружба с трагиком Иваном Дмитриевским, актером и драматургом Петром Плавильщиковым, знакомство с Денисом Фонвизиным и чуть ли не со всеми литераторами Москвы и Петербурга. Первые драматургические опыты с их явственно выраженной антикрепостнической направленностью. Так обозначалась самая резкая и опасная тема раннего Крылова. Повсеместный отклик получает журнальная его сатира, выступления против сословного неравенства, самодержавной деспотии и губительных ее последствий. Автору "Похвальных речей..." и "Каиба"

угрожала судьба вольнодумца Николая Новикова, заточенного в шлиссельбургский рavelин. Потому — бегство из Петербурга, странствия по Руси, Украине, Остзейскому краю...

Что же входило в круг служебных обязанностей правителя генерал-губернаторской канцелярии Ивана Крылова? С. Ф. Голицын и его окружение делали немало, чтобы смягчить административный произвол, ограничить экономические и сословные притязания немецкого бюргерства. О всех этих голицынских заботах А. Бульмеринг, в прошлом председатель рижского магистрата, пишет с трогательной откровенностью: "Добросердечный генерал Голицын с самого начала своего правления краем явился предубежденным против магистрата... князь сам, а чаще его канцелярия вмешивались в дела магистрата и не скупались на гневные слова"¹.

Хлопотных, запутанных дел, всевозможных разбирательств у людей Голицына доставало. Докучливые курляндские бароны, осмотрительные гамбургские негоцианты, латышские и русские крестьяне, доведенные крепостным произволом до отчаяния, — весь этот пестрый люд, надеясь на участие и помощь, часами толпился в губернаторской приемной.

К правителю канцелярии Ивану Крылову нескончаемой чередой шли просители. Жаловались на мздоимство "браковщиков Иоганна Циммермана, Маттиаса Каупе и Яна Яунзема", на "укрывательство беглых крестьян из Гдовского и Лугского уездов в Лифляндской и Эстляндской губерниях". Просила заступничества купеческая вдова Надежда Павлова. Ее брат Георгий сверх назначенного срока содержался в тюрьме "за снабжение беглых людей паспортами". Рижские "фурманщики" подали челобитную на военных, которые "на своих лошадях перевозили купеческое добро" и тем самым весьма сокращали доходы городских извозчиков. Латышский пастор Христиан Алексисус Фере доказывал необходимость "насаждения ив около морского берега". Либавские купцы Вик и Гук настоятельно требовали "отправления учителей русского языка в городскую школу и училище..." Об этом и многом другом

¹Бульмеринг А. Материалы для хроники Риги//Рижский вестник. 1872. № 159.

рассказывают документы из архивного фонда генерал-губернатора Лифляндии¹.

А стиль ходатайств и рескриптов! Разве сквозь искаженные слова, сквозь громоздкие синтаксические конструкции не пробивается далекое, неведомое время? И мог ли Крылов остаться безучастным к печалям и горестям простолюдинов? Не слышны ли отзвуки страданий народных в разящих строках его басен?

Сколько колоритных подробностей, радостных и печальных происшествий, связанных с пребыванием в Лифляндии Голицына и его окружения, запечатлела газетная хроника самого начала XIX века! 23 августа 1802 года "Rigasche Zeitung" поведала о трехдневном путешествии С. Ф. Голицына в Ревель². За три версты до городских ворот карету с княжескими гербами встречали: магистрат в полном его составе, именитые купцы, цеховые старшины, эскорт гвардии Черноголовых³. Запряженные цугом кони неспешно приближались к Ревельскому замку, и отблески факельных огней играли на лицах людей, на черном лаке экипажа. Не в эти ли дни судьба свела Крылова с "командиром Ревельского порта" Скафариевым? Известно: именно с ним на парусном боте голицынский секретарь ходил к балтийским островам...

Оценки творческой и служебной деятельности Крылова весьма разноречивы. М. Лобанов — старинный знакомый, сослуживец Крылова и первый его биограф — вспоминает: "Сочинитель в Риге наиболее занимался делами вовсе не литературными". Затаенный упрек слышится, когда воспоминатель говорит о времяпрепровождении Крылова. Это и "забавы всякого рода", и желание "сидеть на пирах"⁴. Но мог ли Крылов с его служебным положением избегать официальных и неофициальных приемов, уклоняться от столь привлекательных для Голицына балов и увеселений с маскарадами, потешными огнями, представлениями домашнего театра? И все же М. Лобанов

¹Государственный исторический архив Латвии, фонд № 1, опись № 2, дела № 473 (2876), 650 (3200), 518 (3011), 649 (3199), 475 (2878), 564 (3075).

²Таллинн.

³Здесь имеется в виду религиозно-сословное общество слуг и низших чиновников Ливонского ордена в XIV—XVI веках, впоследствии — объединение именитых холостых негоциантов.

⁴Лобанов М. Жизнь и сочинения И. Крылова. — Спб., 1847. С. 30.

сумел, отбросив все наносное, случайное, разглядеть самое сокровенное в занятиях Крылова этой поры: "Чтение в досужие минуты всегда оставалось любимым его упражнением"¹.

Как полагает Н. Терновский, "к этой должности и вообще к службе Крылов никогда не чувствовал призвания и способности"². Но если биограф писателя прав, как отнестись к аттестации Крылова, скрепленной именем Голицына 26 сентября 1803 года? Вот этот документ, направленный из Риги в Санкт-Петербург: "Отдавая справедливость прилежанию и трудам служившего при мне секретарем... Крылова, сопрягающего с расторопностью, с каковою он выполнял все на него возложенные дела, как хорошее познание должности, так и отличное поведение, долгом почитаю засвидетельствовать сим, что достоинства его заслуживают внимания"³. Насколько эта рекомендация соответствует истине? Не следует забывать, что в свое время Крылов разделил с Голицыным опальную его судьбу. Теперь покровитель, признательный Ивану Андреевичу за верность, мог и несколько преувеличить служебные достоинства своего подчиненного... По воспоминаниям Марии Павловны Сумароковой, дальней родственницы Голицына и ученицы Крылова в украинском селе Казацкое, будущий баснописец не долго занимал должность правителя канцелярии. Вскоре вместо него назначили "бывшего при князе сведущего чиновника, а Крылов еще несколько времени оставался в доме только как собеседник"⁴.

Когда же этот "сведущий чиновник", по фамилии Сергеев, сменил Крылова на посту правителя канцелярии? Случилось это, по всей видимости, никак не позднее середины мая 1802 года. Хорошо осведомленный Бульмеринг свидетельствует: 24—26 мая 1802 года — в эти дни Александр I посетил Ригу — Сергеев ходатайствовал перед царем об освобождении из-под ареста непокорных магистрату граждан. Следовательно, Крылов к этому времени от

¹Лобанов М. Жизнь и сочинения И. Крылова. — Спб., 1847. С. 30.

²Терновский Н. М. Иван Андреевич Крылов. — Воронеж, 1896. С. 47.

³См.: Кеневич В. Ф. Библиографические и исторические примечания к басням Крылова. 2-е издание. — Спб., 1878. С. 299.

⁴Грот Я. К. Дополнительное известие о Крылове. — Спб., 1869. С. 37.

прямых своих обязанностей полностью устранился. Но покинул ли он генерал-губернаторские апартаменты?

Г. Мацков, один из авторов книги "Латышско-русские литературные связи", высказывает предположение: оставив должность, Крылов перебрался на новую квартиру. Известно даже, куда — на улицу Паулуччи¹. Источник этих сведений — статья Р. Медниека в еженедельнике "Literatūra un Māksla". Правда, о местонахождении крыловской квартиры на улице Паулуччи автор говорит только предположительно, ссылаясь на какие-то известные только ему немецкие источники. Покинув голицынскую канцелярию, Крылов избавился от тягостной необходимости повседневно общаться с чиновниками из русской администрации. Для них он оставался всего-навсего "секретарем из штаб-офицерских детей". Наконец-то открылась возможность полностью отдаться чтению, сочинительству, занятиям немецким и французским языками.

Два рижских года, вопреки мнению иных, даже близких писателю людей, не были бесплодными. Пьесы "Подщипа" ("Трумф"), "Пирог", "Лентяй", премьеры которых — одна за другой — состоялись в начале прошлого века, так или иначе связаны с пребыванием их автора в лифляндской столице...

Комедия "Пирог" увидела свет ramпы в 1802 году. Петербургская премьера, пишет В. Каллаш, не обошлась без участия автора. По другим источникам, пьеса предназначалась для голицынского домашнего театра, где и была представлена в том же году. Но вот вопрос: спектакли давались в усадьбе Казацкое или... в Белом зале Рижского замка? Авторы воспоминаний связывают это событие с украинским селом. С другой стороны, доподлинно известно: в замок на берегу Даугавы Голицын перебрался со всеми чадами и домочадцами, многочисленной челядью. Можно ли считать правдоподобным, чтобы князь, его окружение, актеры совершили дальний вояж из Риги на Украину с одной-единственной целью — разыграть крыловскую пьесу?

Но еще труднее, пожалуй, установить время и место создания пьесы "Подщипа" — язвительной сатиры на прусскую и остзейскую знать. Ссылаясь на водяные знаки (они

¹Сейчас улица Меркеля.

явственно просматриваются на всех листах рукописи "Подщипы") и графический анализ почерка Крылова, В. Каллаш относит эту пьесу в 1800—1805 годам. Современники Крылова Д. Бантыш-Каменский и П. Плетнев согласно утверждали (один в "Словаре" 1847 года, другой — в комментариях к собранию сочинений писателя): год создания пьесы — 1802, место — Рига. Но вот в бумагах М. Лобанова отыскан список "Подщипы" с авторской правкой и пометкой, сделанной неизвестной рукой — "1800 год, село Казацкое". С 1871 года, когда о находке поведал журнал "Русская старина", дата "1800 год" стала общепринятой. Между тем за двадцать три года до этой публикации другой журнал, "Северная пчела", выступил с воспоминаниями И. Быстрова — человека, близкого Крылову. Именно И. Быстрову и А. Оленину Иван Андреевич называл и время, и место создания пьесы — Рига, 1802 год...

Сторонники "казацкой" версии полагали: в пьесе высмеиваются отнюдь не остзейские аристократы, а "гатчинские" немцы — прусские генералы из свиты Павла I. К слову сказать, в свое время они причинили немало бед и С. Голицыну. Но эти аргументы не опровергают мнения: в "Подщипе" могли отразиться и рижские впечатления Крылова. В самом деле, разве не мог автор пьесы наблюдать остзейские нравы еще до официального своего назначения в Остзейский край? В книгах, созданных в разное время и разными авторами — Н. Степановым, И. Сергеевым и В. Каллашем, Я. Гротом и Н. Терновским, — на этот счет немало косвенных свидетельств.

Когда издательская и журнальная деятельность И. А. Крылова и А. И. Клушина в 1793 году оказалась под запретом, последний, направляясь за границу, задержался в Ревеле (И. Сергеев¹) или Риге (Н. Степанов²). То ли в одном, то ли в другом городе Клушин женился и провел в новых для него местах несколько лет. Скитаясь по российским городам и весям, быть может, Крылов мог завернуть и к Александру Клушину. Такая догадка подтверждается, в частности, петербургской молвой о поездке Крылова за границу. И второе предположение. В 1796 году Голицына назначили командиром корпуса инфантерии,

¹Сергеев И. Крылов. — М., 1966. С. 149.

²Степанов Н. Крылов. — М., 1963. С. 94.

расквартированного в Литве. "Rigasche Zeitung" от 21 ноября 1796 года уведомляет своих читателей: "20 ноября Ригу проездом из Санкт-Петербурга в Вильну посетил князь Голицын". Что если среди лиц, сопровождавших князя, находился и молодой Крылов? По крайней мере авторы воспоминаний единодушны: Крылов всюду следовал за Голицыным в его поездках 1796 и 1799 годов.

Эти и некоторые другие факты дают основание предположить: впервые Ригу Иван Андреевич посетил не в 1801 году (эта дата указывается чуть ли не во всех исследованиях о баснописце), но по меньшей мере за 5—6 лет до сенатского назначения. Если это в самом деле так, почему же в "Подщипе" не могли отозваться положения и события, которые Крылов наблюдал в дни первого знакомства с Лифляндией? И еще одно соображение в пользу остзейских истоков "Подщипы". Вчитаемся в монологи и реплики Трумфа. Поражает четкая фонетико-морфологическая система в передаче своеобразия русской речи немцев.

Это

— замена женского рода мужским в именах существительных (*прелесна мой княшон, кожда мой пудешь жон, прелесна тфой фикур, красафис мила мой*);

— притяжательные местоимения вместо личных (*мой ноши весь не спит, курит ли трупка мой, из трупка тфой пихтишь, или мой кофе пил, тфой в шашешка сидишь*);

— повелительное наклонение для выражения неопределенной глагольной формы (*на всех стреляй фелит; мой псарь тотшас тафай, он фухтеля на спинка; на кларинет тепе икрай я путит марш, я не шути, кохта пуфай сертит*);

— оглушение звонких согласных (*старофа, княшон, кохта, пудешь*).

Столь точный лингвистический слух, надо думать, мог проявиться только в итоге длительных наблюдений. Но постоянно — изо дня в день — с немцами, которые пытались изъясняться по-русски, Крылов общался только в Лифляндии. Напротив, вопреки мнению иных исследователей, с гатчинскими немцами сколько-нибудь длительные отношения у автора "Подщипы" не складывались. И еще: один из персонажей "Подщипы", царь Вакула, нарекает Трумфа "чухонским старым грибом". Гатчинских немцев, как нам известно, так не называли. С остзейскими

немцами Трумфа сближают и склонности его, и привычки, и весь рисунок поведения.

Та же "Подщипа" напоминает еще об одном заслуживающем внимания эпизоде. Современник Крылова, искусный версификатор А. Ржевский, нареченный Г. Гуковским "мастером изысканной игры параллелями и антитезами", откликнулся на комедию насмешливым четверостишием. Через некоторое время в петербургский дом Ржевского доставили конверт из Риги с язвительной эпиграммой Ивана Андреевича:

*Мой критик, ты чутьем прославиться
хотел,
Но ты и тут впросак попался...*

Известно весьма распространенное мнение: в круг крыловского творчества, очерченный рижскими годами, басни не входят. Но так ли это? Подстрочная сноска в книге "Мастерство Крылова-баснописца" уверяет читателя: первые басни Крылова анонимно напечатаны в журнале "Утренние часы" за 1788 год¹. Известно и другое. С 1805 года в российских столицах с нарастающей интенсивностью публикуются крыловские басни. Могли ли лифляндские годы оказаться совсем потерянными для главного призвания Ивана Крылова? Вдали от петербургской суеты, в тихой Риге, Крылов переводит великого своего предшественника Лафонтена, пишет подражания мудрым его фабулам. По мнению литературоведа М. Николаева, остзейские впечатления отозвались в басне "Рыцарь".

Знакомство с Крыловым рижского периода — это прежде всего незабываемые соприкосновения с делами и днями, с переменчивой судьбой писателя, который шел навстречу лучшим своим творениям.

ВОПЛОЩЕННЫЕ В ЛАТЫШСКОМ СЛОВЕ

Более трех десятилетий назад, в 60-е годы, возникла оживленная дискуссия о первых латышских переводах басен Крылова. Исследователи латышско-русских литературных отношений В. Вавере, Т. Гинтере, Л. Сидяков на разном фактическом материале доказывали: первые пере-

¹Степанов Н. Л. Мастерство Крылова-баснописца. — М., 1956. С. 38.

воды крыловских басен появились еще при жизни автора. Библиограф Янис Яугиетис это утверждение не принял: по его мнению, нет прямых доказательств тому, что "Krišs un Pricis", "Bite un Balodis", "Ozols un Niedras krūms" восходят именно к русской первооснове. Тематически произведения эти не в меньшей мере близки одноименным фабулам великого француза Лафонтена. Кто же прав?

Впервые латышские читатели узнали Крылова на родном языке только в 1847 году, через три года после смерти их прославленного создателя. О раннем интересе латышей к творчеству Крылова говорят такие факты. За один только 1847 год "Latviešu Avīzes" в переводе Юриса Бара опубликовала четыре басни: "Ēzelis un Lakstīgala" (Nr. 11), "Vilks un Pelēns", "Sunu draudzība" (Nr. 33), "Milzis" (Nr. 35). "Pēterburgas Avīzes", свободная от цензуры балтийских баронов (в первой половине 60-х годов XIX века газета на латышском языке издавалась в российской столице), похвально отозвалась о Крылове. Кто-то из младолатышских литераторов (имя его не установлено) советовал как можно скорее наследие русского баснописца перевести на язык латышей. Это пожелание поддержал беллетрист и литературный критик Арону Матис: "Маленькие шедевры Крылова приобщают латышей к чистому роднику русской поэзии, одухотворенной мудростью народа". Но только через несколько десятилетий сбылись надежды латышских почитателей русской литературы. Трехтомник латышского Крылова стал литературным событием. Для переводчика Фрициса Адамовича оказалось посильным воссоздать бесчисленные оттенки русского народного говора, прихотливый синтаксис, многоцветье подлинника. Каждая строка, звучащая по-латышски, — за самыми редкими исключениями, — воспроизводит мудрость и блеск, "русский дух" крыловской басни.

Сопоставим, к примеру, подлинник и перевод басни "Мор зверей". Какие выразительные отыскал Фр. Адамович слова, передающие долгое и трудное мычание Вола, его медлительность, неподвижность.

У Крылова:

И мы
Грешны. Тому пять лет,
Когда зимой кормы...

У Адамовича:

*Ir mūs, viņš mauj, ko jēdz,
Griež grēka slogs. Pa mūsu
pusi...*

Неясно, почему переводчик не воспользовался каким-либо вариантом счастливо найденного приема в воссоздании другой басни — "Свинья под Дубом". Там у Крылова есть замечательная по своей звукописи строка: *рылом подрывать у Дуба корни стала*. У Фр. Адамовича: *ar koka saknēm rakrāties*, и фонетический облик крыловской строки теряется.

Русские имена персонажей Фр. Адамович заменяет латышскими. Карпыч — персонаж из басни "Крестьянин в беде" — обратился в Криша, Фока — в Кляву. Степан, Демьян, Трофим и Клим (басня "Волк и Кот") переименованы в Криша, Юриса, Клава и Яниса. "Демьянова уха" у Адамовича становится "Ухой Дависа", "Тришкин кафтан" — "Кафтаном Микиса".

Но что бы ни говорить об удачах в локализациях Фр. Адамовича, в свете требований наших дней в них приемлемо далеко не все. Вряд ли можно считать уместным введение персонажей древнелатышской мифологии, Перкона и Пикола, в латышский текст "Мора зверей". Замена крыловской строки *Родился в Персии, а чином был сатрап* ("Вельможа") латышским вариантом *Es pārvaldnieks no Slātavas* приводит к смысловому смещению, эмоционально-образному обеднению.

В 1959 году выходит новое латышское издание басен И. А. Крылова. Среди переводчиков — М. Кемпе, И. Аузиньш, Б. Саулитис, Я. Плотниекс, Я. Османис, М. Рудзитис, И. Ласманис. В "Избранное" вошли и наиболее удачные переложения Андрея Упита, Фрициса Адамовича.

Мирдза Кемпе — переводчик Крылова... К бесспорным достижениям сборника критики отнесли латышский аналог басни "Две бочки". Неспешное, без шума и шажком, движение полной бочки М. Кемпе передает долгими гласными (*palēnām*), сдержанным, замедленным ритмом. Для пустой же бочки, которая вскачь несется, от ней по мостовой и стукотня, и гром, подбираются краткие гласные *skāļi klab un grab* и соответствующий случаю разухабистый размер:

*Bet otrajā
Nav it nekā.*

Переводческие традиции Фр. Адамовича нашли своего продолжателя и в Иманте Аузине. Воспроизводя сред-

ствами латышского языка змеиное шипение (**dz, z, s**), переводчик сохраняет свистящие и шипящие звуки подлинника — **з, с, ж, ш**.

У Крылова:

*Я сроду никого не только не кусала,
Но так гнушаюсь зла,
Что жало у себя я вырвать бы дала,
Когда б я знала,
Что жить могу без жала.
И, словом, я добрей
Всех змей.*

У Аузиня:

*Tik pretīgs ļaunums man,
Ka savu dzeloni es izraut būtu atļāvusi,
Ja zinājusi,
Ka es bez viņa dzīvot spēju,
Visgodīgākā odze es
Uz pasaules.*

Даже для признанных мастеров латышского стиха воссоздание на родном языке крыловских архаизмов и славянизмов оказалось крепким орешком. И. Аузинь эту преграду одолел. Строки из басни "Прихожанин" —

**Возьмля к небесам все помыслы и чувства,
Сей обличала мир, исполненный тщетой ... —**

звучат:

*Pret debesīm gan domas, jūtas cēlas,
Šo dzīvi šaustīja, kas tikai pīšļi vien.*

Нетрудно убедиться: найденные в библейской лексике латышские соответствия ассоциируются с архаикой крыловского двустушия.

И как знаменательно: перенесенные на иную национальную почву творения русского баснописца не сникли, не потускнели, сохранили первоизданную свою красоту и силу. "Крылов, — по точному наблюдению Яниса Судрабкална, — оказал влияние на несколько поколений латышских писателей. Доку Атис и, в особенности, Персиетис многому научились у него... Крыловский смех по сердцу латышу".

РЫЦАРЬ

Какой-то Рыцарь в старину,
 Задумавши искать великих приключений,
 Собрался на войну
 Против колдунов и против привидений;
 Взддел латы и велел к крыльцу подвезть коня.
 Но прежде, нежели в седло садиться,
 Он долгом счел к коню с сей речью обратиться:
 "Послушай, ретивой и верный конь, меня:
 Ступай через поля, чрез горы, чрез дубравы,
 Куда глаза твои глядят,
 Как рыцарски законы нам велят,
 И путь отыскивай в храм славы!
 Когда ж карачунóв я злобных усмирю,
 В супружество княжну китайскую добуду
 И царства два-три покорю, —
 Тогда трудов твоих, мой друг, я не забуду;
 С тобой всю славу разделю,
 Конюшню, как дворец огромный,
 Построить для тебя велю,
 А летом отведу луга тебе поемны.
 Теперь знаком ты мало и с овсом,
 Тогда ж пойдет у нас обилие во всем:
 Ячмень твой будет корм, сыта медова — пойло".
 Тут Рыцарь прыг в седло и бросил повода,
 А лошадь молодца, не езя никуда,
 Прямехонько примчала в стойло.

РИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНА БАТЮШКОВА

Как вы имели возможность убедиться, в Балтию писателей России приводили разные обстоятельства. Но только Батюшкову суждено было увидеть Ригу из окна госпитальной палаты. В прусском походе, под Гейльсбергом, в бою с атакующими цепями французов двадцатилетний Константин Батюшков получил пулевое — навывлет — ранение...

Шел июнь 1807 года. В прошлом оставались отроческие годы в родовом поместье на вологодской земле. Пансион в Петербурге. Начало военной службы, первая проба сил в поэзии... Впереди ждала канцелярская должность "расславщика кавычек и строчных препинаний". Предстояли три войны, дипломатическая служба в Неаполе и увлечение идеями французских просветителей, дружеское общение с поэтами пушкинского круга, тернистый путь к признанию и опережающие время стихи...

Константин Батюшков, "сотенный начальник петербургского милиционного батальона", торопился в лифляндскую столицу. Знал ли он тогда, что до первого жаркого боя оставались считанные недели?.. Короткая остановка в Нарве. Неяркая синева пустынных северных небес. Сумрачный гул и блеск водопада... Вспомнились громокипящие державинские ямбы. На этот раз "алмазну сыплющую гору" сподобился повидать и он, Батюшков. Многие вокруг говорили о событиях столетней давности. Где-то совсем рядом, на берегах медленных лифляндских рек, за некогда грозными крепостными рвами, простирались

бранные поля русских и шведских полков. Военные потрясения, запутанные события мирных лет сопровождались взлетами и падениями государственных мужей из громких остзейских и скандинавских родов. Об этих знатных людях петровской эпохи Батюшков был немало наслышан...

Покинуть Ригу в назначенный приказом срок Батюшкову не удалось — задержало сильное недомогание. Он находит силы отправить несколько весточек в российскую столицу, в родное свое вологодское гнездо.

В одном из рижских писем не без иронии передаются эпизоды светской хроники: "Государь только откушал в Риге и поехал далее. Здешняя уморительная немецкая гвардия встречала его верхом. Я... видел сих героев... чуть не умер со смеху. Одеты очень богато и важничают..."¹ И в этом, и в других батюшковских письмах из Риги обращает на себя внимание живая, народного склада язык, умение многое разглядеть в обыденном и привычном.

И снова — в путь. Через Митаву и Шауляй, по курляндскому и литовскому бездорожью на прусские, в думы и пламени, поля. Он во власти новых обязанностей, новых забот. В письме к покровителю художеств А. Н. Оленину Батюшков сетует на нерасторопность губернатора, на вечные нехватки провианта и фуража. Раздобыть их надлежало самим офицерам у крестьян из ближних селений. Не умолчал лифляндский корреспондент петербургского мецената и о бедственном положении раненых русских офицеров, которым "никто не дает никогда ничего". Между тем, "три лакея Бернадота² везде приняты и их содержат как офицеров"³.

Бой под Гейльсбергом. Тяжелое пулевое ранение. И все же... На возвратном пути весенняя Рига 1807 года показала Батюшкову иной — приветливее, светлее... Лечение шло долго и трудно. В июньском письме, адресованном тому же Н. Гнедичу, Батюшков предельно откровенен: "Я жив. Каким образом — Богу известно..."

¹Батюшков К. Н. Письмо Н. Гнедичу от 19 марта 1807 года// Сочинения. Т.3. — Спб., 1886. С. 7.

²Бернарот — имеется в виду король Швеции — ставленник Наполеона; его "лакеи" — французские офицеры.

³Батюшков К. Н. Письмо к А. Оленину от 11 мая 1807 года из Шауляя//Сочинения. Т. 3. — Спб., 1886. С.10.

Что мы вытерпели дорогою, лежа на телеге, того и понять не могу... У меня, как у модной дамы, нервы стали раздражительны. Крови, как из быка, вышло¹. Шли дни, недели, а "тесная лачуга на берегах Немана", мучительные часы "на соломе без помощи, без хлеба", раненые солдаты не забывались.

Молодость, как это нередко случается, в схватке с недугом взяла свое. Счастлирое стечение обстоятельств ускорило выздоровление. Поэт и воин волею случая оказался в доме рижского купца Мюгеля. В том же письме есть многозначительное признание: "После трудов, голоду, ужасной боли (и притом ни гроша денег) приезжаю я в Ригу, и что ж? Меня принимают в прекрасных покоях, кормят, поят из прекрасных рук: я на розах!.. Довольно, я счастлив и не желаю Питера... Я пью из чаши радостей и наслаждаюсь..." "Я пью из чаши радостей..." Что же кроется за этой метафорой? Ответ на этот вопрос находим в письме Батюшкова, отосланном из Риги 17 июня сестрам: "Я нахожусь в милом, гостеприимном доме... Доктор прекрасен. Меня окружили цветами и ухаживают как за ребенком. Хозяин дома... Мюгель — самый богатый рижский негодьянт. Его дочь — восхитительна, мать — ангельски добра. И все... для меня музицируют..." В своем рижском дневнике, составленном из стихов, писем и личных впечатлений, Батюшков то и дело заговаривает о музыке, которой в доме Мюгеля было одухотворено всё. Поэт имел в виду и звучание согласных голосов, и торжество светлых чувств...

*Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмили: "Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой
расцветает;*

*Что б было без весны?.. Подобно так и я
На утре дней моих увял бы без тебя!"
Тут, грудь ее кропя горячими слезами,
Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.*

(*"Воспоминания 1807 года"*)

¹Батюшков К. Н. Письмо к Н. Гнедичу из Риги (июнь 1807 года).// Сочинения. Т.3. — Спб., 1886. С. 12.

Сквозь зыбкую романтическую лексику, сквозь непрерывные аксессуары анакреонтического стиха пробивается живой голос, трепетное чувство лирического героя. Эпизоды недавней битвы, страдания, вызванные тяжелым ранением, чередуются с картинами безоблачной рижской жизни, повседневного общения с Эмилией Мюгель.

*Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмили дыханье;
Я вижу в облаках
Ее, текущую воздушною стезею...*

В доме Мюгеля Батюшков пережил свое "чудное мгновение", испытал пылкое чувство к неотразимой рижанке и через многие годы не забыл о ней.

*Я помню голос милых слов,
Я помню очи голубые,
Я помню локоны золотые
Небрежно вьющихся влася.
Моей пастушки несравненной
Я помню весь наряд простой,
И образ милый, незабвенный,
Повсюду странствует со мной.
Хранитель гений мой — любовью
В утеху дан разлуке он:
Засну ль? — приникнет к изголовью
И усладит печальный сон.*

("Мой гений", август 1815)

Восторженная любовь и ответное разделенное чувство, радость желанных встреч, печаль разлуки с "забвенной" — все эти мотивы, привычные для русской лирики начала прошлого века, надолго вошли в стихи поэта. О чем бы он ни писал — о желанном выздоровлении и приятных рижских воспоминаниях, об отъезде в действующую армию, неизбежном расставании с возлюбленной и печали, навеянной трагедией Лауры и Петрарки, — всюду угадывается легкая тень Эмили, всюду слышатся ее "милые слова".

Отзвуки не подвластного времени чувства, неостывающей страсти слышатся в стихотворениях "Радость",

"Ложный страх", "Любовь в челноке", созданных через много лет после Риги.

Помнишь ли, о друг мой нежный,
Как дрожащая рука
От победы неизбежной
Защищалась — но слегка?
Слышен шум! Ты испугалась!
Свет блеснул и вмиг погас;
Ты к груди моей прижалась,
Чуть дыша... блаженный час!

(*"Ложный страх"*)

Говоря о рижском цикле Батюшкова — "Воспоминания 1807 года", "Выздоровление", "К Маше", "Послание г. Велерурскому", нельзя умолчать об одной легенде. Явилась она в конце прошлого века и благополучно дожила до наших дней. Весьма туманные, отрывочные сведения о Мюгеле и его семействе породили сомнение, была ли Эмилия на самом деле или пленительный ее образ создан романтическим воображением поэта. Версия эта еще более утвердилась после рижской поездки Л. Майкова¹, долгих и тщетных его разысканий. Каких-либо следов радушного негоцианта и таинственной "девицы Мюгель" отыскать не удалось. Между тем современники Батюшкова в подлинности возлюбленной поэта, воспетой в стихах и письмах, не сомневались. 25 июля 1814 года В. Д. Дашков пишет П. Вяземскому: "От Батюшкова не было сюда ни одной грамотки со времени перехода за Рейн. Вот уже ровно полгода... Может быть, не залетел ли он опять к своей немке, на старое пепелище? Как вы думаете?"² Не забудем: со времени рижской любви Батюшкова минуло ни много ни мало семь лет. Но посвященные в сердечные дела поэта, как видим, о рижанке Эмилии не забыли. И можно ли не заметить подробности, вошедшие в батюшковскую строфу? Ведь они сигнализируют нам о подлинности происходящего. Это и "усердный эскулап", который

¹Л. Майков — самый ранний исследователь творчества К. Батюшкова и издатель собрания сочинений поэта.

²Цит. по книге: В. Кошелев. Константин Батюшков. Странствия и страсти. — Москва: Современник, 1987. С. 185—186.

"исторг из-под косы и дивно исцелил", и "семейство мирное", "гостеприимный кров" Мюгелей...

На берегах "светлой Двины" Батюшков не только приятельствовал с добрым семейством Мюгелей, но и завязывал знакомства с другими достойными внимания рижанами. Один из них — Михаил Юрьевич Виельгорский.

Всесторонне одаренный музыкант, чуткий ансамблист, исполнитель партии альты в домашнем квартете, он привлекал Батюшкова не только "гитарой сладкогласной", но и широкими познаниями в искусстве, верным, открытым для красоты и дружества сердцем. В гостиной Виельгорских на Выгонной дамбе звучали квартеты Гайдна, Моцарта, Бетховена. Владеющий "Эраты¹ голосом и прелестью Амура", Виельгорский читал Батюшкову и свои поэтические опыты. Первые стихи становились первыми романсами девятнадцатилетнего композитора... Прошло время, и братья Виельгорские, исполнители и композиторы, стали известны всей музыкальной России.

Через два года после рижской встречи Батюшков пишет "Послание г(рафу) В(елеурс)кому². Поэт обращается к "милому графу", просит его вспомнить "счастливы времена, когда нас, юношей, увидела Двина". Автору дружеских строк по-прежнему дороги дни "любви прямого чувства". Дни, отданные "прелестнице" Эмилии... Поэтому Рига для Батюшкова "обетованный край", "счастливые места".

И еще один план побуждает нас пристальнее взглянуть на это "Послание..." Не без легкой иронии воспроизводятся приметы бытового уклада рижской купеческой семьи:

Счастливые места, где нравиться искусство
Не нужно для мужей,
Сидящих с трубками вокруг угольных огней
За сыром выписным, за гамбургским журналом,
Меж тем как жены их, смеясь под опахалом,
"Люблю, люблю тебя!" — прищельцу говорят
И руку жмут ему коварными перстами!

¹Эрата — муза любовной поэзии у древних греков.

²Велеурский — польское произношение фамилии графа Михаила Юрьевича Виельгорского (1788—1865).

Эти стихи перекликаются с доверительным признанием Батюшкова из его рижского письма к Н. Гнедичу от 12 июля 1807 года: "... я в отечестве курительного табаку, бутерброду, кислого молока, газет, лакированных ботфорт..."

Батюшкову были ведомы не только Лифляндия, не только Остзейский край, но и, выражаясь современным слогом, весь балтийский, весь скандинавский регион. Покинув Ригу, Батюшков, покорный переменчивой доле походного офицера, два — с весны 1808 до лета 1810 — года провел среди "финских хладных скал". Эти впечатления отозвались в очерке "Отрывок из писем русского офицера о Финляндии". Даже "в бурное военное время" поэт породнился с "новой землей, дикой, но прелестной и в дикости своей". Кисть живописца вывела безмолвные и мощные ландшафты полуночной страны: "глубокие, длинные озера", "утесы гранитные, на которых ветер с шумом качает сосновые рощи", неоглядные леса, растущие на камнях, деревья, "сокрушаемые временем или дуновением бури". Звуковую палитру составляет музыка печальная, иногда скорбная. Это "резкий крик... птицы", "завывание волка", "падение скалы", "рев источника"... Батюшков задается вопросами: "Какие народы населяли в древности землю сию? Где признаки их быта? Где следы их?" В ответе на них по воле автора сливаются голоса историка, философа, художника. "Существовали народы сии — угрюмые, непобедимые сыны первобытной природы... И здесь поэзия рассыпала цветы свои: она смягчила нравы, укротила зверство и утешила страждущее человечество своими волшебными песнями о богах, о героях, о лучшем мире и о прекрасной будущей жизни".

Муза Батюшкова, его душа чутко воспринимали чужедальные земли, иноплеменные народы. Об этом свидетельствуют стихи, прозаические очерки, письма, в которых предстают и полуденные края, и загадочный Восток, исполненный нездешней красоты и неги, и строгие по линиям и краскам северные пределы. Эту многослойную, полифонически звучащую тему поэт философски осмысливает в статье "Нечто о поэте и поэзии". "Климат" в иных краях, "вид неба, воды и земли, всё действует на душу поэта, отверстую для впечатлений". Истинному художнику предназначено небесами "обтекать все страны, вопрошать все народы".

Со времени рижских дней не ослабевает внимание поэта к фольклору северных народов: "Мы видим в песнях ... скальдов¹... нечто суровое, мрачное, дикое, и всегда мечтательное, напоминающее и пасмурное небо севера, и туманы морские, и всю природу, скудную дарами жизни, но всегда величественную, прелестную..." Вот Батюшков, автор элегии "На развалинах замка в Швеции", знакомится с новой скандинавской страной, размышляет о суровом ее прошлом. Перед ним руины некогда грозных бастионов. Вспоминаются иные крепости, иные замки. Сколько их было от Риги до Шауляя! И вот теперь снова...

*Задумчиво брожу и вижу пред собой
Следы протекших лет и славы:
Обломки, грозный вал, поросший злаком ров,
Столбы и ветхий мост с чугунными цепями...
Все тихо: мертвый сон в обители глухой,
Но здесь живет воспоминанье...*

Более всего друзья поэта в его письмах ценили согретье неподдельным чувством пейзажи "чужих земель". На пути из Англии в Швецию Батюшков не налюбуется просторами Балтики: "Никогда море не являлось мне в великолепнейшем виде. Более тридцати судов колебались на лазоревой влаге... Наконец, мы заметили... неподвижную точку — высоты Мастранда, и я приветствовал родину Густава и Карла. Волны становились час от часу все тише и тише, и сгладились, и я увидел новую торжественную картину: совершенное спокойствие, глубокий сон бурной стихии. Солнце, находясь в зените своем, осыпало сиянием гладкую синеву". Эта картина, набросанная прирожденным маринистом, предстает перед нами в письме Батюшкова к Д. П. Северину, литератору и дипломату.

В свое время академик М. Алексеев заметил: эпистолярное наследие и стихи русских поэтов начала XIX века развести невозможно. Наследие Батюшкова — тому подтверждение. Разные жанры соединяет внутренняя связь. Сюжеты, образы, нередко лексика перетекают из писем в прозу, потом — в стихи и обретают при этом свойства истинной поэзии. Стоит сопоставить письма Батюшкова, отправленные из Риги Н. Гнедичу, и элегию "Воспоминания 1807 года", чтобы убедиться в этом.

¹Скальд — народный певец у скандинавов.

В письмах Батюшков не стесняется в выражениях и все называет своими именами. Не чурается он натуралистических подробностей: "ранен тяжело в ногу на вылет пулею в верхнюю часть ляжки", "рана глубиною в две четверти, но не опасно, ибо кость, как говорят, не тронута", "крови, как из быка, вышло", "ужасная боль". Эти же реалии находим и в стихах, но предстают они совсем в иной инструментовке:

Так я в болезни ждал безвременно конца

И думал: парки¹ час настанет.

Уж очи покрывал Эреба² мрак густой,

Уж сердце медленнее билось:

Я вянул, исчезал, и жизни молодой,

Казалось, солнце закатилось.

(*"Выздоровление"*)

Многое в письмах Батюшкова сопровождается незлобной усмешкой. Самоирония даже усиливает драматизм физического его состояния: "На костылях я крайне забавен". В стихах те же подробности печального быта тяжело раненного бойца выступают в иной, романтической тоналности:

Я помню утро то, как слабою рукою,

Склоняясь на костыли, поддержанный тобою,

Я в первый раз узрел цветы и древеса...

Нередко весточки Батюшкова, адресованные деятельным участникам литературной жизни, особенно когда речь заходит о так называемой "обыкновенщине", сопровождаются рисунками, острым и резким графическим комментарием. Во многих изданиях произведений Батюшкова воспроизводится автопортрет поэта, отправленный в свое время из Риги вместе с письмом к Н. Гнедичу. Невысокий, крутоплечий, ладный, еще совсем юный человек. Вьющиеся волосы. Профиль доверчивого, какого-то восторженно-полудетского лица. Видавший виды сюртук с высоким воротником. Простреленная нога, которая еще долго не коснется пола. Костыли. И никакой обреченности, никакой

¹Парки (римск.) — три богини судьбы; они прядут нить жизни человека и определяют срок его пребывания на земле.

²Эреб (греч.) — самые мрачные пределы подземного царства.

тоски. Напротив. По авторской характеристике, портретируемый кажется "крайне забавным"...

...И русские, и латышские литераторы воспринимали Батюшкова как предтечу создателя "Евгения Онегина" и "Медного всадника". Рижские строфы старшего собрата Пушкина убеждают в справедливости этих слов.

ВОСПОМИНАНИЯ 1807 ГОДА

Мечты! — повсюду вы меня сопровождали
И мрачный жизни путь цветами устлали!
Как сладко я мечтал на гейльсбергских полях¹,
Когда весь стан дремал в покое
И ратник, опершись на копье стальное,
Смотрел в туманну даль! Луна на небесах
Во всем величии блистала
И низкий мой шалаш сквозь ветви освещала;
Аль² светлый чуть струю ленивую катил
И в зёркальных водах являл весь стан и рощи;
Едва дымился огонь в часы туманной ночи
Близ кущи ратника, который сном почил.

О, гейльсбергски поля! о, холмы возвышенны!
Где столько раз в ночи, луною освещенный,
Я, в думу погружен, о родине мечтал;
О гейльсбергски поля! в то время я не знал,
Что трупы ратников устелют ваши нивы,
Что медной челюстью гром грянет с сих холмов,
Что я, мечтатель ваш счастливый,
На смерть летя против врагов,
Рукой закрыв тяжелу рану,
Едва ли на заре сей жизни не увяну...
И буря дней моих исчезла как мечта!..
Осталось мрачно вспоминанье...

¹Гейльсбергские поля. В 1807 году близ города Гейльсберга (Восточная Пруссия) произошло сражение с наполеоновской армией, во время которого Батюшков был ранен.

²Аль (Алле) — река.

Между протекшего есть вечная черта:

Нас сблизит с ним одно мечтанье,
Да оживлю теперь я в памяти своей

Сию ужасную минуту,

Когда, болезнь вкушая люту

И видя сто смертей,

Боялся умереть не в родине моей!

Но небо, вняв моим молениям усердным,

Взглянуло оком милосердным,

Я, Неман переплыв, узрел желанный край

И, землю лобызав с слезами,

Сказал: "Блажен стократ, кто с сельскими богами,

Спокойный домосед, земной вкушает рай

И, шага не ступя за хижину убогу,

К себе богиню быстроногу

В молитвах не зовет!

Не слеп ко славе он любовью,

Не жертвует своим спокойствием и кровью;

Могилу зрит свою и тихо смерти ждет".

Семейство мирное, ужель тебя забуду

И дружбе и любви неблагодарен буду?..

Ах, мне ли позабыть гостеприимный кров,

В сени домашних где богов

Усердный Эскулап божественной наукой

Исторг из-под косы и дивно исцелил

Меня, борющегося уже с смертельной мукой!

Ужели я тебя, красавица, забыл,

Тебя, которую я зрел перед собою

Как утешителя, как ангела небес!

На ложе горести и слез

Ты, Геба юная, лилейною рукою

Сосуд мне подала: "Пей здравье и любовь!"

Тогда, казалось, сама природа вновь

Со мною воскресала

И новой зеленью венчала

Долины, холмы и леса.

Я помню утро то, как слабою рукою,

Склонясь на костыли, поддержанный тобою,

Я в первый раз узрел цветы и деревья...

Какое счастье с весной воскреснуть ясной!

(В глазах любви еще прелестнее весна!)

Я, восхищен природой красной,
Сказал Эмили: "Ты видишь, как она,
Расторгнув зимний мрак, с весною оживает,
С ручьем шумит в лугах и с розой расцветает;
Что б было без весны?.. Подобно как и я
На утре дней моих увял бы без тебя!"
Тут, грудь ее кропя горячими слезами,

Соединив уста с устами,
Всю чашу радости мы выпили до дна.
Увы, исчезло всё, как прелесть сладка сна!
Куда девались восторги, лобызанья
И вы, таинственны во тьме ночной свиданья,
Где, заключа ее в объятиях моих,
Я не завидовал судьбе богов самих!..

Теперь я, с нею разлученный,
Считаю скукой дни, цепь горестей влачу;
Воспоминания, лишь вами окрыленный,

К ней мыслю лечу;
И в час полуночи туманной,
Мечтой очарованный,
Я слышу в ветерке, принесшем на крылах
Цветов благоуханье,
Эмили дыханье;
Я вижу в облаках

Ее, текущую воздушною стезею...
Раскинуты власы красавицы волною

В небесной синеве,
Венок из белых роз блистает на главе,
И перси дышат под покровом...

"Души моей супруг! —
Мне шепчет горний дух, —
Там в тереме готовом
За светлую Двиной
Увижуся с тобой!..

Теперь прости..." И я, обманутый мечтой,
В восторге сладостном к ней руки простираю,
Касаюсь риз ее... и тень лишь обнимаю!

Между 1807 и 1809 годами.

БЕСТУЖЕВСКАЯ ГЛАВА В КНИГЕ О ЛАТВИИ

"Невский альманах" за 1829 год опубликовал незавершенную статью "Ливония". С того времени сто тридцать лет этот историко-этнографический и публицистический очерк не входил ни в одно издание бестужевской прозы. Во второй половине 50-х годов в рукописном отделе Института русской литературы (Пушкинский дом) эстонский исследователь С. Исаков отыскал рукопись "Ливонии" и со своими обстоятельными комментариями опубликовал в Ученых записках Тартуского университета. В заново открытом фрагменте находим многозначительное признание: "Ливония заслуживает неоспоримое внимание историка и философа, романтика и живописца". Оснований для подобного утверждения у Бестужева было более чем достаточно. К остзейской теме он приобщился рано, с первых сознательных лет. Его мать, уроженка Нарвы, своему первенцу много рассказывала об Остзейском крае. И решительно все в землях эстонцев, латышей, немцев обрел для юного Бестужева свой единственный колорит, свои цвета, ритмы, звуки...

Позднее Бестужев пристрастился к литературе о Лифляндии и Эстляндии. Какие только источники конца XVIII—начала XIX века он не перечитал! В подробном изложении И. Арндта ему стала известна "Ливонская хроника" Генриха Латвийского. Знакомился он и с трудами лифляндских историков Х. Кельха и Ф. Гадебуша, Бальтазара Русова и А. Лерберга, Г. Лудена и ревельского ученого Г. Рикерса.

...Подписчики журнала "Сын Отечества" в номере 38-м за 1818 год прочитали статью "О нынешнем нравственном и физическом состоянии лифляндских и эстляндских крестьян". Имя автора долгое время оставалось неизвестным. Сегодня считается установленным: публикация принадлежит двадцатилетнему Александру Бестужеву (Марлинскому)¹. Для первого выступления в печати он выбрал свой вольный, со вставками-комментариями, перевод этнографической главы из трехтомного труда французского исследователя Остзейского края Франца Габриэля де Брая "Опыт критической истории Лифляндии с картинами нынешнего состояния сей области". В немногословных, графически резких зарисовках передал Бестужев внешний облик лифляндских крестьян. Первым он рассказал россиянам о латышских народных обычаях и обрядах, поверьях, легендах, песнях. Латыши, говорится в статье, свои песни по большей части слагают во время полевых работ, в редкие свободные дни. Оказывается, духоподъемное это занятие — "исключительная принадлежность женщин. Они единственные поэты и музыканты сего народа, у коего стихотворство столь тесно соединено с музыкой, что одно никогда не существует без другого"². Любопытны наблюдения над самой манерой народного исполнения: молодая крестьянка запекает, "прочие повторяют хором". Тут же Бестужев упоминает о песенном рефрене "лиго", но ошибочно полагает: повтор этот сопутствует любой латышской песне.

В фонде петербургского ученого рижского происхождения Эдуарда Вольтера авторы этой книги обнаружили бестужевский перевод первой главы книги Гарлиба Меркеля "Латыши, особливо в Ливонии, в исходе философского столетия". Рукопись озаглавлена так: "Отрывок из бумаг Гр. ... Краткая история латышей и всеобщее описание их"³. Это была вторая, после Г. Державина, попытка познакомить русского читателя с наследием "неистового

¹См.: Базанов В. Очерки декабристской литературы: Публикации. Проза. Критика. — М., 1953. С. 294.

²Журнал "Сын Отечества", 1818, кн. XXXVIII, с. 241.

³Архив Академии наук России (Санкт-Петербург). Фонд 178, опись I, №16. Черновик заметки А. Бестужева по истории Лифляндии.

латыша"¹. В отличие от немецкого оригинала бестужевское переложение обращает на себя внимание романтической тональностью, эмоциональной приподнятостью. Русская версия усиливает социальное звучание подлинника, отчетливее выявляет деспотическую сущность крепостников. Политический радикализм бестужевского текста отчетливее выступает в сопоставлении с переводом А. Шемякина, выполненным через столетия. Если у Шемякина, по наблюдению М. Николаева, крестьяне "обрабатывают поля своих господ", то у Бестужева подневольные люди "обрабатывают поля своих тиранов". Бестужевское обвинение — "тяжелые подати" — Шемякин заменяет нейтральным выражением "большие оброки", "деспотическая власть" становится "неограниченной"...

В упомянутой выше "Ливонии" находим объяснение, почему Бестужев долгие годы оставался верен остзейской теме: "Случай в разные времена доставил мне наместное познание² Остзейских провинций... Наблюдения и разговоры с людьми сведущими собрали в итоге... сведения о Ливонии. Край этот был первым поприщем для моего любопытства, для моего нравственного и физического созерцания, еще ... не утомленного повторением... Вот почему, увлекаясь первыми впечатлениями, я написал столько повестей рыцарских..." Все, что привлекало Бестужева в Балтии, заставляло его задуматься, осмыслить самые разные источники и личные впечатления, получило развитие в знаменитых "ливонских" повестях. Это и осуждение "самозванных баронов". По злой их воле лифляндские землепашцы оказались "бесправными рабами". И стремление показать прошлое Остзейского края, его экономические и национальные проблемы в контексте средневековой Западной Европы. И желание непредвзято показать изменения в бытовом укладе и этнопсихологическом облике эстонцев и латышей. Перемены эти были привнесены "обстоятельствами, меняющими характер народов".

¹Так, не без смятения и страха, именовали Г. Меркеля в остзейской баронской среде.

²"Наместное познание" — знакомство с природой, историей, людьми, культурой "на месте", т.е. в изучаемом крае.

За несколько лет до декабрьских событий один из будущих предводителей мятежа, покинув Петербург, совершил свое первое путешествие в Лифляндию. По эстонским впечатлениям создана первая книга — "Поездка в Ревель". Многие ее страницы — размышления о порабощении Прибалтики крестоносцами, о Ливонской войне, о взаимоотношениях русских с немцами и латышами, о беспорядках лифляндских крестьян — напоминают о горячей приверженности Бестужева республиканским взглядам, о своеобразном его беллетристическом таланте. "Поездка в Ревель" побуждает вспомнить об уроках Александра Радищева и Николая Карамзина. Вслед за Радищевым автор "Поездки..." называет каждую главу именем той станции, куда привела его беспокойная участь паломника и где всякий раз происходят по-своему примечательные события. Совсем как у Карамзина — обстоятельно, в живых положениях и картинах, со знанием самых разных подробностей, обстоятельств — даются семейно-бытовой уклад, обычаи, обряды феодальных времен. И все строго соотносится с известными в те годы историческими, археологическими, этнографическими источниками. И благодарный читатель во всем доверяется автору. Все воспроизведенное в очерке, по его разумению, таким только и могло быть...

Бестужев, как и другие путники из разных земель и стран, оказался в плену у Ревеля. Его занимают и рвущиеся в небеса церковные шпили. И надежной кладки — на века! — ратуша. И угрюмые городские стены. И старинное рыцарское гнездо — Вышгород. И люди, которые в разные времена приумножали ратную и мирную славу Ревеля: архитекторы и художники, военачальники и меценаты, поэты и музыканты.

Быть может, и не следовало бы так долго задерживаться на "Поездке в Ревель", не заговори автор о южной Ливонии. В примечаниях к "Поездке..." перечисляются события, условия, причины, которые, по мысли автора, или предваряли завоевание немецкими крестоносцами земель ливов, летиголы, сели, корси, земиголы, или сопутствовали их покорению. Поименно названы вожди Кобо¹, Дабрель из Торейды (Турайды), Русинь из Сатеклы,

¹В современных источниках Каупо. Это и другие имена племенных вождей А. Бестужев заимствовал из немецких хроник.

Варидот — владетель Аутины, беверинский вождь Талибальд (Таливалдис) с сыновьями Ремеком¹ и Друнвальдом². И каждый из них именуется героем. Одно вызывает сожаление автора: "Ни один скальд, ни один повествователь из среды ливонцев не передал подвигов своего народа векам поздним. Славные дела их погасли с зарею дней, бывших свидетелями оных".

В 1825 году увидела свет и повесть "Ревельский турнир". Сюжет произведения незамысловат: Минну и Эдвина соединило неодолимое взаимное чувство. Но Минна — дочь знатного рыцаря, Эдвин — садовник-шварцгауптер³, не знающий страха и унижений. На их пути к счастью словенные преграды, вековые предрассудки. И только подвиг Эдвина на поле брани смел все завалы...

Обращает на себя внимание фамилия отца Минны рыцаря фон Буртниека. Частица "фон", как известно, свидетельствует о высородном происхождении, и сочетание ее с латышской фамилией Буртниекс само по себе кажется непривычным. Надо думать, автор в этом случае погрешил против истины.

В мае 1821 года полк, в котором нес службу Александр Бестужев, был расквартирован в окрестностях Вендена. Походный офицер, автор лифляндских повестей снова оказался во власти грозной старины. О многом рассказывали развалины венденского замка. О войнах, не знающих сострадания. О разрушительной силе зла. О трагедиях городов и людей. Воображение волновали события, о которых повествовал немецкий историк И. Арндт...

...XIII век. Венденский бастион поражает иноземцев неприступностью, величием, строгой гармонией своих линий. На всю округу наводит страх владелец этого замка Винно фон Рорбах. Каждая строка из повести "Замок Венден" осуждает вторжение тевтонов в земли Балтии. "Рыцари, воюя Лифляндию... изобрели все, что повторили после того испанцы в Новом Свете на муку безоружного человечества. Смерть грозила упорным, унижительное рабство служило наградой покорности. ... Кровь невинных лилась под мечом воинов, под бичами владельцев..."

¹В латышских источниках — Rameķis.

²В западных хрониках — Druvvaldis.

³Шварцгауптеры — "Черноголовые".

Обитатели венденских земель терпели поборы, всяческие притеснения не только от Рорбаха, но и от воинов-ландскнехтов. Запоминается эпизод: несжатые поля оглашает песня часового. Он охраняет замок, но мысли его обращены к возлюбленной, которая ждет его в далеком немецком городке. Ради суженой он готов на все, даже на преступление, даже на разбой:

*Богатый изумруд сверкал
На нежной шее девы пленной.
Я для тебя его сорвал
Рукой любви неизменной.*

Однако сюжет повести, как можно было бы предположить, не строится на противоборстве поработителей и поработенных. Более того, латышские земледельцы в бестужевском повествовании вообще не вовлечены в социальный конфликт. Ссора, перерастающая во вражду, кровавой межой разделяет самих рыцарей — магистра Ордена меченосцев Винно фон Рорбаха и его соседа Вигберта фон Серрата. Последний осуждает произвол владетеля сопредельной округи. Ярый охотник, Рорбах заставляет чужих крестьян криками выгонять зверей из лесной чащобы.

"Терпение мое вырвалось из границ, — с трудом сдерживая гнев, обвиняет Серрат магистра. — Я молчал, когда ты тенётил серн в рощах моих, на моих заповедных лугах травил зайцев; но теперь, когда Бог дает селянам погоду, а ты отрываешь руки от бесценного труда, когда топчешь конями хлеб, орошенный кровавым потом, когда, наконец, казнишь подданных за послушание к власти, я должен высказать, что сказал". Обратим внимание: благородного, храброго Вигберта фон Серрата историк литературы А. Скабичевский сравнивал то с Дубровским, то с лермонтовским Вадимом...

"Замок Нейгаузен" заметно отличается от прежних произведений Бестужева этого цикла. "Эпохой своей повести, — пишет Бестужев, — я избрал 1334 год¹, знаменитый в летописях Ливонии взятием Риги германцем Эбергардом фон Монгеймом. Он привел ее в совершенное подданство, взял с жителей дань и письмо покорности, разломал стену и через нее въехал в город".

¹На самом деле это событие относится к 1330 году.

На этот раз действие не прикреплено к одному месту. В повествование вовлекаются то Рига, то замок Нейгаузен, то Аренсбург на острове Эзель, где заседает тайный феодальный суд. Это самая населенная "ливонская" повесть Бестужева. Среди действующих лиц — остзейские рыцари Эбергард фон Монгейм, Ромуальд фон Мей и его соперник Эвальд фон Нордек, русские князья Всеслав и Андрей, их дружинники. Среди воинов Гедеон Бестужев — пращур автора. На этот раз переплетение событийных линий оказывается более сложным. Черные намерения диктуют поступки вестфальского рыцаря Ромуальда фон Мея, приводят его в замок Нейгаузен. Не испытывая ни тени сомнения, не зная сострадания, он готов завладеть всеми богатствами Эвальда и похитить его жену, красавицу Эмму. Стремясь к этой низменной цели, Ромуальд делает все, чтобы поссорить Эвальда с Всеславом. В хитро-сплетениях придуманной интриги он ловко использует случай, который и в самом деле имел место. В свое время русского князя пленил отец Эвальда фон Нордека. Данное происшествие смущает Всеслава, задевает его честь. Мей лжесвидетельствует, вводит в заблуждение судей, обвиняет Эвальда в тайном намерении сдать русским замок. В тот самый час, когда Эвальд спешит на дуэль с Всеславом, его "именем закона" подвергают аресту и доставляют в Аренсбург. И вот Эвальд на лобном месте. Но казни не дано свершиться: обреченного рыцаря, а вместе с ним Эмму и Всеслава вызволяют русские ратники...

В повести перемежаются социальные, нравственные, национальные мотивы. Низкие свойства природы Ромуальда фон Мея проявляются не раз и в самых несходных обстоятельствах. Прислушаемся к наугад взятому диалогу. На этот раз поток брани обрушивается на садовника Конрада:

— Пусть крапива забьет твои гряды!.. И Конрад, почтительно бросив свою шляпу на землю, ответил:

— Благодарю за желание, благородный рыцарь; но у меня и без этого плохо идет работа. Здешнее солнце светит только по праздникам, а эти башни и совсем не пускают его заглянуть в огород.

— Старый дурак! Когда строят корабль, думают ли о приволье мышам.

— Премудро и премило, благородный рыцарь. Но вы, кажется, рассержены. Смее ли я, старый слуга ваш, спросить о причине?

— Бесстрастное творение! — восклицает рыцарь, оказывающийся столь же неблагородным на деле, сколь на словах...

В повести "Замок Нейгаузен" противостоят две морали — рыцарей и псковских князей. — "Давно ли русские говорят о чести!" — язвительно замечает Нордек. В ответ он слышит полные достоинства слова Всеслава: "Русские всегда ее чувствуют. Вы, германцы, ее пишете на гербах, а мы храним в сердцах".

Ливонский цикл завершает "Замок Эйзен" (или "Кровь за кровь") — повествование самое остросюжетное, самое захватывающее. События в этой повести, самые невероятные, подчас страшные, непрерывно нарастают, громоздятся с ошеломляющей быстротой. Чего только не происходит в парадных залах, на бесчисленных лестничных переходах, в сырых подземельях замка! И на этот раз традиционный для автора "ливонских" повестей герой, рыцарь Бруно фон Эйзен, не знает ни жалости, ни сострадания. Ему, воплощению порока и низменных страстей, автор отводит место по одну сторону конфликта, по другую — юный и пылкий правдолюбец Регинальд. Связанный родственными узами с Бруно фон Эйзенем, он безоглядно, пылко полюбил жену могущественного сюзерена Луизу. Желая избавить бесправных людей от тирана, а свою избранницу — от нелюбимого мужа, Регинальд метким выстрелом из лука вершит свой суд... Но счастье обходит Регинальда и Луизу стороной. На их свадьбе, когда молодые приблизились к алтарю, является... тень поверженного рыцаря и насмерть поражает Регинальда, Луизу заживо закапывает в землю... Оказывается, месть вершил не призрак, а брат-близнец Бруно. Долгие годы он провел в Палестине и нежданно-негаданно вернулся в родные края...

Рассказ "Гедеон Бестужев" любопытен генеалогическими разысканиями его автора. Отдаленный предок Бестужева отказывается служить Дмитрию Самозванцу и удаляется в родовое имение неподалеку от Луги. И на этот раз фабульная кульминация сопряжена с Ливонией. Пока идет веселая свадьба дочери Гедеона Бестужева, Черный

Рыцарь со своим разбойным летучим отрядом врывается в усадьбу и уводит в неволю и Гедеона, и его дочь. Такой была месть русскому боярину за его подвиги в Ливонской войне. Речи давнего недруга не обещают Гедеону Бестужеву пощады: "Или ты позабыл осаду линневарденскую¹, когда алчные ратники дружины твоей сквозь дым и огонь ворвались в дом отца моего и младенцев сестер и братьев моих размозжили на камне? Твой меч пронзил сердце моего родителя". Не один год томился Черный Рыцарь в темнице, лишился за это время и замка, и чести. Теперь настал его час мести, и правосудие он будет вершить в том же Линневардене... Но и на этот раз события приобретают неожиданный оборот. Ночной порой зять Гедеона со своими людьми вызволяет бедного невольника, но боярскую дочь настигает вражий меч...

Летом 1821 года Бестужев со своим полком в имении Зеленполь². О своих делах и днях в Латгалии писатель рассказывает в письмах, адресованных сестрам. Как зорок взгляд писателя! Как радовали его редкие приметы народного довольства, как огорчали вечные недороды, неизбывные горести, бедность! "Ни на ком из них (подразумеваются латгальские крестьяне. — Авторы.) не было лица человеческого: все бледны, худы, приучены к нужде".

Разве латгальские диалоги Бестужева не напоминают горькие разговоры с пахарями господских нив в "Путешествии из Петербурга в Москву":

— Ты что тощий такой, с болезнью или с печали?

— Да с голоду, господин офицер. От барина своего мы получаем полгарнца³ ячменю на человека в год. Ни ржи, ни мяса не видим. С чего толстеть?

— Что ж вы едите?

— Рыбу ловим, картошку копаем.

Через десять лет режицкие впечатления ожили в повести "Наезды". Князь Серебряный на свой страх и риск отправляется в "Инфляндию"⁴. В Режицком замке графа Коллонтая томится русская княжна — нареченная героя

¹Линневарден — Лиелварде.

²Зеленполь — теперь в Андрупенской волости Резекненского района.

³Гарнец — старая мера сыпучих тел.

⁴Польское название Латгалии.

повести. После многих перипетий Серебряный спасает свою возлюбленную. Но радость преждевременна. Вдогонку беглецам летит предательская пуля, и юная княжна падает бездыханной...

"Наезды" привлекают напряженным сюжетом, рельефностью этнографических деталей, сочувствием, в равной мере высказанным латышским и русским крестьянам Латгалии. Личные впечатления о помещицьем произволе соединяются у Бестужева с фактами этого же ряда, известными ему по книге Гарлиба Меркеля "Латыши...". Увлечение идеями лифляндского поборника свободы выражается и в скрытых цитатах из "Латышей...": "Здесь холопа и человеком не считают; его же грабят, да его же и в грязь топчут. Я знаю некоторых панов, которые отдают выкармливать своих щенков кормилицам".

Нынешние жители Резекне и Лудзы могут пройти дорогами князя Серебряного и убедиться, какой в свое время их "малая родина" предстала перед автором "Наездов".

"... Вот и сам Люцин, — сказал Зеленский... и князь взглянул направо... Ленивый туман волнами вставал с зубчатых стен замка, стоящего на холме, — и тихо лежал городок у ног его. Еще ни одна дверь не чернела, ни с одной трубы не вился дымок, и окружный лес, понемногу расцветая, отрясал на путников холодную росу".

"...Далее к Режице (к старинному Розитену¹) виды становились еще живописнее. Холмистый край испещрен был озерами, над стеклом коих бродили махровые пары; и дикие рощи, и зыбкие тростники отражались в неподвижном их лоне. Порой только звучно прыгала из воды щука или ныряла дикая утка; струи разбегались кругами и, зыблясь, сливались в зеркале".

Становится ясным: когда А. С. Пушкин автора "Замка Эйзен" и "Наездов" назвал "представителем вкуса и верным стражем и покровителем нашей словесности", он, бесспорно, имел в виду и приведенные выше, и многие другие страницы из повестей Бестужева о Ливонии...

Летом 1824 года на целых три недели служебные дела снова приводят Бестужева в Латвию. Остановился он, как и многие его собратья по литературе, в гостинице "Санкт-

¹Резекне.

Петербург". По записным книжкам и рижским письмам нетрудно представить занятия Бестужева, круг его общения. Он выполняет офицерские обязанности на маневрах, присутствует на официальных приемах у генерал-губернатора Пауллуччи. Вместе с однополчанином Галлом и его семейством Бестужев смотрит спектакль гастролирующей труппы, наезжает в Нейбад¹, становится неперменным посетителем рижских балов, которые давали первые лица Остзейского края... Но все ближе день 14 декабря 1825 года... Литературные заботы отодвигаются, и рижским наблюдениям не суждено было найти отклик в бестужевской прозе. Об этом можно только сожалеть.

ЗАМОК ВЕНДЕН²

(Отрывок из дневника гвардейского офицера)

Мая 23, 1821 года

Говорят, маршрут переменен и полк наш станет в Вендене.

Итак, я увижу сей столичный город древнего ливонского рыцарства, искони знаменитый битвами, осадами, усеянный костями храбрых, запечатленный кровию основателя. Винно фон Рорбах, первый магистр Меченосного ордена, построил Венден, первый замок в Ливонии³. Любуясь величавыми его стенами, он не мыслил, что они скоро обратятся в его гроб; не думал, что трофеи побед станут свидетелями его смерти, и смерти бесславной.

Рыцари, воюя Лифляндию, покоряя дикарей, изобрели все, что повторили после того испанцы в Новом Свете на муку безоружного человечества. Смерть грозила упорным, унижительное рабство служило наградой покорности. Напрасно папы гремели проклятиями на хищников священных прав человечества¹, вотще напоминали крестоносцам их

¹Саулкрасты.

²В 1557 году, во время штурма войсками Грозного, крепость была взорвана осажденными.

³Кроме Вендена, построенного в 1204 году, он выстроил замки Сегевольд (Зегевольд) и Атераден (Ашераден)". (Примечание А. Бестужева.)

обет братской любви к побежденным, принявшим крещение, и кротости с обращаемыми в христианство; кровь невинных лилась под мечом воинов и под бичами владельцев. Вооружаясь за священную правду, рыцари действовали по видам алчного своекорыстия или зверской прихоти. Старшины Ордена примером своим вливали соревнование в подчиненных; жестокость служила правом к возвышению, и Рорбах недаром был магистром.

Однажды, в красный день осени, со стаей собак выехал он полевать в лугах и лесах соседних.

Людная дворя толпилась вокруг его: доезжачие, вооруженные копьями, скакали на литовских конях, с гордостью грызущих непривычное им железо мундштука германского; стремянные, с ножами за поясом, вели на смычках любимых собак господина, и старый ловчий с звонким рогом за спиною, на крымском жеребце², поодаль следовал за охотниками и каждому назначал место, когда гончие из острова выгонят зайца или поднимут серого волка или хитрую лисицу. Окрестным поселянам приказано было оставлять работы свои и спешить в лес, чтобы криком выгонять робких его обитателей.

— Вассалы рыцаря Вигберта фон Серрата не слушают твоих приказаний! — сказали магистру его посланцы, и магистр закипел гневом, поскакал к ослушникам, и бичи засвистели над их головами.

— Остановись, Рорбах! — вскричал Вигберт, приближаясь к магистру. — Остановись! Я не велел им тебя слушаться.

— Тем хуже для тебя, Серрат!

— Но тем страннее, что ты наказываешь их за повиновение их владельцу.

— Фон Вигберт, кажется, не в шутку вступается за этих бездельников.

¹Папы Иннокентий III, Григорий IX и Александр III настаивали, чтобы новообращенные христиане не были угнетаемы под игом суровейшего рабства, ставившего их наряду с животными бессловесными; но сии благородные усилия остались бесплодны". (Примечание А. Бестужева.)

²Рыцари покупали коней наиболее у литовцев, а сии, имея стычки с крымцами, могли доставать лошадей крымской породы, особенно уважаемых за быструю скачку". (Примечание А. Бестужева.)

— Для меня нет там шуток, где страдает человечество. Неужто для одного наружного украшения начертали мы кровавый крест на груди своей? Крест — символ благости и терпения?

— Терпения — для вассалов? Эти получеловеки служат, покуда у них рогатки на шее и страх над головою! Коротко и ясно, Вигберт, не у тебя первого, не у тебя последнего я это делаю: повинуйся...

— Другие мне не указ. Пусть они подражают тебе, пусть тебя превосходят; я ставлю в честь быть защитником моих вассалов и не поущу угнетать их никому, ни для чего. Одному удивляюсь, магистр, что ты, избранный нами в блюстители правосудия, нарушаешь все его законы!

— Рыцарь! я не прошу твоих советов, не хочу слушать выговоров; но ты обязан слушаться приказов магистра.

— Верю, магистр, что ты не охотник до правды; но терпенье мое вырвалось из границ. Я молчал, когда ты тешил серн в рощах моих, на моих заповедных лугах травил зайцев: но теперь, когда Бог дает селянам погоду, а ты отрываешь руки от бесценного труда, когда топчешь конями хлеб, орошенный кровавым потом, когда, наконец, казнишь подданных за послушание к власти, я должен был высказать, что сказал.

— А я сделаю, что делал. Рыцарь фон Серрат! властью магистра приказываю тебе послать вассалов своих, куда мне вздумается.

— Рорбах! Винно фон Рорбах! вспомни, что ты говоришь? Для того ль облечен ты властью, чтоб употреблять ее на смех? Магистр Меченосного ордена посылает — гонять зайцев!!

— Дерзкий! ты забываешься. Последний раз говорю тебе: повинуйся!

— Требуя излишнего, ты потерял должное; не повинуюсь.

— Возмутитель, бунтовщик! или не узнаешь во мне магистра?

— Не узнаю, привыкши видеть магистров на поле ратном или в суде правды — не с арапниками, не в разбое.

— Ведаешь ли, грубиян, чему подвергаешься ты неуважением к этой мантии?

— Я только жалею, что она кроет человека, который должен напоминать о своем сани, забывая свой долг. Вижу

в ней достоинство Ордена и не вижу в тебе чести рыцарской...

— Презренная тварь! благодари судьбу, что со мною нет меча моего...

— Малодушный хвостун! хвались храбростию перед эстами, разгоняемыми звуком шпор; но мое стремя не дрожало в боях, копьё не опиралось на крюк¹ в турнирах, между тем как седло твое часто холодело без тебя, поверженного в пыли...

Магистр не мог снести последнего укора.

— Подлец! — вскричал он в запальчивости, — за твою дерзость, за твои мнения ты стоишь рабского наказания. — С сим словом он ударил бичом безоружного Вигберта.

Вне себя, окаменев, скрежеща зубами от гнева, стоял Серрат; и магистр был уже далеко, когда чувства иступления излились в клятвах и угрозах.

Вот письмо, написанное им к магистру рукою капеллана²:

Благородный рыцарь Вигберт фон Серрат к Рорбаху.

Обида моя требует крови, и я повергаю перчатку к ногам обидчика. Пусть огромен щит Рорбаха, зато не короток и меч мой. Берегись отвергнуть бой честный: кто обижает и не дает ответа копьем, тот стоит смерти разбойника. В случае отказа — клянусь честью рыцарскою — последняя капля крови Рорбахов застынет на моем кинжале.

Магистр отвечал следующим:

Магистр Ливонского меченосного ордена, наместник Рижского епископа и владелец многих замков, Винно Родольф фон Рорбах Вигберту.

Мне низко нагибаться за твоей перчаткой. Щит отцов моих широк не из робости, но для герба, который чистили

¹Под правым плечом рыцарской кирасы приделывался железный крючок, на который, для твердости в руке, упирали рыцари средину ланца, взявши его наперевес (en arrêt)". (Примечание А. Бестужева.)

²Редкие из рыцарей умели грамоте, и домовые капелланы исправляли у них должность секретарей". (Примечание А. Бестужева.)

твои предки; а мечами разве тогда мы померяемся, когда петля, тебя ожидающая, станет почетнее золотой магистерской цепи. Поезжай лучше, Серрат, в Литву, искать по себе противников; там, говорят, за битого дают двух небитых. Что ж до угроз твоих, они мне забавны. Я слишком презираю тебя, чтобы страшиться.

Венден

— Ты произнес свой приговор, презрев суд Божий благословенным оружием¹, — сказал Серрат, и последняя слеза до сих пор невинной совести капнула на убийственное лезвие кинжала.

День навечере, солнце тихо садится, и лучи его, как бы нехотя, меркнут в цветном зеркале окон венденских. Зарево гаснет, — угасло, и холодный туман уже встретился с мраком востока.

Ужин в замке окончился: тяжкий стакан празден, и магистр, как домовод, на дубовых креслах, посреди кубиясов², вооруженных хвостатыми бичами, отбирает отчет дневной работы, назначает утреннюю, распределяет кары. Угрозы его вторятся готическими сводами и заставляют трепетать подобострастных вассалов. Наконец патер возвышает голос вечерней молитвы, и все домашние на коленях читают за ним "Credo"³ и "Ave Maria"⁴. Земные поклонны заключают молитву; каждый целует распятие, и вот огни замелькали по коридорам, голоса едва перешептываются с отголосками; но скоро умолкает самый шелест шагов, и мертвый сон воцарился повсюду.

Золоторогий месяц едва светит сквозь облако; дремлющий лес не шелохнет, и черная тень башен недвижно лежит на поверхности вод. Изредка дуновенье вспорхнувшего ветерка струит складки знамени гермейстерского, и, ниспав, они снова объемлют древко. Одно мерное бречанье палаша часового раздается по стенам замка. То, опершись на копьё, он погружает наблюдательные взоры

¹Так мыслили в те варварские, непросвещенные времена. Всякая распря, всякая обида решалась оружием, и победитель считался оправданным самим судьей небесным". (Примечание А. Бестужева.)

²Кубиас — староста". (Примечание А. Бестужева.)

³Верую" (латинск.).

⁴Хвала тебе, Мариа" (латинск.).

свой в темную даль, — то, в мечтах об оставленной родине, о далекой невесте, напевает старинную песню. Он поет:

О звуки грустные, летите
К моей красавице Бригите!

Давно меня мой добрый конь
Умчал дорогою чужою;
Но не погас любви огонь
Под тяжкой броней стальной.

А ты, в родимой стороне,
Верна иль изменила мне?
В походах дальних, на пирах,
Опершись в боевое стремя,
Ты мне казалась в мечтах:
Я вспоминал былое время
Наяве с милой и во сне;
А ты грустишь ли обо мне?

За честь твоих, Бригита, глаз
Не первый ланец изломался,
И за тебя твой шарф не раз
Моею кровью орошался.

А ты, в далекой стороне,
Готовишь ли награду мне?
Богатый изумруд сверкал
На нежной шее девы пленной, —
Я для тебя его сорвал
Рукой любви неизменной.

Для золота, для красоты,
Ужель мне изменила ты?
Я видел смерть невдалеке:
На камнях Сирии печальной
Мой конь споткнулся — и в руке
Меч разлетелся, как хрустальной,
Булат убийственный блистал,
Но я Бригиту призывал!

А ты?..

Блудящий огонь по болоту приводит его в суеверный страх, и он, стыдясь боязни своей, закутывается в плащ, будто проникнутый холодом.

Но чья тень мелькает в парах, изменяющих току реки в глуши дикого леса? Не привидение ли то, страж клада

князей Герсики¹, погибших в дебрях? Или то мстительный вайделот² исторгается в час полуночи для призвания чарам адских духов на стубу пришельцев — разрушителей Перкуна? Но грудь его не обвешана волшебными кольцами, одежда не сходствует с одеждою эстов; его огромный стан покрыт синею германскою епанчою.

Может быть, то запоздалый охотник спешит к очагу, где розовый пламень крутится вокруг кипящего котла; но где ж его стрелы? где его чуткие псы?

Нет, это не запоздалый стрелец.

Он не ищет, но крадется сам, тихо ступая по хрупкому листу. По яростным взорам, вырывающимся из-под бровей, скорее можно принять его за разбойника, замышляющего грабеж; но латами вытертый колет из замши, рыцарский воротник видны под епанчою, и бляхи железной перчатки сверкают, когда он разводит ветки, преграждающие путь.

Так, это рыцарь, хотя шпоры не гремят на полусапожках его и перья не волнуются над головою.

Уже неизвестный рыцарь на краю рва, — он измеряет взором преграды, — и я узнаю в нем фон Серрата.

"Высоки стены твои, Рорбах! — мыслит он, — но выше их решимость человеческая; широки рвы замка, но крылат вымысел мести; число твоей стражи велико — тем больше ее беспечность".

Серрат вяжет и повергает несколько снопов в воду. С отвагой в душе, под кровом туманов, плывет он по дремлющей глубине, уже готов схватиться за решетку отдушины; но скользкий плот изменяет, рыцарь погружается в воду... Дикая утка, испуганная шумом, с криком улетает прочь, и страж, внемля свисту крыл ее, не дивится, что ему почудился плеск волны.

Но рыцарь выплыл и, вонзая кинжал в пазы, уже взбирается на стену, лепится по неровностям камней, и вот висит под верхним поясом. Силы ему изменяют, нога скользит, еще миг — и он оборвется; но он уже наверху.

¹Альберт сжег Герсику в 1208 году. Всеволод, князь оной, спасся бегством; многие из приближенных к нему последовали ему и, вероятно, погибли в лесах придвинских, вместе с унесенными сокровищами. Народное ж мнение, будто над кладами блуждают привидения, живет и до сих пор". (Примечание А. Бестужева.)

²Вайделоты — жрецы и вместе волхвы эстонские". (Примечание А. Бестужева.)

Проснись, Рорбах, или час твой близок! Ужели не слышишь крика ласточки над окном твоим? не слышишь грядения ворон, тучей поднявшихся с башен замка?

Нет! пагубный сон теснит магистра в объятиях. Оконницы вырваны с петель, холодный воздух свеваает пыль с завесы, и пламя лампы трепещет, шаги убийцы звучат, — но он спит, и железная перчатка Вигберта упала на плечо его прежде, чем открыл он глаза свои; открыл — и веки, будто свинцовые, снова закрылись. В волнении ужаса и надежды ему кажется бледное лицо Серрата будто в сновидении или в мечте; но зловещий голос, как звук судной трубы, возбудил и омертвил его разом.

— Мщение и смерть магистру! — прогремел Серрат, стаскивая его с постели. — Смерть, достойная жизни! Напрасно блуждаешь ты взорами окрест — помощь далека от тебя, как от меня состраданье. Отчего ж трепещешь ты, подлый обидчик, воин среди поселян, бесстрашный с своим капелланом? Для чего пресмыкаешься, гордец, перед врагом презренным? Меня не смягчат твои просьбы, не поколеблют угрозы, — ты не вымолишь прощения! Да и стоит ли его тот, кто дважды лишил меня чести, а детей моих — доброго имени. Пусть я умру на плахе убийцею; зато щит мой не задернется бесчестным флером на турнирах и мой сын, не краснея за трусость отца, поднимет наличник для получения награды. Ты презрел вызов мой, не хотел честно преломить копьё с обиженным, — узнай же, как платит за обиды Серрат!

С сим словом ринулся он на магистра; но отчаяние зажгло в нем мужество, и ужасный вопль огласил своды.

Смело схватил он грозящее лезвие и сдвинул Серрата мощными руками. Цепenea от ярости, грудь на груди смертельного врага, рыцари душат друг друга. Мечь воспламеняет Вигберта, страх смерти сугубит силы магистра, — они крутятся, скользят и падают оба! Идут, идут спасители — оружие гремит, крики их раздаются по коридорам; с треском упали двери, воины магистра с мечами и факелами ворвались в комнату... но уже поздно!

Кровь Рорбаха оросила помост — преступление свершилось!

Не стало магистра, но власть его осталась, и самосудный убийца, растерзанный муками, погиб на колесе¹.

¹Описанное здесь происшествие случилось в 1208 году. Смотри первый том *Истории Ардта*. (Примечание А. Бестужева.)

Ненавижу в Серрате злодея; но могу ли вовсе отказать в сострадании несчастному, увлеченному духом варварского времени, силою овладевшего им отчаяния?..

1823 год

НАЕЗДЫ

ПОВЕСТЬ 1613 ГОДА

(Фрагменты)

ГЛАВА III

Наши путники под завесою темноты счастливо пробрались довольно далеко внутрь Люцинского повета.

— Вот и сам Люцин, — сказал Зеленский князю Серебряному, и князь взглянул направо: денница занималась, ленивый туман волнами поднимался с зубчатых стен замка, стоящего на холме, — и тихо лежал городок у ног его. Еще ни одна дверь не чернела, ни с одной трубы не вился дымок, и окружный лес, понемногу рассветая, отрясал на путников холодную росу. Далее к Режице (старинному Розитену) виды становились еще живописнее. Холмистый край испещрен был озерами, над стеклом коих бродили махровые пары; и дикие рощи, и зыбкие тростники отражались в неподвижном их лоне. Порой только звучно прыгала из воды щука или ныряла дикая утка; струи разбегались кругами и, зыблясь, сливались в зеркале.

Зеленский ехал впереди и удачно поворачивал то вправо, то влево на тропинки, иногда для сокращения дороги напрямиком, иногда объезжая деревни околицами.

— Ты славно знаешь все закоулки, — сказал ему князь Серебряный, — я не ошибся, положась на слова твои заране.

— Как мне не знать этого края! Мы целый месяц стояли здесь с гетманом литовским Карлом Ходкевичем, собирая силы на шведов, — да потом и разгромили их в прах, даром что их было втрое более. В то время я служил у пана Опалинского и не сходил с коня на полеванье. Зверям от нас было не лучше житье, как и людям, и я

волей и неволей должен был узнать наизусть все заячьи стежки.

— Скажи, пожалуй, отчего мы не проехали ни одной деревеньки, которая бы походила на другую? В иных наши русские избы с узорными полотнами по кровле и высокими деревянными трубами в прорезе; в иных мазанки, с горшком для дымовья, в иных чухонские лачуги, у которых из каждой щели, как из жерла, чернеет копоть.

— Изволишь видеть, князь, край этот зовется теперь Польскими Инфантами¹ и уступлен Польше немецкими рыцарями. От этого здесь есть и чудские переселенцы, и туземные латыши, и старинные литовцы, и настоящая польская шляхта, и беглые русские, которыми в особенности заселены пограничья. Да и между панамы такой же сброд: кто немец, а кто литвин, кто барон, кто князь.

... В это время они встретились с бедным крестьянином, который на низкой некованой тележке ехал за сеном и, завидя всадников, опрометью своротил с дороги и опрокинул в овраг свою повозку, — но вместо того чтоб поднимать ее, он только боязливо кланялся проезжим. На истощенном лице его написана была жалкая простота. Белый изношенный балахон прикрывал тело.

— Далеко ли до Самполя? — спросил князь.

— Близко, паночек, — ответил тот по-русски.

— Это значит, дай Бог поспеть туда к обеду, — заметил Зеленский, — здешнее "близко" длиннее коломенской версты.

— Однако ж как близко, добрый человек? — повторил князь.

— В старину было пять миль, паночек, да панья смилдовалась: велела только трем быть.

— Добрая же у вас панья.

— И храни Бог, какая добрая: сама нам сказывает, что за нас в церкви молится; да пан эконома нас обманывает: последнюю корку и курку отнимает, а в год кожи две, три обновит — а все говорит: "Панья велела".

— Ну, брат Зеленский, это, видно, по-нашему: у ханжей и на Руси одним кошкам масленица.

— Какое сравнение, князь, житью русского мужичка с польским — тот не продается наряду с баранами, и,

¹Правильно: Инфлянты (нынешняя Латгалия).

дождавшись Юрьева дня, — поклон да и вон от злого боярина. А здесь холопа и человеком не считают; его же грабят да его же и в грязь топчут. Я знаю одного пана, который отдает выкармливать своих щенков кормилицам, отымая у них грудных младенцев.

— Это клевета, — сказал Серебряный, содрогнувшись.

— Дай Бог, чтобы это была клевета. Что греха таить, князь, я вырос на отнятом хлебе, я привык с малолетства гулять на счет крестьянина и в чужбине и на родине; совесть у меня не из застенчивых, а, право, сердце поворачивается, когда посмотришь, бывало, что делают паны со своими холопами.

Князь долго ехал в молчании... время летело.

(...) Между тем, покуда происходили объяснения и приглашения, князь стоял верхом у въезда и рассматривал гербы на каменной ограде, которые, подобно негодным травам, развевались повсюду. На самом своде ворот прибит был раскрашенный железный щит, и плющ в самом деле прибавлял к нему украшения, не внесенные в печать; зато домовитые ласточки залепили верх его гнездами, не забываясь, что эта вывеска тщеславия дороже хозяину драгоценнейших картин; но, странная вещь, предрассудок, воздвигнувший этот щит, оставил в покое ласточек по другому предрассудку — как будто в доказательство, что внушения природы побеждают заблуждения ума. (...)

ГЛАВА VI

(...) Тяжелые кареты, линейки и брички потянулись к костелу через грязное местечко. (...) Неопрятные домишки, казалось, кланялись прохожим или ожидали первого ветра, чтобы повалиться. Маленькие окошки, очень похожие на глаза с бельмами, заклеены были бумагою или тряпками. (...)



(...) Колокольный звон встретил Колонтая, и высыпавший на паперть народ низко кланялся и раздавался врознь, когда он важно шел в средину. Казалось бы, у престола Всевышнего человек должен был забыть или, по крайней мере, умерить гордость свою, — напротив, он выказывает ее в храме больше, чем где-нибудь, и выставляет себя, как на идолопоклонение. Кудрявые гербы, пышные

балдахины, богатые подушки, неприступные перины отделяют и отличают его от собратий — он и тут не хочет казаться человеком. Бегущие впереди Колонтая пахолики¹ с ковриком и молитвенником не очень учтиво толкали дробных шляхтичей, комиссаров и экономов и, наконец, простой народ и без всякого внимания наступали на крестьян и крестьянок, которые по католическому обычаю лежали на полу крестом, распростерши руки, не слыша в набожном углублении шуму приезда.

Сиповатые органы прогремели, и началась служба. По окончании обедни патер удостоил прихожан латинской проповедью, которая, без сомнения, была превосходна, потому что ее никто не понял, не исключая, может быть, и самого проповедника. Большая часть дворянства, несмотря на изучение латинского языка, не больше понимала его, как турки арабский, и несколько десятков заученных пословиц, прибауток и судейских выражений заключали всю премудрость знаменитого шляхетства польского.

Все почтенные соседи, не успевшие приехать ранее, собрались в церковь и, как водится, приглашены были в замок. Званый обед продолжался чуть ли не до завтра, со всеми причудами того времени, и как ни привычен был князь Серебряный к долгим именованным обедам на родине, только этот оказался ему длиннее ноябрьской ночи. (...)

¹Пахолик — малый, парень; батрак, работник.



ДИНАБУРГСКИЙ МЕЧТАТЕЛЬ (ВИЛЬГЕЛЬМ КЮХЕЛЬБЕКЕР)

”РОДНОГО НЕБА СВЕТ...”

Узник Динабургской крепости Вильгельм Кюхельбекер в глубокой задумчивости, отрешенно бредет по мощенной горбатым камнем, затоптанной ”плац-форме”. И снова, как вчера, как неделю назад, не может оторвать взгляда от давнего своего знакомого — медноствольного, в два обхвата дуба. Рассекая булыжник у сторожевой будки, он вознес свою крону к самым облакам и в ноябрьское ненастье зеленел молодо и свежо. Пройдет три года, и на другом тюремном дворе, в Свеаборге, Кюхельбекер увидит в белой кипени клен. Возникнет тема деревьев-невольников. Вспомнятся иные места, иные — неоглядные, привольные — рощи...

*Скажи, кудрявый сын лесов священных,
Исполненный могучей красоты,
Средь камней, соков жизненных лишенных,
Какой судьбою вырос ты?*

*Ты развился перед моей тюрьмой...
Сколь многое напоминаешь мне!
Здесь не с кем мне... поговорю с тобою
О милой сердцу стороне:*

.....

Тогда с берегов смиренной Авиноры¹,
В лесах моей Эстонии родной,
Впервые жадно вдаль простер я взоры,
Мятежной мучимый тоской.

.....
("Клен", 2 июня 1832 года)

Нет, не напрасно поэты пушкинского круга считали Кюхельбекера "человеком из детства". Образ Эстонии, "угрюмых и диких ее лесов", "блат непроходимых", "Чудского бурного озера", "сурового и мужественного народа", никогда не покидал поэта. И за решеткой не расставался он с волнующими душу ландшафтами Причудья: "роскошно-свежими равнинами", "мшистыми холмами", ручьями, текущими в "звонких камышах".

Мы смутной жизни перемены
И не предвидели вдали —
Здесь тихо наши дни текли!
И мы — вовек их не забудем!
И мы средь жизненных сует
Всегда и всюду видеть будем
Тебя, родного неба свет!
Тебя, пленивший наши взоры,
Манивший далеко наш дух,
Ручей прекрасной Авиноры!

("К брату")

Незадолго до Сенатской площади и Динабурга поэт, один из подвижников тайного Северного общества декабристов, снова обращается к Эстляндии: "Воскресите в моей памяти... вы, ели, до небес восходящие, сосны темно-зеленые, вековые дочери Эстонии ... ныне вспоминаю вас! Тебя ... холм авиноромский, препоясанный извилистым ручьем; тебя, песчаный Ненналь²... С берегов Невы, из пышных стен Петрополя, перенесенный младенцем на берега Пейпуса³, вовеки не забуду градищ⁴ твоих, земля

¹Авинора — река в Эстонии.

²Ненналь — теперь Неннале, имение отца Кюхельбекера на северо-западном берегу Чудского озера.

³Пейпус — эстонское название Чудского озера.

⁴Градище — городище.

моих предков, твоего первобытного племени, обычаев, нравов, преданий твоих!" ("Адо")

В одиночной камере рождались раздумчивые и звонкие строфы поэмы "Давид", но и библейские сюжеты вызывают ассоциации с отчим краем. И опять в стихах мотивы родины, невозвратной детской и отроческой поры:

*Меня же не увидишь, Авинора,
Журчащий в сладком сумраке ручей!
Мне не бродить в тени родного бора;
Не зреть, отец, могилы мне твоей:
Вы умерли для узничьего взора,
Свидетели моих счастливых дней.*

И позднее, в других казематах, Кюхельбекер в грезах своих вновь и вновь возвращается в Лифляндию. Поводы для того были самые разные. Ранней весной 1834 года в камеру попадает журнал "Московский телеграф" с главами из книги И. Лажечникова "Последний Новик", и свеаборгский затворник видит себя рядом с героями романа на проселках Лифляндии, взыскательно вглядывается в "топографию Нейгаузена и окрестностей". Решительное предпочтение он отдает "изображению Паткуля, военного суда, раскольника..."

"Вдохновительные" мечтания и дивные сны не оставляли Кюхельбекера ни за тюремным запором, ни в минуты прогулок "по плац-форме". В дневнике, неразлучном собеседнике в неволе полтора нескончаемых десятилетия, обжигают своей доверительностью строки: "С неделю у меня чрезвычайно живые сны. Предпрошедшую ночь я летал или, лучше сказать, шагал по воздуху, — этот сон с разными изменениями у меня бывает довольно часто..."

Со многими подробностями вставала в памяти поездка через Остзейский край в Западную Европу. Было это осенью 1820 года. Новый секретарь директора императорских театров А. Л. Нарышкина, Кюхельбекер не только поддерживал с вальяжным сановником и его людьми галантные разговоры, но и стремился многое увидеть, многое понять. Будущий сподвижник Кондратия Рылеева, жаркий приверженец тираноборческих воззрений погружался в самую гущу европейского бытия, в атмосферу "борьбы народов и царей". И все время, изо дня в день, он вел путевой дневник.

Восьмым сентября помечены первые остзейские страницы. Узнаем: таких домов, как в Нарве, не сыскать и в Петербурге — готического облика, устремленные ввысь, с изречениями из Священного Писания на фронтонах. Дневник рассказывает нам: "Вид города чрезвычайно живописен. Развалины Иван-города как будто еще и теперь, подобно привидениям воителей, устрашают Нарву". Все, что напоминало о былом величии эстляндской крепости, занимало автора дорожных заметок. И грозные фортификационные укрепления, перед которыми даже всесильное время отступало. И наугольные башни, напоминавшие двух рыцарей накануне смертного турнира. Прелюбопытными людьми оказались и уездные обыватели. Лаковая, с затейливыми вензелями нарышкинская карета казалась им "осьмым чудом света". За знатными петербуржцами "езде следовали толпами", глазели на них из всех окон, из всех дверей...

Дерптский тракт... Где-то за ближним лесом родовое гнездо путешественника. Эту мызу Карлу Генриху фон Кюхельбекеру, "директору и устройтелю" Павловска, пожаловал сам император. Там же, в нескольких верстах от имения, нашел свой вечный покой его владелец. Родителя своего, по тому времени замечательно образованного, наделенного многими талантами, сын помнил всегда. Младший Кюхельбекер гордился отцом — воспитанником Лейпцигского университета, студенческим сотоварищем самого Вольфганга Гете, самого Александра Радищева. Общение с первым русским вольнодумцем не прошло для него бесследно. И соседние помещики, и пасторы, и сами земледельцы говорили о редкостных человеческих достоинствах Карла фон Кюхельбекера. Бесправные люди перестали наконец страшиться расправы за малейшую провинность. Еще совсем недавно старые их господа без тени стыда глумились над ними. Чету Кюхельбекеров и старшую их дочь постоянно — и в радостные часы, и в дни печали — видели в крестьянских избах. Пришло время, и сын в чем-то существенном, корневом повторил отца. Такое же совестливое отношение к людям. Обнаженное чувство справедливости. Страсть к искусству. Верность в дружбе. В этом — и в годы ученья, и в послелицейскую пору — убедились Александр Пушкин, Антон Дельвиг, Иван Пущин, мужественный мореход, исследователь Ледовитого океана Федор Матюшкин...

И в последние свои дни ссыльный Кюхельбекер не расставался с отчим краем. Помнились мальчишеские игры на песчаном озерном берегу, попытки разговаривать со сверстниками по-эстонски, захватывающие дух рыбацкие легенды. Отголоски "нежных лет" слышны в повести "Адо" — бесспорно лучшим прозаическом произведении Кюхельбекера. Непокойная, полная боли, унижений, тревог остзейская старина оказывается неотторжимой от средневекового русского Северо-Запада.

... Эстонец-возница торопил лошадей. В стороне оставались "врата учености" Вильгельма Кюхельбекера — частный пансион при уездном училище в лифляндском городе Верро¹. Содержал его Иоганн-Фридрих Бринкман, судя по всему человек просвещенный, одаренный педагог. В "Путешествии" Кюхельбекер называет его "добрым своим воспитателем". Провинциальное училище в Верро по уровню образования на равных соперничало со школами такого же типа в Нарве, Дерпте, даже в самой Риге. И сегодня учебный план, которым руководствовались наставники Кюхельбекера, поражает разносторонностью, желанием пойти навстречу самым разным запросам воспитанников. Занятия физикой, математикой, природоведением чередовались с антропологией, моралью, мифологией, Законом Божьим. Уроки латыни, французского и немецкого языков, географии, истории, законоведения сменялись основами архитектуры, рисованием, каллиграфией.

... Университетский Дерпт Кюхельбекер навещал не раз. И в отроческие годы, и в дни вояжа с Нарышкиным. В Динабургской цитадели, сквозь призму лет, виделись зыбкие контуры двухэтажного Дерпта. Гостиная графини де Декер. Нищая с младенцем на руках у подъезда аристократического особняка. На коленях молила она о сострадании. Но протянутая рука оставалась без милостыни. Мгновенно Вильгельм оказался рядом с обездоленной и отдал ей единственный свой полтинник. Этим поступком он тронул сердце своего отца и всех, кто тогда наблюдал за ним.

Вставали в памяти дни, проведенные в семье старшей сестры Юстины и ее мужа Григория Андреевича Глинки, профессора русского языка и словесности Дерптского университета. Тогда же стало известно: в самом скором

¹Теперь Выру.

времени неподалеку от Петербурга открывается учебное заведение для детей известных дворянских фамилий...

В который раз странствующий по родному краю нарышкинский секретарь мысленно возвращался в заснеженный Верро, в класс любимого учителя Бринкмана. Матушка, провожая Вильгельма в лицей, усаживала его в пароконную бричку и оба они не могли сдержать слез...

Но это еще не было последним прощанием с Лифляндией. В 1820 году Кюхельбекер письменно обращается к ректору Дерптского университета, ходатайствует о должности профессора русской словесности. Так своему неустроенному другу советовал поступить В. Жуковский. Но в высших университетских кругах что-то не связалось и назначения не последовало.

Еще в лицейские годы две стихии — русская и немецко-балтийская — естественно соединились в юном лифляндце и во многом определили этнопсихологический, гражданский облик, внутренний мир поэта и декабриста. Нет, в царскосельских классах лицейств из Ненналя был далеко не единственным остзейцем. В каждом пятом своем сотоварище он видел потомка старинного дворянского рода из Лифляндии, Эстляндии или Курляндии. Но только он, Вильгельм Кюхельбекер, из всех воспитанников Егора Энгельгардта долицейское образование получил в Прибалтийском крае.

Дорожные впечатления о Нарве и Авинорме завершаются многозначительным четверостишием:

*О колыбель моих первоначальных дней,
Невинности моей и юности обитель!
Когда я освещусь опять твоей зарей
И твой по-прежнему всегдашний буду житель?*

Стало быть, о возвращении в родной край, не на время — навсегда, Кюхельбекер мечтать не переставал...

Подчас кажется: природа одарила поэта-странника кинематографическим зрением. Вот он дает панораму общих планов: "За Дерптом природа уже гораздо свежее, и чем более приближаешься к Риге, тем она становится разнообразнее и живописнее". Потом ландшафтные картины укрупняются, вбирают какие-то подробности, детали: "... перед самою столицею Лифляндии пески несносны"; "Предместье красиво..."; "город... по большей части

архитектуры готической". Но на улицах лифляндской столицы камера, к нашему сожалению, "уходит в затемнение", и мы не видим обаятельных сцен городского быта. Причина тому — внезапный недуг автора "Путешествия". Более повезло западной Латвии. Все вокруг Кюхельбекеру кажется достойным внимания: "Замок Доблен, развалины из веков рыцарских, лежит прелестно на зеленом круглом холмике над водою и весь обсажен деревьями". Курляндские наблюдения — и этнографические, и природные — отличаются особой остротой: "... огромные сосны, ели, липы и березы здесь возвышаются... и напоминают древних богов: Перкуна, Пикола и Потримбоса, которым леты приносили жертвы под их исполинскою тению". Поименно названные языческие боги вскоре придут на страницы повести "Адо".

Безраздельно преданные свободе и вере отцов причудские племена защищают в неравных боях свои земли от нескончаемых вторжений орденских рыцарей. Обращенные в католичество эстонцы и латыши (и среди них "вождь двинских летов" Икскуль и брат его Мадис) вовсе не забыли старых своих богов и в самые горестные времена ищут заступничества у Перкона, Пикола, Потримбоса.

С краем латышей это повествование соотносится не только обращенностью к "летским богам и вождям". В событиях, исполненные напряженного драматизма, оказываются вовлеченными и Рига — резиденция верховного правителя Ливонии епископа Альберта, и Венден — гнездо магистра Ордена меченосцев. В сложные политические, военные, религиозные конфликты втянуты и эстонские земли вокруг "холма Авиноромского", и "господин Великий Новгород". Влияние его распространялось далеко, до самого Балтийского моря, и далее — на всё пространство не знающего соперников Ганзейского союза.

Повесть "Адо" подкупает многим: и завидными знаниями автором истории, этнографии, мифологии племен этого края. И свободной его ориентацией в политических, военных, религиозных перипетиях раннефеодальной эпохи.

И еще одно обстоятельство. Глубоко верующий лютеранин, Кюхельбекер, работая над повестью, испытывал противоречивые чувства. С одной стороны, он во всем был на стороне эстонцев, противостоящих меченосцам. Однако

значительная их часть в те времена еще оставалась в плену языческих верований. И писатель, развивая тему о вызволении жителей Авинорма из рыцарской кабалы и спасении их заблудших душ, приводит главных героев "Адо" в лоно православия. В этом соседнему народу помогают новгородцы. Однако освободительный поход Ярослава Всеволодовича, разгром меченосцев у стен города Юрьева (Тарту) носили "эпизодический характер". "Несчастья, — пишет автор, — постигшие Россию целые пятьсот лет¹, препятствовали ей воздвигнуть народ², с которым была соединена узами приязни еще до времен Рюрика".

Тогда, в остзейских своих странствиях, Кюхельбекер заметил: "В Курляндии мало дубов; но лишь только введешь в Пруссию, как везде встречаешь это народное тевтонское дерево". Как видим, даже такой равнодушный к Прибалтике путешественник, как Кюхельбекер, в своих пейзажах, увиденных из окон быстрой кареты, оказывается не всегда точным. Во-первых, дуб как культовое дерево почитали священным не только тевтоны, но и древние балты. Более того, в дайнах дуб олицетворяет красоту и силу латышских юношей, их нерасторжимую связь с землей отцов.

Среди итоговых суждений об остзейских встречах в пути есть и такое: "Леты вообще гораздо лучше из себя эстов и финнов; особенно между их молодыми мужчинами встречаешь лица и головы, которые бы не испортили статуи пригожего Сильвана³ или даже Антиноя..."

Не смог автор дневника сдержать своих чувств, увидев после долгой разлуки безбрежные просторы Балтики: "... вечер был самый поэтический; облака, от вечерней зари,

*Летя, сияли,
И, сияя, улетали*

за далекий, величественный, ясный небосклон; море кипело..."

Митава... Дворцы, возведенные самим Растрелли, необыкновенные их обитатели. Самая заметная среди них —

¹В. Кюхельбекер имеет в виду и набеги степных народов, и татаро-монгольское нашествие, и междоусобицы князей-феодалов.

²"Воздвигнуть народ" — в данном случае: возродить.

³Сильван — бог лесов, полей, покровитель стад.

остзейская мемуаристка Шарлота Элизабета Констанция фон дер Реке. Это была дочь графа Медема, вечного соперника Бирона, родная сестра Анны Шарлоты, будущей герцогини Курляндской. Шарлота Элиза, как и весь громкий род курляндских Медемов, оказалась безоглядной почитательницей заезжей знаменитости Калиостро. Кюхельбекер знал книгу Реке¹ и не разделял ее восторгов. В конечном счете и для первой дамы Курляндии стало ясно: Калиостро — не более чем мистификатор, авантюрист, враль. С автором некогда знаменитых мемуаров Кюхельбекер повстречался в Дрездене. И тогда же, по живым впечатлениям, Шарлоту фон дер Реке назвал в своем дневнике "почтенной, величавой, кроткой любимицей муз".

Кюхельбекеру были известны и другие видные остзейцы. Одни из них носили громкие имена. Им принадлежали труды, к которым обращались многие. Вклад других в духовное наследие европейских народов оказался более скромным. Третьи были или сослуживцами, или мгновенными знакомцами, или соседями по авинормскому имению Кюхельбекера.

В "Вестнике Европы" прочел он "очень занимательную статью Гарлиба Меркеля "Путешествие Жан-Жака Руссо в Параклет"². Не оказался незамеченным русским поэтом и другой близкий Лифляндии человек — Иоганн Готфрид Гердер. Поэт высоко ценил его проповеди, притчи. Одну из них, "Венец небесный" — о юной монахини, для которой самый низкий труд — наслаждение: он делает ее святой, Кюхельбекер, став ссыльным поселенцем, пересказал по-русски. Занимала Кюхельбекера и личность Гамана³. Об этом свидетельствует дневник. "Как бы прочесть когда-нибудь Гамана? — это истинно должно быть человек необыкновенный: Гете, Гердер, Шеллинг говорят о нем с величайшим уважением. Замечу, что Гаман лифляндец" (4 января 1835 года).

¹Описание пребывания в Митаве известного Калиостро на 1779 год и произведенных им там магических действий, собранное Шарлотой Елисаветой Констанцией фон Реке (Санкт-Петербург, 1787)".

²Параклет — место, где по преданию покоится Элоиза, героиня романа Руссо.

³Гаман Иоганн Георг (1730—1788) — немецкий философ и духовный писатель.

И в крае ссыльных, Сибири, Кюхельбекер сходиллся с выходцами из Остзейского края. И каждый из них находил участие, понимание, душевный отклик.

Барон Александр фон дер Бригген, тоже литератор и декабрист... В Кургане он нередко заглядывал в избу товарища по судьбе. Страницы из кюхельбекеровского дневника запечатлели возвышенные разговоры: "Фон дер Бригген прочел мне 4-ю и 5-ю главы своего "Цесаря": пятая очень занимательна и в высокой степени оживлена драматическим интересом" (15 мая 1845 года).

Тяжкой оказалась доля сподвижника Кюхельбекера по тому же Северному обществу и 14 декабря барона Андрея Евгеньевича Розена. О "каторжном работном человеке в Петровском заводе" в своих письмах к Вильгельму рассказывала родная его сестра Юстина Карловна Глинка.

В недолгие дни службы под началом генерала Ермолова звал поэт и другого Розена, Мартына Карловича. В четырнадцатом году он брал Париж. Через три года был разжалован в рядовые. Служил на Кавказе. Там, в Георгиевске, и повстречался Кюхельбекер с опальным офицером, своим эстляндским одноземцем.

*В дороге жизни на мгновенье,
Земляк, я встретился с тобой
И полюбил тебя душой.
И грустно для меня с тобою разлученье!
Одной подвластны мы судьбе:
Ко мне она была сурова,
Не слишком ласкова к тебе;
Но что прошло, о том ни слова!*

(*"К барону Розену"*)

"А СЕРДЦЕ ГОЛОДНО..."

...Третье свидание Кюхельбекера с Балтией оказалось некончаемо долгим, горьким, безысходным.

Дождливым темным днем 16 октября 1827 года в ворота Динабургской крепости въехали четыре тройки. Среди "ослушников" — сопровождал их специально приставленный жандармский фельдъегерь — был и "опасный государственный преступник" Вильгельм Кюхельбекер.

И надо же было такому приключиться: за два дня до динабургского плена небеса подарили Кюхельбекеру свидание с Пушкиным. О минутной этой встрече на почтовом дворе белорусского села Залазы до последнего своего часа не забывали ни Пушкин, ни его "брат родной по музе, по судьбам". 20 октября 1830 года из Динабурга Кюхельбекер обращается к Пушкину: "Помнишь ли наше свидание в роде чрезвычайно романтическом: мою бороду? Фризовую шинель? Медвежью шапку? Как ты через семь с половиною лет мог узнать меня в таком костюме? вот чего не постигаю!"¹ Минутный разговор, объятия, слезы, возмущение жандармским произволом — весь этот необыкновенный спектр переживаний и чувств навсегда остался на страницах пушкинского дневника: "...Увидев меня, он с живостию на меня взглянул. Я невольно обратился к нему. Мы пристально смотрим друг на друга — и я узнаю Кюхельбекера. Мы кинулись друг другу в объятия. Жандармы нас растащили. Фельдъегерь взял меня за руку с угрозами и ругательством — я его не слышал. Кюхельбекеру сделалось дурно. Жандармы дали ему воды, посадили в тележку и ускакали. Я поехал в свою сторону. На следующей станции узнал я, что их везут из Шлиссельбурга, — но куда же?" (15 октября 1827 года)².

Сорок месяцев провел в динабургской цитадели осужденный на одиночное заключение и сибирскую ссылку непокорный поэт... Но не всегда в форте на Двине несли свой крест отверженные. В 1812 году солдаты динабургского гарнизона, поддержанные шквальным огнем батарей, остановили движение к Санкт-Петербургу тридцатипятитысячной армии французского маршала Удино...

Комендантом крепости по милостивому стечению обстоятельств оказался Егор Криштофович, давний знакомый семьи Кюхельбекеров. Полковник не переставал оказывать своего покровительства "крепостному арестанту номер 25". Узник находился в отдельной камере. Не участвовал в общих работах. Питался не из казенного котла. Одевался в собственную, не арестантскую одежду.

¹Друзья Пушкина: Переписка, воспоминания, дневники. В двух томах. Т. I. — М., 1985. С. 246.

²Там же.

Переписывался не только с матерью и сестрами — это разрешалось, но и с другими близкими по духу людьми.

Случались отрадные ночные видения. Кюхельбекеру являлись Грибоедов, Пушкин, Дельвиг, Катенин. Никому не было дано отторгнуть их от него. Насильственно вырванный из литературной среды, лишенный общения с друзьями и родными, узник вел с ними нескончаемый диалог:

*Незабвенных, дорогих
Наслажуся разговором:
Повстречаюся с их взором,
Уловлю улыбку их!*

(*"Ночь"*, 1828 год)

Искусный конспиратор, Кюхельбекер для почтовой связи приводил в действие разные "цепочки". И каждая из них надежно соединяла крепость и Петербург, Москву, Кавказ. Одна из таких потаенных троп привела неведомого чиновника к Пушкину и Грибоедову с листком из Динабурга, помеченным 10 июля 1828 года:

"Любезные друзья и братья поэты Александры.

Пишу к вам вместе: с тем, чтобы вас друг другу сводничать. — Я здоров и, благодаря подарку матери моей Природы легкомыслию, не несчастлив. Живу, (...) пишу. — Пересылаю вам некоторые безделки, сочиненные мною в Шлиссельбурге. Свидания с тобою, Пушкин, ввек не забуду...

Простите! Целую вас.

В. Кюхельбекер".

Беглыми этими строками перекличка с Пушкиным не ограничилась. Подумать только: Кюхельбекер, надеясь и веря, зовет Пушкина в Динабург!

"Любезный друг Александр.

Через два года наконец опять случай писать к тебе... От тебя, т.е. от твоей псковской деревни до моего Помфрета¹, правда, не далеко; но и думать боюсь, чтобы ты ко мне приехал... А сердце голодно: хотелось бы хоть взглянуть на тебя!"

В этих письмах всё: и нежность к сотоварищу с отроческой поры, и почтительное отношение к гению. И неодолимое желание: пусть самому Пушкину, а вслед за ним и читателям станет известным все созданное в застенке —

¹Помфрет — замок, упоминаемый в "Ричарде II" В. Шекспира.

стихи, проза, переводы. Позднее, в ревельском заточении, особенно в свеаборгском каземате, Кюхельбекер не смел и мечтать не только о приезде Пушкина, но даже о весточке из Петербурга. Теперь это могло бы навлечь на друга крупные неприятности. Об этом он за время предупреждает родных. "Если он (А. С. Пушкин. — Авторы.) мне еще не писал, то я прошу одного из моих племянников ... посетить его и сказать ему от меня, что я прошу его мне не писать. Письмо от него было бы для меня чрезвычайно приятно, но это могло бы не понравиться и повредить ему" (17 августа 1833 года).

Кюхельбекер полагал: связать его с волей сможет и острожник той же Динабургской крепости, штаб-ротмистр Сергей Оболенский. За своеволие и непокорный нрав, за непочтительное письмо командиру дивизии его продержали полтора года в тюремном режиме. Полгода из них в Динабурге. Волею случая он оказался в соседней с Кюхельбекером камере. Когда неугодного начальству боевого офицера отправили под пули горцев, Кюхельбекер воспользовался неожиданной оказией и передал записку Александру Грибоедову: "...хочу верить в человечество, не сомневаюсь, что ты тот же, что мое письмо будет тебе приятно. Ответа не требую — к чему? Прошу тебя, мой друг, быть, если можешь, полезным вручителю: он был верным, добрым товарищем твоего В(ильгельма). В продолжение шести почти месяцев он утешал меня, когда мне нужно было утешение. Он тебя уведомит, где я и в каких обстоятельствах. Прости! До свидания в том мире, в который ты первый вновь заставил меня веровать".

Когда Кюхельбекер узнает о персидской трагедии правдолюбца, художника, человека, которого ставит выше всех известных ему людей, складываются проникнутые болью и горечью строфы:

...Но вдруг

Ты что-то часто, брат и друг,
Златую предваря денницу,
Спускаться стал в мою темницу,
Или зовешь меня туда,
Где ты, пара под небесами,
Ликуешь с чистыми духами,
Где вечны свет и красота...

("Памяти Грибоедова", 1829 год)

Дошло до нас не совсем обычное письмо динабургского офицера Тадеуша Скржидлевского, адресованное Кюхельбекеру. Польский друг русского поэта несколько неожиданно вспоминает "старшего учителя русской словесности в Рижской гимназии, милого А. А. Бернгофа". Оказывается, в Петербурге А. Дельвиг читал педагогу из Риги драматическую ("в лицах") поэму-мистерию Кюхельбекера "Ижорский". Многостраничную рукопись этого произведения из Динабурга тайно доставили в северную столицу. Бернгоф — узнаём из этого же эпистолярного свидетельства — пришел в полный восторг и убеждал пользующихся его доверием людей, что только Кюхельбекеру дано "разделить славу с Мицкевичем". Т. Скржидлевский сожалеет об одном: почитателю Кюхельбекера не удалось раздобыть поэму "Давид". Тогда-то бы он в полной мере узнал силу мысли и силу слова двух лучших его созданий. Тому же Бернгофу на какое-то время суждено было стать соединительным звеном между динабургским узником и его литературными единомышленниками.

Случалось, на плацу Кюхельбекер обменивался несколькими фразами с гарнизонными офицерами. Чувствуя расположение к заключенному своего начальника, они стремились облегчить участь поэта. Одни из них были увлеченными книголюбцами, другие не чурались литературных занятий. Более других симпатизировал Кюхельбекеру Александр Шишков. Бескорыстная его приязнь вызывала ответное чувство. В упомянутом выше письме от 20 октября 1830 года Кюхельбекер пишет из крепости Пушкину: "У меня здесь нет судей. Манасеин уехал, да и судить-то ему не под стать. Шишков мог бы, да также уехал". Это короткое сообщение вызывает вопросы. Во-первых: за какие доблести динабургский поручик удостоился чести попасть в письмо, адресованное самому Пушкину? Как выясняется, А. Шишков был сочинителем от Бога и на удивление плодовитым. Кюхельбекер вдохновил его приняться за перевод "Конрада Валленрода" Адама Мицкевича, где слышны отголоски давнего противоборства народов Балтии рыцарям-завоевателям. В 1831 году увидел свет главный труд Шишкова-переводчика — четырехтомный "Избранный немецкий театр". Во-вторых, такой строгий, не знающий уступок совести критик, как Кюхельбекер, ставил Александра Шишкова в один ряд с

писателями первой величины: "Люди с талантом (...) Баратынский, Языков, Козлов, Шишков-младший (...) умели перенять его (А. С. Пушкина. — Авторы.) слог" (Дневник, 5 августа 1832 года).

Об офицере динабургского гарнизона Петре Манасеине многие были наслышаны как сотруднике журнала "Сын Отечества", начинающем переводчике из немецкой и польской поэзии. Как верный, надежный человек предстает он в письме Кюхельбекера к Антону Дельвигу: "Ежели можешь, напиши мне на имя Манасеина... Но не поминай ни имени, ни фамилии моей. Податель мне письмо доставит не скоро, зато верно" (18 ноября 1830 года). В этой же "грамотке" Кюхельбекер просит Дельвига, пользуясь услугами того же Манасеина, переслать в крепость двадцать экземпляров поэмы "Ижорский".

Динабургский круг Вильгельма Кюхельбекера составляли и воспитанники школы прапорщиков. При каждом удобном случае они вступали в разговоры с автором "Ижорского". Польский поэт и фольклорист Александр Рыпинский оставил воспоминания о Кюхельбекере. Их автор в юнкерские свои годы и его сотоварищи по школе Александр Понговский и Тадеуш Скржидлевский самовольно оставляли классы, навещали Кюхельбекера то в лазарете, то в камере. Рыпинский вызвался перебелить для печати только что завершенную кюхельбекеровскую трагедию о Шуйском и его времени. Запомнились мемуаристу и суматошные, полные недобрых предчувствий и тревог дни, когда в крепость наезжали высокочиновные инспектора. В этих случаях Кюхельбекеру "брили по-арестантски лоб" и приказывали "с киркой в руках" "впрягаться в тачку"... Общение с динабургскими поляками имело для русского поэта не только личные, но и литературные последствия. Он оказался в состоянии на языке подлинника читать стихи Ю. Немцевича и Э. Одынца. К кому-то из юных своих единомышленников Кюхельбекер обратился с посланием:

Для узника ли взоров страстных

Восторг, и блеск, и темнота? —

Погаснет луч в парах ненастных:

Забудь страдальца, красота!



(*"Любовь узника"*, 1829 год)

Стараниями полковника Криштофовича и его супруги, дружески расположенных к нему динабургских офицеров Кюхельбекер мог предаваться литературным занятиям. Многие часы отдавал чтению. Снова и снова возвращался к Шекспиру и Гете, Пушкину и Дельвигу, Баратынскому и Бестужеву (Марлинскому), Карамзину, Катенину и Кукольникову, к немецким, французским, английским изданиям. Иные журналы попадали в камеру с многолетним опозданием. Но и в старой периодике — и об этом свидетельствует дневник — Кюхельбекер находил для себя немало любопытного. В одном из московских архивов хранится список книг, которые полковник Ярмершет доставлял Кюхельбекеру из рижской библиотеки. И Пушкин заботился о том, чтобы за тюремные стены попадали издания, в которых Кюхельбекер испытывал особую нужду. И анонимно публиковал ключевые главы из поэмы "Ижорский". В альманахах "Северные цветы" и "Подснежник" рожденные в неволе строфы напечатал Дельвиг. "Ижорский", поэма "Давид", незаконченный роман "Деодат", драма "Зоровавель", переводы шекспировских трагедий "Макбет", "Ричард II", "Генрих IV", афоризмы, стихи... Таким предстает далеко не полный перечень созданного в динабургском заточении...

Еще до петербургской публикации "Ижорского" в авторском чтении сцены из мистерии слышали воспитанники динабургской школы прапорщиков, офицеры. В "Предисловии" автор высказывает свое отношение к главному герою драмы: Ижорский "самонадеян, заносчив и горд. Ему около 30 лет; он — натура мощная, но до крайности раздражительная, душа его требует не наслаждения — он пресытился наслаждениями, — но сильных, почти болезненных потрясений".

Чем же сегодня этот сотканный из противоречий образ привлекает наше внимание? Думается, в первую очередь близостью своей к Онегину. Вслед за Пушкиным в поколении 20-х годов Кюхельбекер осуждает неприкаянность, душевное равнодушие, опустошенность. Не без основания высказывалось мнение: следы воздействия "Ижорского" несут на себе и пьесы Лермонтова, и его Печорин. В то же время мистерия в чем-то полемизирует с Пушкиным — автором "Онегина", в чем-то предвосхищает Печорина.

Исповедальной силы отклик на поэму "Давид" находим в кюхельбекеровском письме Пушкину: это "частная, личная исповедь всего того, что меня в пять лет моего заточения волновало, утешало, мучило, обманывало, ссорило и мирило с самим собою". Внутренний облик Давида, более других кюхельбекеровских персонажей, вобрал в себя и мятежную долю, и протестующую суть, и гений псалмопевца, нежность его и страсть. И предельно сложные, вселенского охвата чувства самого Кюхельбекера. Автобиографическое начало в поэме просматривается последовательно и рельефно. Через все неоглядное пространство поэмы, через все ее десять песен-глав, песен-книг нерасторжимо проходят и образ Давида, и лирическое "я" автора. Что же объединяет их? Это тяжкие испытания, это горести, беды, невзгоды, которые каждый преодолевает по-своему... Перед героем поэмы и его создателем время и обстоятельства оказались бессильны.



СЕВЕРНАЯ ВОЙНА, РАССКАЗАННАЯ ИВАНОМ ЛАЖЕЧНИКОВЫМ

В водоворот бурных событий Северной войны — о них повествует роман И. И. Лажечникова "Последний Новик", — в нескончаемые битвы на земле ливов втянуты русские и шведы, немцы и поляки, эстонцы и латыши. По каким же соображениям автор "Последнего Новика" избрал Балтийский край местом действия своего романа? Сам писатель объясняет это так: "... в живописных горах и долинах Лифляндии, на развалинах ее рыцарских замков, на берегах ее озер и Балтийского моря... колыбель... нашей торговли и силы..."

В 1814—1815 годах писатель жил в Дерпте. В ближних и дальних мызах осматривал он развалины некогда грозных замков. Все еще поражали воображение мрачные стены, черные рвы со многими осыпями и обвалами, полуразрушенные подъемные мосты, сторожевые башни с высокими бойницами... Овеянные легендами руины настраивали на романтический лад, будили чувство истории. В какие только источники — русские, немецкие, французские — не заглядывал писатель, стремясь к верному воссозданию батальных сцен, картин мирного быта. Все эти пестрые, нередко противоречивые сведения дополнялись личными впечатлениями. События, которым предстояло стать сюжетной основой повествования, требовали поездки в Северную Лифляндию, на поля былых сражений, в Мариенбург¹. Два месяца странствовал Лажечников

¹Ныне Алуксне.

по видземским проселкам. И алуксненский пастор Рюль (впоследствии этого редкостного знатока ливонской старины Лажечников назовет "человеком умным, любезным, достойно уважаемым ... своею паствою"), и его прихожане поведали необычному гостю предания о Северной войне, о горячих боях за Мариенбург, о казни храброго генерала Паткуля, вероломно выданного шведам, о пленении русскими войсками богослова и проповедника Эрнста Глюка. Окрестные крестьяне показывали, где располагался стан русских воинов, водили в места захоронений русских и шведских солдат, в мрачную "Долину мертвецов" неподалеку от Черной мызы, стороной обходили курную избу башмачника-чернокнижника...

Какая же идея вела Лажечникова в долгие годы работы над романом? Что хотел он сказать своей книгой соотечественникам? Чем руководствовался, прочерчивая сюжетные линии, отбирая события, эпизоды, имена? Ответы на эти вопросы находим у самого автора: "Чувство, господствующее в моем романе, ... есть любовь к отчизне". И еще немаловажные пояснения: на фоне "остзейских обычаев виднее русская народная физиономия"; "Главнейшие лица из иностранцев, выведенные в моем романе, сердцем и судьбой влекутся необоримо к России..." В авторском вступлении к "Последнему Новику", откуда взяты эти высказывания, есть еще одно достойное внимания обстоятельство: в романе нет и тени унижения ни русских, ни иноземных персонажей. По-своему, без распространенных в ту пору предубеждений, сумел Лажечников взглянуть на нравственную сторону русско-остзейских отношений, на сложности этнического плана.

Окрашенное в мягкие, пастельные тона повествование о седой старине перемежается то почти фантастическими видениями, даже откровенным чернокнижием и чертовщиной, то строго реалистическими картинами быта начала XVIII века, то решенными в романтической тональности любовными диалогами, то сценами грубого баронского самоуправства.

Роман многосюжетный, густонаселенный. Отсюда его временная всеохватность, географическая разбросанность. Идиллические картины — зеленые неоглядные долины, где пасутся тучные стада и пастушки распевают песни Лиго, соседствуют с достоверно воссозданными сценами.

Гостиная баронессы Зегевольд... В этом строгом высококонном зале поочередно происходят то шведские военные советы, то переговоры с наставником старообрядцев и супротивником Петра Андреем Денисовым, то встречи русских дипломатов с лифляндскими баронами. С поля сражений действие переносится в лагерь россиян, отсюда в раскольниковый скит. Читатель оказывается среди тех, кто в гибельных болотах гатил топи, возводил царьгород Петербург. Место завершающих событий, по-прежнему стремительных и напряженных, — Симонов монастырь под Москвой. В монашеской обители Последний Новик — отныне он схимник — искупает свое грехопадение и получает прощение от соратницы Петра, императрицы Екатерины Алексеевны...

На страницах романа И. Лажечникова предстают образы латышских крестьян, иноземных угнетателей, солдат и военачальников петровской армии. Среди них — доподлинные персонажи: мариенбургский пастор Эрнст Глюк и сметливая его воспитанница, которой суждено было стать российской императрицей, военный стратег и дипломат Иоганн Рейнгольд Паткуль, командир шведских отрядов Шлиппенбах, генерал-фельдмаршал Борис Петрович Шереметев, штык-юнкер Готтлиг, цейгмейстер мариенбургской крепости Вульф.

Событийные линии романа то и дело переплетаются с переменчивой судьбой Новика. Автор и персонажи называют его то Владимиром, то Вольдемаром. По авторской версии, побочный сын царевны Софьи и князя Василия Голицына, он был ревнителем допетровской Руси и лютым ненавистником царя-реформатора. После неудачного покушения на юного Петра Новик вынужден был бежать в соседнюю Лифляндию, где скрывался в раскольничьем скиту под присмотром фанатичного врага преобразенной России Андрея Денисова. Огонь и дым Северной войны пробудили совесть отступника. Искушая свое падение, он делает все возможное для победы русских полков.

Принимая в соображение биографии Лажечникова и Александра Бестужева, может показаться странным, что автора "Последнего Новика", который и в малой степени не разделял декабристских, антикрепостнических взглядов опального своего современника, занимают конфликты между баронами и подвластными им землепашцами. Вслед

за Радищевым и Меркелем Лажечников возвышает свой голос в защиту "себе подобных"... В полном соответствии с действительностью даются сатирически окрашенные портреты таких персонажей, как тщеславная баронесса Зегевольд, владелец замка, деспот и сластолюбец Фюренгоф, покорный ему клеветник Никлазон. Эта самая Зегевольд, к примеру, без всяких на то оснований пытается играть роль тонкого дипломата, прозорливой советчицы полководцев...

Хотя шведские власти и лишили остзейцев сословных привилегий, и самой главной из них — права на безраздельное владение крестьянами и мызными землями, лифляндская знать покорствовалась завоевателям и с открытой неприязнью относилась к политике Петра в Балтии. На эту сторону повествования обратил внимание А. Скабичевский. По его мнению¹, автор "Последнего Новика", создавая образы противников российского царя, очень рассчитывал на догадливость читателей, на их способность спроецировать события XVIII века в век девятнадцатый...

Среди тех, кто сочувствовал петровским нововведениям в Остзейском крае, — колоритные фигуры Паткуля и его единомышленников: лекаря Блуменроста, пастора Глюка. К ним тянутся люди простонародного звания (кучер Фриц, маркитантка Ильзе Трейман). Из главы в главу писатель развивает заветную для него мысль: податные сословия Лифляндии всегда тяготели к людям просвещенным и гуманным, готовым при любых обстоятельствах творить добро. Герои этого ряда, и Паткуль, и те, кто оставались ему верными, — на какой бы ступени общественной лестницы они ни находились, каждый по-своему — воплощали близкую Лажечникову идею необратимости исторического прогресса.

Многие эпизоды вводят читателя в эпоху позднего средневековья, знакомят с самыми разными событиями, которые предшествовали Северной войне. Это возведение Мариенбургского замка, дела и поступки разных его владельцев — "орденмейстера" Бурхарда Дрейлевена, наместников польских королей, шведских губернаторов. Не забывает повествователь о стрельцах и Афанасии Насатине —

¹Скабичевский А. Наш исторический роман в его прошлом и настоящем//Сочинения. Т. II. — Спб., 1890. С. 728.

их предводителя. В царствование Алексея Михайловича он взял Мариенбург и объявил его русской вотчиной. Минуло четыре года, читаем в "Последнем Новике", и бастион на северо-востоке Ливонии по мирному договору был возвращен шведской короне. Притом "обе стороны посчитались довольно жарко, к невыгоде наших предков..."

Стремясь к "верности натуре" во всем, Лажечников и географически точен. Говоря о Мариенбурге, он упоминает и русское название города — Алист, и латышское его имя — Алуксне. Верно обозначается местоположение замка: это уезд — прежде Розульский, во времена поездки Лажечникова — Венденский. Топографические подробности этим не ограничиваются. Автор считает не лишним сообщить и о тех расстояниях, которые разделяют видземский бастион от больших и малых городов, вовлеченных в военные действия.

Реконструируя местный колорит, Лажечников не только включает эстонские, латышские слова и речения, поговорки, присловья и легенды, но и трогательные этнографические подробности, романтические по настроению пейзажи. В разных главах "Последнего Новика" слышатся голоса крестьян, далеко окрест раздаются песни Лиго...

Нельзя не заметить внимания Лажечникова к образно-ритмическому, эмоциональному строю, лексике дайн. Некоторые отклонения — рифмующиеся строки, отсутствующие в подлиннике эпитеты, повторы — по большей части объясняются тем, что Лажечников пользовался текстом-посредником из немецкого источника. К сказанному остается добавить два немаловажных обстоятельства. Роман заметила читающая Россия. За два года он выдержал три издания. Самым положительным образом с книге Лажечникова отозвался Пушкин. Заметим: это было едва ли не первым знакомством автора "Истории Петра" и "Послания Дельвигу" с песнями латышей, их поверьями, народным укладом.

Как зорко приглядывался Лажечников к психологическому и национальному облику своих персонажей! Речь крестьянской дочери из имения Фюренгофа и безымянных ее братьев волею автора расцвечена то латышскими, то эстонскими речениями. Песню, оглашающую лифляндские поля — "Июрри, Июрри! Йоке ма туллен?" — с удивительной для того времени точностью комментирует автор

повествования: "... начало чухонской песни "Юрген, Юрген! Не пора ли мне к тебе?" Но не всегда этнолингвистические зарисовки на страницах "Последнего Новика" соответствуют традиционному пониманию языковой практики эстонцев и латышей. Не одно поколение читателей смущало "смешение языков": латыши у Лажечникова с надеждой обращаются к эстонскому богу — Юмале, эстонцы же пересыпают свою речь латышскими поговорками, в латышской песне согласно сливаются их голоса.

"Крестьянин, ехавший со своею сохою на пашню, — узнаем из романа, — распевал в добрый час, что очень редко случается у латышей, веселую песенку:

*У кого такая милочка,
Как у братца моего?
Сука моет у него посуду,
Козы полют огород".*

Это и на самом деле подлинная латышская дайна. Но читаем дальше. "...Приметив синий мундир, стал в тупик и, пробурчав Густаву свое обычное: "Терре оминуст", спешил обогнать постояльца..." Но приветствие-то это эстонское! Вот и получается: латыш, который распевает народную свою песню, немца-постояльца приветствует по-эстонски. Что это — неосведомленность автора? Или, напротив, один из многих примеров латышско-эстонского двуязычия? Я. Судрабкалн подобную языковую черепословицу считал промахом писателя. Но до конца ли справедлив этот упрек? Ведь в порубежных, латышских и эстонских, землях крестьяне без особых затруднений вступали в разговор то на эстонском, то на латышском языке. Только в свете латышско-эстонского двуязычия можно дать лингвистический комментарий диалога Новика-Вольдемара с незрячим странником. Вольдемар спрашивает слепца: "Не слышать ли в вашем краю солдат?" И в ответ латыш отвечает ему по-эстонски: "Авита, Иумаль, авита!" (Помилуй, Господи, помилуй!). И вовсе диво дивное: Новик-Вольдемар, стрелец и москвич по рождению, не только ведет разговоры с Ильзой по-латышски, но и строки известной в Видземе дайны становятся у них паролем и отзывом...

Не все в равной мере удалось автору "Последнего Новика". Никак невозможно принять подмену целого спектра

причин победы россиян над шведами одними только таинственными и хитроумными действиями Новика или нескрываемой неприязнью кучера Фрица и латышки-маркитантки Ильзе Трейман к барону Фюренгофу... Тем не менее лучшие страницы книги несут отблески света сильного таланта, знатока Остзейского края и преданного его почитателя.

"Последний Новик" не стал последней книгой Лажечникова о Латвии. Когда в 1853 году писатель волею судеб оказался на одной из самых высоких должностей в губернской администрации Витебска, жители уездного Динабурга не раз видели на своих улицах вице-губернатора... 1863 год... По всей Польше, в Литве под знаменами вольности сражаются с царскими карателями повстанцы. Бурно напоминает о себе Латгалия, и Лажечников принимается за роман "Внучка панцирного боярина". Согрет авторской симпатией образ динабургского купца по прозвищу "Жучок". Всем страхам вопреки он доставлял оружие в непокоренные леса...

Читатели запоминают и жанровые сцены в провинциальном Двинске, и верно схваченные латгальские пейзажи, и авторские сетования на бесправную крестьянскую долю. Судя по всему, взгляд писателя отличается завидной зоркостью. Известно: пребывание Лажечникова в Двинске оказалось недолгим. Но как много сумел он рассмотреть! Отдавая должное "живописной физиономии города на Двине", писатель замечает и "пустыри, площадки, окруженные корчмами". Зовет пройти берегом Двины, взглянуть на аллею "древних пирамидальных тополей перед высоким зданием начальника края", неторопливо побродить по главной двинской улице с приветливыми деревянными строениями, взглянуть на костел, на "русский собор, довольно величественной наружности", осмотреть "развалины католического монастыря". Не один час провел Лажечников на двинских крутоярах. Вглядывался в речные "желтоватые воды", долгим взглядом провожал "торговые суда и плоты", "рыбачьи лодки".

"За городом с западной стороны, верстах в двух, есть восхитительная местность на высоком берегу Двины. В другом краю она наверно оживлена была бы веселыми группами гуляющих, но здесь посещают ее только изредка благородные аматеры прекрасного в природе". Как видим,

любимая нынешними даугавпилсцами Погулянка и полтора столетия назад была славным уголком и влекла к себе горожан, знающих толк в красоте.

Воссоздавая облик Двинска середины минувшего века, писатель не нарадуется добрым деяниям Екатерины Великой. По монаршей ее воле "на многие и многие версты" высажены "березовые аллеи"...

Располагает к себе представленная в романе старообрядческая среда. По авторскому слову, это "стража русского духа в здешнем крае". Народ этот "трезвый, фанатически преданный своей вере". В одном из авторских примечаний приводятся слова графа Платера о крестьянах из раскольников — "самых трезвых, трудолюбивых, исправных" из всех здешних землепашцев.

... От Двинска до Мариенбурга, от латгальского синезерного края до "финских хладных скал" — таковы пространства, охваченные у Ивана Лажечникова то пламенем Северной войны, то освещенные повстанческими кострами в дни польского возмущения 1863 года. И сегодня книги одного из зачинателей русской исторической прозы удивляют ранним проникновением в психологию разноплеменных людей, возбуждают гражданские чувства.

ПОСЛЕДНИЙ НОВИК

(Главы из романа)

Часть 1

Глава вторая

ДОЛИНА МЕРТВЕЦОВ

На пути от Мариенбурга к Менцену¹ (иначе названному Черною мызою) останавливаешься не раз любоваться живописными видами, обстающими вас с седьмой версты и преследующими за Ней-Розенгоф². Дорога большею частью идет по горам и между гор, разнообразных, как игра

¹Теперь Мынисте.

²Вана Рооса.

воображения. То протягиваются они в прямой цепи, подобно волнам, которых ряды гонит дружно умеренный ветер; то свивают эту цепь кольцом, захватывая между себя зеленую долину или служа рамой зеркальному озеру, в котором облачка мимолетом любят смотреться; то встают гордо, одинокие, в пространной равнине, как боец, разметавший всех противников своих и оставшийся один господином поприща; то пересекают одна другую, забегают и выглядывают одна за другой, высятся далее и далее амфитеатром и, наконец, уступают первенство исполину этих мест, чернеющему Тейфельсбергу¹. Почти каждая гора имеет свой особенный вид, свою привлекательность. На острой конечности одной стоит роща букетом, по другой разлилась, как по шлему, косматая грива; третью черный сосновый бор оградил стеной зубчатой. Там кустарник окудрявил голову горы; здесь обвил ее венцом или смело вполз на нее в разных кривизнах. Эту картинку оживляют разостланные по отлогостям полосы яровой зелени или золотой жатвы, красивые мызы с их розовыми кровлями, гордо озирающие окрестность, рассыпанные там и сям одинокие хижины, которые лепятся к бокам гор, как ласточкины гнезда, или стоят смиренно за щитом подножия их с частоколами и овощными садами. Почти во всю дорогу до Менцена (тридцать шесть верст) не перестает оглядываться на вас кирка оппекаленская² — будто провожает и охраняет вас святыней своей от нечистого духа, который, по словам народа, поселился с давних времен на Тейфельсберге (Чертовой горе) и пугает прохожих только ночью, когда золотой петух оппекаленского шпиля из глаз скроется. Вид с высоты Ней-Лайтценской³ мызы очарователен: панорама ее на несколько десятков верст обставлена разнообразием гор, озер, рощ и селений. С трудом отрывается путешественник от этого места. Немного далее за мызою горы понижаются и заменяются скучным лесом и болотцами; но при появлении речки Вайдау⁴, у грани, стоящей на мосту ее и разделяющей уезды Верровский от Валкского, природа дарит вас

¹Целинькалнс.

²Апукалнская.

³Яунлайцене.

⁴Вайдава.

приятностями уединенных долин, обведенных извилинами этой речки и образуемых провожающими ее двумя цепями холмов. Всех приятнее долина близ мызы Ней-Розенгоф (в недавнем еще времени называемой Катериненгоф)¹.

В начале XVIII столетия, по дороге от Мариенбурга к Менцену, не было еще ни одной из мыз, нами упоминаемых. Ныне она довольно пуста; а в тогдашнее время, когда война с русскими наводила ужас на весь край и близкое соседство с ними от псковской границы заключало жителей в горах, в тогдашнее время, говорю я, едва встречалось здесь живое существо.

Несмотря на эти опасения, в одно из первых чисел июля 1702 года, в некотором расстоянии от появления речки Вайдау, пробиралась сквозь мрачный лес красноватая карета, запряженная двумя рыжими лошадками. День был жаркий. Полуденное солнце, в одинаком величии своем протекая по голубой степи неба, на котором ни одно завистливое облачко не смело заслонить его, лило горящие лучи свои прямо на темя земли. Ленивый ветерок пересекал эти лучи по временам и только на мгновения обдувал раскаленную ее поверхность. Расслабленная природа, казалось, потеряла движение: едва струились изредка верхи деревьев; неохотно переливались волны зреющей жатвы; медленно текли воды, как будто потоки растопленного хрустала. Все живущее спешило куда-нибудь укрыться от палящего зноя. Птицы прятались в рощах и на дне густых нив; стада бежали в воды, а где воды не было, бедные животные, оцепенев, с поникнутыми головами, одно в тени другого, искали малейшей прохлады.

(...) В приходе Ренко-Мойс (...) за болотцем, в виду замка, пригорок. Вот на этом пригорке, в затишье от ветров, за щитком березовой рощи, стояла лет сто тому назад худенькая избушка, одним углом избоченясь, другим припав к земле. Силачу стоило только ее пошевелить, так она бы и развалилась. В этой избушке поселился, неизвестно откуда пришедший, мастеровой человек, именно сапожник, еще не старый, один-одинехонек. Душонка у него была дурная, потому, во-первых, что он нищему не подал в жизнь свою даже куска черствого хлеба; во-вторых, что он не любил детей, а это худая примета! Никто в домишке

¹Кадрина.

его не слыхивал ни песни, ни голоса женщины, ни говора хоть забеглого мальчишки; никто не выпил с ним рюмки вина. Только и слышны были заказ сапогов, или торг, или расчеты, да тук-тук молотком, и опять все тот же тук-тук, как стук гробового червяка. Руки же у него были золотые — а может быть, помогал ему окаянный, — шивал он на славу сапоги без разреза и без тачки из цельной кожи. Ныне, благодаря нашим пасторам, такие мастера вывелись. Заказывали ему сапоги скупые бароны, чтоб были без сносу; епископы и архидиаконы, чтоб были без шума; рыцари, чтобы отражали копьё татарское. Можете судить, когда такие особы заказывают что-либо, то и платят хорошо. Тогда еще не слышно было о ведьме-редукции, которая в недавнем еще времени ходила по мызам, и бароны жили попеваючи и попиваючи. Оттого наш ремесленник должен был зашибать хорошую деньгу; но божился и клялся, что гол, как облупленная липка, что он не женился за неимением чем содержать жену, что его обкрадывают, что у него в долгах много пропадает. И будто бы потому он ел черствый хлеб с мякиной пополам, жердочками подпирал валившуюся хижину свою, все кряхтел, все жаловался на свою бедность и беспрестанно завидовал богатым. Особенно, когда старики перебирали того или другого, разбогатевших от кладов, он насупливал брови, как сыч, лицо его подергивало туда и сюда, дрожь его принимала, и наш сапожник невидимо утекал из круга рассказчиков в свою пустую избушку. Собирались смелые проказники подметить, что у него делается по ночам, собирались, да, видно, не выполнили. Храбро только языком шли на рать! В одно время он вовсе покинул работу, скрылся — и целый месяц не слышно было стуку его молотка. Приходившие с заказами со страхом отступали от пустой избушки, в которой только двери, по блажи ветра, стонали на петлях. Он пришел домой для того только, чтобы через несколько дней умереть; но лежа на смертной постелешке, — знать, ему от хорошего житья уже тошно приходило! — послал за пастором рингенским¹ и, стуча зуб об зуб, объявил ему то, что я буду вам теперь рассказывать.

«Вы знаете или слышали, святой отец, — так говорил сапожник духовнику своему, — какая жадность к

¹Ринга — Рынгу.

богатству одолевала меня с молодых лет, но не знаете, с каким усердием отыскивал я сокровища в горах и, открыться уже должен, приступая к страшному суду, отыскивал их в местах, где покоятся усопшие. Я потревожил кости трех витязей русских, схороненных в болоте близ Оденпе¹; сделал то же с римским рыцарем², который столько лет спит на высотах гуммельсгофских³ под баюканье лесов; всего на все разрыл я собственными руками в полночные часы одиннадцать могил; одиннадцать покойников воззвал я от сна вечного". — Тут у самого умирающего волосы встали дыбом; холодный пот выступил по нем; он закашлялся: ге! ге! — так что пастор хотел прочесть отходную; но сапожник, вздохнув немного, продолжал: "В долине за Менценом, окруженной со всех сторон лесом, — видело только небо! — была мне одна удача". — Здесь опять духовник не мог расслушать, что прошептал ему, скрежеща зубами, кающийся. Оправившись, он опять начал говорить: "Прихожу с кладом домой, в осеннюю месячную ночь. Домишка мой едва лепился на жердочках; дверью меня ударило; филин встретил меня ужасным свистом, как будто бичом полоснуло меня по сердцу; собака с развалин замка отвечала ему воем. Чтобы себя успокоить, высекаю огонь, зажигаю фонарь и спешу полюбоваться сокровищем своим: почти все золото, чистое, как луч солнечный! Только... были... пятна! Принимаюсь считать деньги... Вдруг одиннадцать голосов захотали, двенадцатый вздохнул тихо; но этот вздох, отец святой, был для меня ужаснее всех. От страха... ру... полотно выпало у меня из рук, и деньги рассыпались".

(...) — "Было к полуночи, — говорил задыхающимся голосом сапожник духовнику, — явились ко мне, одна за другой, одиннадцать девушек в белых платьях с венками на головах. Они принялись собирать деньги с полу и в несколько минут опять наполнили... полотно; только требовали за труды, чтобы я поплясал с ними на мягкой

¹Отепя.

²И донныне показывают на этом болоте три камня, под которыми лежит прах русских витязей. Гуммельсгофские крестьяне водили меня на место, где будто бы похоронен какой-то римский рыцарь". (Примечание И. Лажечникова.)

³Гуммельсгоф—Хуммули.

траве, при свете месяца. Я должен был выполнить их волю и плясал с ними до петухов, пока не выбился из сил. Каждую ночь будем посещать тебя, сказали они мне, пока не выдашь нам двенадцатой подруги; без нее нельзя нам веселиться в прекрасной долине за Менценом на мягкой траве, при свете месяца. Вот уже одиннадцать дней, как они не дают мне любоваться кладом моим, рассыпают его, опять собирают, мучат меня своими плясками и грозят мне тем же, пока я жив, если не выдам им двенадцатой, а кого, — не знаю. На рассвете нынешнего дня отнес я без счету горшок с золотом в развалины замка и там заклад его в стене восточной башни, от среднего круглого окна четвертый камень вниз. Ты видишь, отец духовный, в каком я теперь состоянии. Верно, меня, двенадцатого, девы требовали к себе в долину. Ради отца небесного, похороните меня там. Чувствую, что смерть близка... но, умирая, хочу, по крайней мере, облегчить себе переход в вечность... искупив хоть часть грехов моих... добрым делом". — Заметьте, он не смел сказать — богоугодным делом. — "Отказываю половину своего сокровища бедным, а другую рингенской церкви, чтобы она..." С этим словом сапожник испустил дух так скоро, что усердный пастор не успел прочесть отходной. Немедленно созвано было множество окружных прихожан, дворян и простолюдинов и объявлено им завещание покойного. Сначала приступили к открытию сокровища в восточной башне рингенского замка. Место, где оно хранилось, было так твердо, что едва сдалось на усилия нескольких дюжих парней, вооруженных добрыми ломом. Показался горшок, вынули его: в нем лежало что-то, завернутое в каком-то полотне, раскрыли — и что ж нашли? — Человеческий череп, обернутый саваном!.. Посоветовались между собой и положили: череп в саване похоронить по христианскому долгу, на высоте против долины, в которую одиннадцать дев требовали к себе двенадцатую, и поставить на могиле деревянный крест; тело же сапожника, ради отца небесного, которого он поминал при кончине, не бросать на съедение вороньям и волкам в поле, а зарыть просто, как еретика, в темном ущелье леса, неподалеку от долины. Так и сделано было. То, что я вам рассказал, слово в слово, записано тогда в рингенскую церковную книгу, сам священник тут же руку приложил.

(...) — В долине творятся такие дела... и днем рассказывать их, так ужас берет. Надо вам прежде объяснить, что исстари, то есть с того времени, как похоронили череп с саваном на высоте и зарыли сапожника в глухом ущелье, ходило предание, что двенадцать дев — заметьте, уж двенадцать — в белых платьях, с венками на головах, каждую полночь собираются в долине, пляшут несколько времени хороводом на мягкой траве, при свете месяца, и потом в разные стороны убегают. Когда девы разыграются, из ущелья показывается высокое привидение, смотрит на них, не двигаясь с места, вздыхает так, что противный берег начал оседать; а как скоро кончится пляска их, уходит опять в свое ущелье. Назад тому несколько лет завелся в здешней стороне обычай привозить на высоту утопленников и удавленников. Но поверите ли, почтеннейшие господа и вы, фрейлейн, лишь только положат одного из этих несчастных близ креста, в ту же ночь он пропадает! Видали, что длинное, как шест, привидение из ущелья выползает, идет прямо на высоту, поднимает мертвое тело на плечи и уносит его в свое домовище. Без того, сказывают, девы не пляшут в долине при свете месяца, на мягкой траве. Дороги к ущелью не проложено, а видны только огромные ступни, нечеловеческие, — я покажу их вам, как проедем мимо них.

Глава восьмая

ЗАМОК ГЕЛЬМЕТ¹

На замки Лифляндии смотришь еще, как на представителей феодального ее быта, дикого и романтического. Это ветераны некогда знаменитого и более не существующего войска, ветераны, изувеченные, отдающие уже дань времени и засыпающие сном вечным на изломанных трофеях своих. Они имели также свое великое время. Разбудите их, спросите с терпением и уважением, должным их сединам и заслугам, — и они, в красноречивом лепете младенческой старости, расскажут вам чудеса о давно былом; и гигантские тени их полководцев, прислушавшись

¹Хелме.

из праха к словам чести и красоты, встанут перед вами грозные, залитые с ног до головы железом, готовые, при малейшем сомнении о величии их, бросить вам гремящую рукавицу, на коей видны еще брызги запекшейся крови их врагов.

Глава одиннадцатая

ВЕСТИ

(...) Сельские девки, гнавшие скотину в поле, с боязнию смотрели на угрюмого шведа и старались подальше обойти его. Крестьянин, ехавший со своею сохою на пашню, распевал в добрый час, что очень редко случается у латышей, веселую песенку:

*У кого такая милочка,
Как у братца моего?
Сука моет у него посуду,
Козы полют огород.*

Часть 2

Глава пятая

ТАИНСТВЕННЫЙ ПРОВОДНИК

(...) Мрачные думы обступали Вольдемара; взоры его, полные душевной тревоги, прикованы были к стороне Новгородка Ливонского.

Потух золотой крест на печерском монастыре, по-видимому, утешавший его своим сиянием; стерлись и светлые точки, едва мелькавшие в стане русском. Тени обхватили уже и венец Муннамеги¹. Туманами подернулись долины и, обманывая взор, разлились обширными озерами, из которых, подобно островам, выглядывали одни верхи гор. Вскоре из мнимых вод вышел полный месяц; будто ка-

¹Вершина холма Мунамяги.

чаясь над ними, приподнимался и осветил эти верхи. Прекрасная, величественная картина! Но она не трогала, не занимала Вольдемара. В стане русском были его взоры, мысли и сердце; там он был весь. Он видел с трепетом сердечным, как зажигались там огни, все такие же бесчисленные, как и вчера. "Почему их не меньше?" — спрашивал он сам себя с горестным чувством. "Может быть, — думал он опять, себя утешая, — это военная хитрость".

Окрестность молчала, как обширное кладбище; верхи гор, рассыпанных посреди туманных вод, казались ему огромными могилами, где покоятся обитатели этого края, уже опустевшего. Но... вскоре почудился ему шум, подобный стону дальнего водопада. Он ловит его жадным слухом, прилегли головою к земле, и слышит как бы подземный гром. Яснее и яснее становится шум этот до того, что Вольдемар может уже различить конский топот. Действительно, топот приближался, еще, еще, и — умолкнул разом. Вместо его послышался ему какой-то неясный шелест, будто шептались друг с другом, будто шуршала одежда на движущемся человеке. Сердце у Вольдемара затрепетало в груди, как голубь.

— Боже! это они! — произнес он, становясь на колена и поднимая слезящие очи к светло-голубому небу. — Господи! Поддай мне силы совершить начатое.

Вдруг из мертвой тишины раздался женский голос, он пел латышскую песню:

*О мой Генсхен, божье дитяtko,
Что везешь ты на возу?
Лиго! лиго!*

Вольдемар отвечал дрожащим, вынужденным голосом:

*Золоты венцы девицам,
Парням куньи шапочки.
Лиго! лиго!*¹

— Вольдемар! — крикнула женщина, поднимая голову из тумана, как наяда из водной области своей.

¹Это буквальный перевод латышской песни. Лиго — все равно что наша Ладо. Слово это часто употребляется латышами в песнях их, особенно в тех, которые они поют на Иванов день". (Примечание И. Лажечникова.)

— Ильза! — перекликнулся он, нахлобучил шляпу с длинными полями на глаза, укутался плащом, спустился с горы и, протянув руку маркитантше, потонул с нею в тумане.

— Я привела к тебе отряд русских, — сказала она ему на том языке, на котором пела. — Но ты дрожишь, Вольдемар?

(...) Так несся более двух часов конный отряд, вверенный таинственному вожатому. (...) С помощью переводчицы Ильзы Вольдемар объяснил татарскому начальнику, а этот передал, кому нужно было, что они сделали от Нейгаузена близ шести миль, что они находятся в трех верстах от заставы шведской (...) Огоньки же, видимые в некоторых местах, говорил он, не должны никого тревожить, потому что они разложены крестьянскими детьми, стерегущими в ночном свои стада. В самом деле, маленькие пастухи обоюго пола, топорщась в кружок около разложенных огней, едва светящихся в тумане, беззаботно перекликались по рощам песнями своими, как ночные соловьи; в одном месте пели стих, в другом продолжали другой, так далее, и вдруг в разных местах соединяли голоса свои в один дружный хорный припев: "Лиго! Лиго!" Разнообразные звуки колокольчиков, привешенных к шее пасущихся стад, покрывали эти песни каким-то чудным строем.

Глава десятая

ЕЩЕ НЕЖДАННЫЕ ГОСТИ

(...) Тут мальчик, играя шпагою стоявшего возле него офицера, запел жалобно:

*Горько, горько пела пташечка,
Сизобокая синичка...*

Шлиппенбах отдал приказания пуститься в погоню за Красным носом (настоящего имени его он не открывал) и собрал около себя военный совет; между тем Мартышка продолжал распевать:

кирка. Она построена в новейшие времена и славится в Лифляндии своею огромностью и изяществом архитектуры. Несколько правее, на берегу же озера, из купы дерев, разделенных цветником, выглядывает простой, но красивый домик пастора¹. На этом самом месте стоял дом, где жили Глик² и его воспитанница. Посещая жилище нынешнего пастора, забываешь, что их не найдешь более. При каждом стуке двери — думаешь: не взойдет ли прекрасная Кете? Так очаровательно воспоминание о ней! Правее от пасторского домика, на холме у загиба озера, красуется березовая, чистая рощица. Время ее засадило. На этом возвышении стояла кирка, в которой патриарх мариенбургский напутствовал свою паству к добру и Катерина Рабе певала в хоре смиренных прихожан песнь хвалы и благодарения Богу, для нее столь щедрому. Здесь нынешний владетель Мариенбурга, барон фон Фитингоф, пламенно любя все изящное и высокое, предполагал поставить памятник. Вместо двух одиноких корчм, ныне разделенных целою верстою, местечко занимало берег. Левее от нынешней кирки стоит господский домик с принадлежностями; от него по берегу тянется сад, расположенный со всеми затеями вкуса и богатства. Берег озера с многочисленными заливами на пространстве нескольких верст то убран рощицами и холмами, как грудь красавицы пышною оборкою, то усеян рыбацкими хижинами, деревнями и красивыми мызами, которые глядятся в воды и в них умываются. Кое-где, посреди вод этих, выступают зеленые букеты дерев или волнуются по ним полосы раззолоченной осоки. В разных направлениях по временам летят большие лодки, взмахнув крыльями своих парусов, и скользят челноки, едва заметные, как водяные букашки. Иногда всплывают на озере снежные острова, образуемы стадами лебедей, или над ними тянутся они, воздушные пилигримы, длинною вереницей.

¹Нынешний пастор господин Рюль, умный, любезный, достойно уважаемый и любимый своею паствою. Гостеприимство его буду всегда помнить с особенным удовольствием. С каким восторгом рассказывал он мне о тех, которые с лишком за сто лет украшали его обитель! Ему-то я особенно обязан за драгоценные о них сведения, за что приятнейшим долгом почитаю свидетельствовать ему здесь мою благодарность". (Примечание И. Лажечникова.)

²Современное написание: Глюк.

Схватывая опять нить происшествий, которую мы было покинули для описания Мариенбурга, просим вместе с этим читателя помнить, что в последних числах июля 1702 года замок существовал во всей красе и силе своей и вмещал в своей ограде гарнизонную кирку, дом коменданта и казематы, что против острова по дуге берега пестрело множество домиков с кровлями из черепицы. Из них выступало грудцой жилище пастора Глика, и на холме возвышалась кирка, довольно древняя, а вправо, где воды озера наиболее суживаются, остров сообщался с материком деревянным мостом, которого сваи и теперь еще уцелели.

Глава девятая

ОСАДА

(...) Четвертого августа подошли русские к Мариенбургу. А следующие дни прорыты апроши¹ с трех сторон залива, в котором стоял остров с замком; на берегу зашевелилась земля; поднялись сопки, выше и выше; устроены батареи, и началась осада; двадцать дней продолжалась она. Искусная оборона цейгмейстера (он распоряжал ею за старостью коменданта) долго расстроивала усилия русских взмоститься на высоты, которые могли бы господствовать над замком.

Убийственный огонь, высылаемый Вульфом, снимал людей с батарей, как проворный игрок шашки с доски, подрезывал лафеты у мортир, рассыпал амбразуры и в несколько часов уничтожал труды нескольких дней. Многих русских недосчитывали в рядах: и теперь еще бугры свидетельствуют, что удары заржавленных мариенбургских пушчонок были метки. Несмотря на это, хладнокровие Шереметева, принявшего на себя управление осадой, не изменялось: он знал, с кем имеет дело. Наконец он внес главную батарею на высоту, с которой, окинув окрестность, мог сказать:

— Замок наш!

¹Апроши — система осадных рвов, траншей, насыпей для закрытого подхода к крепости.

С этого времени остров был осыпан бомбами; одна сторона очень повредилась, но осаждаемые не сдавались. Такое ожесточенное мужество поколебало хладнокровие Шереметева. Велено устроить плоты и быть готовыми к штурму.

Глава десятая

СВАДЬБА И ПОГРЕБЕНИЕ

Ночь на двадцать четвертое августа была мрачная. По временам только прорезывался этот мрак огнем, вылетавшим клубом с трех батарей русских. Казалось, его метал с неба сам громодержитель. Замок на острове извергал также с трех сторон огни: воды озера повторяли их. В эти мгновения рисовался и замок, опрокинутый в воде, будто стеклянный дворец феи, освещенный факелами летающих духов. Огоньки, унижавшие высоты, занятые русскими, казались висящими на воздухе. Гром орудий прокатывался по озеру и отдавался по нескольку раз берегами. Наконец к полуночи все померкло и стало тихо, так тихо, что с главного раската можно было слышать, как бежала волна и с ропотом издыхала на берегу. Часа два продолжалась тишина. Вдруг с берега что-то свистнуло и загремело; два огненных хвостика очертили по воздуху полукруг, и вслед за тем в замке что-то с ужасным шумом рухнуло; поднялись крики и стенания.

Рассвет дня объяснил причину их: главная стена и один болверк с пушками пали. Фельдмаршал с высоты любовался разрушением крепости.

— Чистая работа! благодарствую! — сказал он, положив руку на плечо бомбардира, стоявшего подле него с улыбкой самодовольствия.

В замке все приуныло. У коменданта составлен был совет. Пролом стены, недостаток в съестных припасах, изгнание русских к штурму, замеченные в замке, — все утверждало в общем мнении, что гарнизон не может далее держаться, но что, в случае добровольной покорности, можно ожидать от неприятеля милостивых условий для войска и жителей. Решено через несколько часов послать в русский стан переговорщиков о сдаче.

(...) Штык-юнкер Готтлиг вывел их из этой задумчивости, донеся цейгмейстеру, что волю его обещали исполнить, но что, против чаяния, когда он, Готтлиг, причалил лодку свою к берегу острова, войска русские начали становиться на плоты, вероятно, для штурмования замка.

— Мы встретим их! — сказал Вульф, простился с Гликом и своею супругою и отправился принять гостей, не в пору пожаловавших.

В самом деле, русские на нескольких плотах подъехали с разных сторон к острову. Встреча была ужасная. Блеснули ружья в бойницах, и осаждавшие дорого заплатили за свою неосторожность. Сотни их пали. Плоты со множеством убитых и раненых немедленно возвратились к берегу. Из стана послан был офицер шведский переговорить с Вульфом, что русские не на штурм шли, а только ошибкою, ранее назначенного часа, готовились принять в свое заведование остров.

— В другой раз не будут ошибаться! — сказал хладнокровно цейгмейстер. — Я требую, чтобы из этих самых плотов сделали мост для перехода мариенбургских жителей, которых я взял под свою защиту!

(...) Началось шествие мариенбургских жителей из замка по мосту, составленному из сдвинутых плотов русских. Впереди всех медленно и важно выступил пастор в праздничном одеянии. Под левою мышкою нес он Славянскую Библию, нередко покашливал и бормотал про себя, затверживая приветственную речь. За ним следовала, опустив печально голову, воспитанница его в брачном одеянии, которого не успела скинуть. Занятая мыслями о своем хозяйстве, Грете шла за нею не в меньшей горести. Она несла узел, в котором заключены были, едва выглядывая на белый свет, Квинт Курций, Юлий Кесарь, Езоп и прочие великие мужи древности, удостоенные, по милости пастора, преобразиться из римской и греческой тоги в русскую одежду.

(...) Вслед за нашими друзьями высыпали из ворот замка горожане мариенбургские, как овцы, выпущенные в красный день из овчарни. Часть гарнизона выступила также, малая часть осталась в замке по условию до сдачи его и всех военных снарядов русским.

(...) Глик со своими прихожанами и обезоруженными шведскими офицерами, вышедшими из замка с частью

гарнизона, отведен был в стан русский. Там, в богатой ставке, которую мы уже прежде описали, ожидал их фельдмаршал, окруженный многочисленным штатом.

Почетные жители Мариенбурга были введены в нее, и взоры воинов русских обратились на прекрасную воспитанницу. Несмотря на присутствие главного начальника, многие единодушно вскричали: "Вот пригожая девушка!" "Das ist ein schönes Mädchen!" Сам фельдмаршал невольно охорошился, призвал улыбку на важное лицо свое и не раз взглянул на нее глазами, выразившими то, что уста других произнесли.

Госпожа Вульф, краснея от общего внимания, на нее обращенного, и от похвал, которыми была осыпана, казалась от того еще прелестнее. Это внимание, не ускользнувшее от глаз пастора, и ласковый прием, сделанный ему фельдмаршалом, придали ему бодрости. Кашлянув и поправив на себе парик, он спешил изумить своих слушателей речью, произнесенною на русском языке. В ней собрана была вся ученость его, подпертая столбами красноречия и любовью его к славе Петра I — любовью, зажженною взглядом на него великого монарха под Нейгаузеном, питаемую русскими переводами, которые намеревался посвятить ему, и надеждою основать в Москве первую знаменитую академию, *scholam illustrem*. В заключение просил оратор повергнуть к стопам его величества адрес, им заготовленный, о принятии уж не Мариенбурга — целой Лифляндии, под свое покровительство. По окончании речи Глик подал фельдмаршалу Славянскую Библию в огромном формате, которую держал доселе под мышкою и которая мешала ему порядочно размахнуться. Одобренный лестным вниманием и признательностию высокого русского сановника, обещавшего ему свое покровительство и денежное пособие на учреждение в Москве училища и заверявшего его в милостях царя, который умел ценить истинную ученость, пастор почитал себя счастливее увенчанных в Капитолии. Все мечты, все грезы его самолюбия сбывались! Вслед за Библиею представлены великие члены его семейства, исторгаемые один за другим из смиренного убежища, в котором держала их Грете, а за ними его воспитанница, офицеры шведские и почетные жители Мариенбурга, принятые, волею их или неволею, под покровительство восторженного оратора.

Всех отрекомендованных Гликом фельдмаршал оставил у себя обедать. За столом радушный хозяин так ободрил их, что они забыли свое горе и казались дорогими гостями на веселом пиршестве.

(...) После обеда гости были отпущены по домам. Пастору обещано доставить его с честью и со всеми путевыми удобствами в Москву, как скоро он изъявит желание туда отправиться. Все разошлись довольны и веселы.

Настал условный час приема замка. Сначала послан был к цейгмейстеру шведский офицер с предупреждением, что русские идут немедленно занять остров.

— Все готово к приему их! — отвечал хладнокровно Вульф.

Несколько баталионов русских тронулось из стана с распущенными знаменами, с барабанным боем и музыкою. Голова колонны торжественно входила в замок, хвост тянулся по мосту. Гарнизон шведский отдал честь победителям, сложил оружия, взял пули в рот и готов был выступить из замка... Дело стало за цейгмейстером, которого не могли сыскать.

(...) В эту самую минуту среди замка вспыхнул огненный язык, который, казалось, хотел слизать ходившие над ним тучи; дробный, сухой треск разорвал воздух, повторился в окрестности тысячными перекатами и, наконец, превратился в глухой, продолжительный стон, подобный тому, когда ураган гулит океан, качая его в своих объятиях; остров обхватило облако густого дыма, испещренного черными пятнами, представлявшими неясные образы людей, оружия, камней; земля задрожала; воды, закипев, отхлынули от берегов острова и, показав на миг дно свое, обрисовали около него вспененную крайницу; по озеру начали ходить белые косы; мост разлетелся — и вскоре, когда этот ад закрылся, на месте, где стояли замок, кирка, дом коменданта и прочие здания, курились только груды щебня, разорванные стены и надломанные башни. Все это было делом нескольких мгновений. Последовала такая же кратковременная тишина, и за нею послышались раздрающие душу стоны раненых и утопавших, моливших о спасении или смерти. Немногие из шведов и русских в замке чудесно уцелели. Не скоро также были посланы люди с берегу, чтобы дать им помощь; опасались еще какого-либо адского действия из уцелевшей башни. Испуганное

войско русское высыпало из стана на высоты и приготовилось в бой с неприятелем, которого не видели и не знали, откуда ждть.

(...) История не позволяет мне скрыть, что месть русского военачальника за погубление баталиона пала на бедных жителей местечка и на шведов, находившихся по договору в стане русском не как пленных, но как гостей. Все они задержаны и сосланы в Россию. Не избежали плена Глик и его воспитанница, может статья, к удовольствию первого. Шереметев отправил их в Москву в собственный свой дом. Местечко Мариенбург разорено так, что следов его не осталось.

Часть 4

Глава первая

У РАСКОЛЬНИКОВ

"Борис Петрович гостил в Лифляндах изрядно", — писал Петр I к одному из своих вельмож, десятого сентября 1702 года. А каково было гощение, можно видеть из писем Шереметева к самому государю. Особенно два письма, знакомя нас с тогдашним образом войны русских и жалким состоянием Лифляндии, так любопытны, что мы решаемся задержать на выписке из них внимание наших читателей. "Посылал я (доносил фельдмаршал) во все стороны полонить и жечь. Не осталось целого ничего: все разорено и пожжено; и взяли твои, государевы, ратные люди, в полон мужеска и женска пола и робят несколько тысяч, также и работных лошадей и скота с двадцать тысяч или больше, кроме того, что ели и пили всеми полками, а чего не могли поднять, покололи и порубили..." В другом письме доносит он же: "Указал ты, государь, купя, прислать чухны и латышей, а твоим государевым счастием и некупленных пришло. Можно бы и не одну тысячу послать, только трудно было везти и тому рад, что ратные люди взяли их по себе; а к Москве посылка не дешева станет, кроме подвод". К этому описанию прибавить нечего; каждое слово есть драгоценный факт истории, жемчужина ее.

(...) Латыши, чухны проводят обыкновенно унылую, тихую жизнь в дикой глуши, между гор и в лесах, в разрозненных, далеко одна от другой, хижинах, вдали от больших дорог и мыз, будто и теперь грозитя на них привидение феодализма с развалин своих замков. Не видно у них, как в наших великороссийских губерниях, длинных деревень, где тысячи любят жаться друг к другу, где житье привольно, подобно широким рекам, и шумно, нередко буйно, как большие дороги, около которых русские любят селиться; где встречает и провожает зори голосистое веселье. По первому взгляду на деревню, в которую вошел Владимир, можно было сейчас узнать, что ее обитатели русские. Ее образовали вдоль узкой улицы два ряда высоких изб, расположенных уступами так тесно, что казались они взгроможденными одна на другую. Все они были с одним красным окном и двумя волоковыми, с трубами и высокими коньками, на которых или веялись флаги, или вертелись суда и круги, искусно вырезанные. Ворота, убитые крупными жестяными гвоздями, прикрывались длинным навесом, под которым вделан был медный осьмиконечный крест. Наружность домов содержалась в необыкновенной чистоте; особенно вокруг окон бревна были не только вымыты, но и поскоблены.

1831—1833 годы

ЛИФЛЯНДСКОЕ ЭХО ПУШКИНСКОГО ГЛАГОЛА

ОН МЕЖДУ НИМИ ЖИЛ...

...В начальные дни июня 1880 года, когда страна всенародно отмечала открытие московского памятника Пушкину, в белоколонном зале второй российской столицы звучали строфы о не знающем забвения русском поэте и латышах. Не очень ловкие со стороны версификаторской техники, стихи эти, пропущенные сквозь "магический кристалл" любви к великому сыну России, трогали своим искренним, чистым тоном: "Едва вступив на путь духовного рожденья... с признательностью детской... пред гением склоняются главой". В приветственном послании значились имена руководителей Латышского общества Я. Калныня и Ф. Гросвалда, инспектора Рижского учебного округа О. Пассита, редакторов газет "Baltijas Vēstnesis" — Б. Дирикиса и "Balss" — А. Веберса, архитектора Я. Бауманиса... Вечера в Александровской гимназии¹ собирали рижан — ревнителей русской поэзии. Тогда же стало известно: для литературно одаренных старшеклассников учреждаются две Пушкинские стипендии... Рижские педагоги И. Малиновский и Г. Кутепов — их имена в ту пору были на устах у многих — делились мыслями о Пушкине. По свидетельству репортера "Рижского вестника", первый обратился к теме "Пушкин и Байрон", второй говорил о всечеловеческих и национальных достоинствах пушкинского наследия².

¹Теперь в этом здании Музыкальная академия Латвии (ул. Кр. Барона, 1).

²"Рижский вестник". 1880. № 129, 131, 132.

В канун столетия со дня рождения Пушкина "Рижский вестник" от 26 марта 1899 года все свои полосы отдал поэту. Стихи об африканце Ганнибале. О Митаве, где ранней весной того же 1899 года царствовала многострунная пушкинская лира. Строфы, подписанные неведомым И.С.П., с реминисценциями из "Пророка", "Бориса Годунова", "Евгения Онегина", "Полтавы"... В солнечной этой полифонии не затерялся голос рижского епископа Филарета. И сегодня бесполезно поразмыслить над его комментарием к полемике московского митрополита с Пушкиным. Старая газетная страница хранит имена С. Рыжкова и Л. Витвицкого, их эссе о Пушкине — предвестнике неминуемого преобразования России.

... "Русский ежегодник на 1938 год", изданный под редакцией С. Коренева, И. Заволоко, Н. Антипова. Этот справочник-календарь оказался сводом интереснейших подробностей о том, как отмечалось в Латвии столетие со дня гибели поэта. Речь идет о 1937 годе, о вечерах, концертах, спектаклях, выставках.

Перелистаем ежегодник...

— 3 января. Театр русской драмы. С самыми юными читателями Пушкина учитель гимназии Д. Тихомиров ведет беседу о том, чем дорог поэт людям любых поколений.

— 6 и 27 января. Под сводами Дома Черноголовых исполняются хоровые произведения и арии из опер, романсы и песни на слова Пушкина.

— 9 февраля. В том же Доме Черноголовых — выставка "Александр Пушкин и его эпоха". На столах, витринах, стендах не только материалы рижских музеев и библиотек. Экспозицию дополнили рукописи, фотографии, документы из собраний Пушкинского дома, Тартуского университета. Вечером того же дня и на той же самой выставке с лекцией о религиозных, нравственно-философских исканиях Пушкина выступил мыслитель с европейским именем Иван Ильин.

— 10 февраля в 14.45 зажжен огонь памяти поэту в зале Правительственной гимназии. В Кафедральном соборе митрополит Августин отслужил панихиду. Протоиерей Я. Янсон говорил о Пушкине как источнике очистительной красоты, символе русской чести и славы для каждого латвийца.

Вокально-драматический ансамбль — его ядро составили артисты рижских театров — дал пушкинские концерты

в Даугавпилсе, Яунлатгале¹, Краславе, Лудзе, Вецслабаде, для рабочих завода Кузнецова, фабрики Майкапара.

Самые разные эти начинания достойно венчали

— "Борис Годунов" на сцене Рижского театра русской драмы; впервые текст пьесы не был подвергнут изъятиям, сокращениям;

— в одноименном оперном спектакле сольные партии исполнялись на русском языке;

— четырехтысячным тиражом под редакцией Е. Тихомирова и А. Моссаковского по всей Балтии разошлось "Избранное" Пушкина;

— художник Е. Климов подготовил к изданию самые известные пушкинские портреты.

Пушкин и Балтия... Правомерно ли столь тесное сопряжение великого этого имени с Латвией, Эстонией, Литвой? Ведь автор "Евгения Онегина" и "Полтавы", "Медного всадника" и "Повестей Белкина", по расхожему мнению, на берегах Гауи или Немана не бывал... Но не станем топиться с выводами...

... С самых ранних лет Пушкина окружали лифляндцы. Каждый пятый лицеист своим происхождением, корнями своими был связан с Остзейским краем. Многие из соучеников навсегда остались самыми близкими, самыми верными Пушкину людьми. И благодарный поэт обессмертил их имена в стихах, заметках, письмах. Родословные одноклассников, почва, на которой они произрастали, дела их и дни всегда занимали Пушкина, вызывали живой его отклик.

Далекий предок Антона Дельвига в 1502 году был рижским штатгальтером² магистра Ливонского ордена Вальтера фон Плеттенберга. В той же Риге отец царскосельского лицеиста нес офицерскую службу. В эстляндском приморском поселке Гапсаль³ родился Александр Горчаков. В псковском его поместье Лямоново не раз гостил михайловский изгнанник.

Родословные Модеста Корфа и Константина Данзаса восходят к старым баронским гнездам, отпрыски которых встретили в Курляндии девятнадцатый век... Когда Пушкин в архивах, библиотеках, частных собраниях разыскивал материалы к "Истории Петра", Корф прислал своему

¹Абрене.

²Штатгальтер — здесь: заместитель.

³Теперь Хаапсалу.

лицейскому сотоварищу каталог относящихся к разным временам иноязычных источников о России и сопредельных с нею западных землях. В ответном письме Пушкина трогательные слова признательности: "Вчерашняя посылка твоя мне драгоценна во всех отношениях и останется у меня памятником... Прочитав эту номенклатуру, я испугался и устыдился: большая часть цитированных книг мне неизвестна. Употреблю всевозможные старания, дабы их достать..." "Друга души" с отроческих лет, армейского подполковника, прозванного солдатами "храбрым Данзасом", Пушкин не терял из вида весь свой недолгий век. Лицейскому его однокласснику достался тяжкий крест: быть на смертном поединке секундантом гения. Оставаться подле умирающего, видеть его муки. Десятилетиями терзаться роковым исходом дуэли... Венцеслав (Вячеслав) Корсак, пращур еще одного царскосельского лицеиста — Николая Корсакова, в свое время из Литвы перебрался на царскую службу в Россию...

На мызе Авинорм, в уездном городке Верро пробежали детские годы Вильгельма Кюхельбекера. Еще на школьной скамье Пушкин отдавал должное основательной начитанности "брата родного по музе, по судьбам", завидной его осведомленности в литературе, истории, философии. Позднее автор "Бориса Годунова" и "Медного всадника" назвал Кюхельбекера "живым лексиконом и вдохновенным комментарием". И в самом деле, разве не энциклопедичностью сведений Кюхельбекера, не безупречными его душевными, нравственными свойствами продиктованы пушкинские строки из стихотворения "19 октября" (1825 года):

*Скажи, Вильгельм, не то ль и с нами было,
Мой брат родной по музе, по судьбам?
Пора! пора! душевных наших мук
Не стоит мир; оставим заблужденья!
Сокроем жизнь под сень уединенья!
Я жду тебя, мой запоздалый друг, —
Приди; огнем волшебного рассказа
Сердечные преданья оживи;
Поговорим о бурных днях Кавказа,
О Шиллере, о славе, о любви.*

По материнской линии Кюхельбекер пребывал в родстве с вековыми рыцарскими родами остзейцев Тизенгаузов, Альбрехтов, Штакельбергов, Анрепов, Ронненкампов,

с дворянскими фамилиями лифляндцев Розенов, де-Толли... Случалось, в лицей приходили письма, отправителя которых знали все. Это был рижанин по рождению, герой войны 1812 года, родственник Кюхельбекера Михаил Богданович Барклай-де-Толли. Высказанные им патриотические суждения, размышления о воинской славе России, о завтрашнем ее дне, призывы к справедливости, состраданию, добру запомнились не только Кюхельбекеру, но и неразлучному с ним Пушкину. Прошло время, и первого поэта России привлекла к себе переменчивая судьба военачальника, не раз громившего французские и шведские полки. Сограждане оказались к Барклаю пристрастны: они возложили на него вину за поражения в войне с Наполеоном. Это противоречило исторической правде. И Пушкин вступился за военачальника, который шел наперекор времени и обстоятельствам, решительно отвергал привычные догмы. Поэт высказывает глубоко личное отношение к никогда не оставляющей его теме одиночества достойного сына отечества, не оцененного по достоинству современниками:

*О вождь несчастливый!.. Суров был жребий твой:
Все в жертву ты принес земле тебе чужой¹.
Непроницаемый для взгляда черни дикой,
В молчанье шел один ты с мыслию великой,
И, в имени твоём звук чуждый не взлюбя,
Своими криками преследуя тебя,
Народ, таинственно спасаемый тобою,
Ругался над твоей священной сединою...*

Директор Царскосельского лицея Егор Антонович Энгельгардт — пронзительный педагог и тонкий психолог, автор четырехтомного труда по истории России — и по рождению, и по воспитанию был истинным лифляндцем, рижанином. До конца своих дней он сохранил трогательную привязанность к лицеистам первого выпуска. В директорском альбоме, среди благодарных слов царскосельских воспитанников, есть и пушкинская страница:

"Е. А. Энгельгардту.

Приятно мне думать, что, увидя в книге Ваших воспоминаний и мое имя между именами молодых людей,

¹Имеется в виду немецкое происхождение героя стихотворения.

которые обязаны Вам счастливейшим годом жизни их, Вы скажете: "В Лицее не было неблагодарных".

Александр Пушкин".

И, конечно же, говоря о людях, чья жизнь одновременно соотносится и с Остзейским краем, и с пушкинской судьбой, никак нельзя умолчать о любимце Петра Первого, одаренном многими талантами Абраме Петровиче Ганнибале. Знаменитый прадед Пушкина в опальные для него послепетровские времена исполнял обязанности оберкоменданта Ревеля, наблюдал за строительством рижских оборонительных сооружений. В Ревеле женой Ганнибала стала Христина Регина фон Шёберг — прабабка Пушкина. В том же Ревеле родился и третий сын Ганнибала — Осип Абрамович, дед поэта. К бурной, со счастливыми взлетами и стремительными падениями, судьбе "царя наперсника, а не раба" интерес у благодарного потомка никогда не остывал. Подтверждение тому — "Арап Петра Великого" и стихотворения "Моя родословная", "К Языкову", "Зачем твой дивный карандаш...", "Юрьеву". В строфе первой главы "Евгения Онегина", на первый взгляд неожиданно, возникает тема романтического африканского происхождения поэта:

*Пора покинуть скучный брег
Мне неприязненной стихии,
И средь полуденных зыбей,
Под небом Африки моей...*

Но мимолетное признание, мгновенная исповедь кажутся Пушкину недостаточными, и он делает к этим стихам биографический комментарий: "Автор, со стороны матери, происхождения африканского. Его прадед Абрам Петрович Аннибал на 8 году своего возраста был похищен с берегов Африки и привезен в Константинополь. Российский посланник, выручив его, послал в подарок Петру Великому, который крестил его в Вильне". Полулегендарного своего предка, знатного и мятежного, Пушкин вспоминает и в стихотворении "Моя родословная":

*Решил Фиглярин, сидя дома,
Что черный дед мой Ганнибал
Был куплен за бутылку рома
И в руки шкиперу попал.*

Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двинулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля...

Пятницкая церковь на углу улиц Большой и Бокшто, самое древнее сооружение в Вильнюсе, хранит память о Ганнибале. На церковной стене не без труда удастся разобрать затейливую славянскую вязь: "В сей церкви Петр Великий в 1705 году слушал благодарственное молебствие за одержанную победу над воинами Карла XII, подарил ей знамя, отнятое в той победе у шведов, и крестил в ней африканца Ганнибала — прадеда знаменитого поэта нашего А. С. Пушкина".

Да, поездки Пушкина в Дерпт, Вильно и Ригу, вопреки его намерениям, так и не состоялись. Напрасно его мать Надежда Осиповна, друзья и сам поэт подавали прошения и на имя царя, и генерал-губернатору Прибалтийского края. Стараниями "голубых мундиров" путь в остзейскую столицу для автора поэтических деклараций молодой, непокоренной самовластьем России был заказан. И все же Ревель и Дерпт, Рига и другие города балтийского побережья, Вильно и Ковно вошли в пушкинские стихи, драматические произведения, историческую прозу, письма. С Литвой поэта связывали близкие отношения с Адамом Мицкевичем. Письма из Михайловского Пушкин адресовал своим рижским корреспондентам Анне Керн, Прасковье Осиповой, Анне Вульф. В Дерпте в разные времена жила Василий Жуковский и Владимир Даль, Николай Языков и Алексей Вульф, Владимир Соллогуб и братья Карамзины.

Все эти обстоятельства, контакты с остзейцами (с одними — случайные, недолгие, с другими — длительные, надежные) не прошли для поэта бесследно. Подтверждение тому — "Послание Дельвигу" ("Череп"), многие страницы "Истории Петра", набросок незавершенной повести о Лифляндии, обширная переписка.

Перечтем "рижские" строфы из стихотворения "Послание Дельвигу":

Косматый баловень природы,
И математик и поэт,
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,

Идеолог и филолог,
Короче вам — студент присяжный...

.....
Явился в Риге.

Но обстоятельно заняться физиологией студент не может: в тесной его келье не оказалось... скелета. Далее события принимают стремительный и во многом трагикомичный оборот. "Косматый баловень природы" договаривается с местным кюстером, и вот они тайно, под покровом ночи, проникают в церковное подземелье и совершают богопротивное дело: похищают из склепа скелет. Молва о неслыханном этом происшествии тут же разнеслась по городу. Незадачливый кюстер лишился места, его соучастник оказался вынужденным спасаться бегством. Незадолго до бурных этих дней он успел раздарить кости, добытые столь неожиданным родом, рижским своим знакомцам. Похищенный череп достался аптекарю. Тот через какое-то время передал его своему родственнику, дерптскому студенту Алексею Вульффу. Последний, в свою очередь, отделанный серебром череп-пепельницу вручил Пушкину. Он-то и переслал удивительный сей презент по самому верному назначению — Антону Дельвигу, потомку ливонского "крепкоголового" рыцаря, и сопроводил подарок стихами...

Даже при беглом знакомстве с "Посланием..." возникают вопросы: насколько подлинным могло быть событие, которое послужило сюжетной основой стихотворения? В какой мере в "Послании..." отразились рижские реалии, известные Пушкину по рассказам близких людей и письменным источникам? Авторы комментариев к "Посланию..." высказывают полярные точки зрения. Валерий Брюсов не сомневался: в посвященных Дельвигу строфах отожвались истинные события, которые некогда потрясли рижан. Пушкинист Петр Морозов, напротив, полагал, что решительно все — событийная канва, исторические и бытовые детали — создано силой воображения поэта. В этой связи есть резон обратиться к свидетельствам современников Пушкина и, прежде всего, к письму С. Салтыковой-Дельвиг от 9 февраля 1825 года: "Пьеса под заглавием "Череп" ... это послание, которое он <Пушкин> написал к

моему мужу при посылке ему черепа одного из его предков, которых у него множество в Риге; вся эта история — правдоподобна”.

Проясняя обстоятельства, связанные с ”Посланием...”, нельзя не откликнуться на краеведческие разыскания, опубликованные в журнале ”Mājas Draugs” за 1939 год. Статья автора, скрывшегося за инициалами ”В. Л.”, быть может, принадлежит Вилису Лейниексу (Вилису Плудонису) — виднейшему латышскому поэту и бесспорному авторитету в области русской поэзии. Таинственный ”В. Л.” приводит небезынтересные подробности, имеющие прямое отношение к ”Посланию...”. Если у Пушкина студент и кюстер проникают в мрачный подвал какой-то безымянной рижской кирхи, то ”В. Л.” загадочное это происшествие конкретизирует, связывает с известным каждому Домским собором. Такое утверждение аргументируется тем, что именно в Домском соборе со второй половины XV века предавали земле самых именитых рижан.

Статья из журнала ”Mājas Draugs” не осталась незамеченной. Переводчик ”Послания...” Карлис Штралс уверенно вводит Домский собор в текст латышской версии пушкинского стихотворения.

Откуда же у автора ”Послания...” столь достоверные сведения о Риге и рижанах? Один из источников бесспорен: обстоятельные рассказы о ливонской столице П. А. Осиповой, Алексея Вульфа, Анны Керн.

Вслед за обитателями Тригорского, которые отправились в неблизкую по тем временам Ригу, полетели письма с берегов Сороти. По словам Павла Антокольского, посланиям к Анне Керн суждено было стать продолжением стихотворения ”Я помню чудное мгновенье...” в прозе, ”живой стенограммой чувства, равной по силе самым избранным строфам лирики поэта”. У своих корреспондентов Пушкин выпрашивает самые разные сведения, связанные со столицей Ливонии. Его занимает все: и облик старинных улочек, и бытовой уклад горожан, и подробности о рижанах — военных и штатских. Вот псковский изгнанник обращается к Анне Керн: ”В Риге лучше, чем в Михайловском, известно, что делается в Европе”. Именно тогда, в середине 20-х годов, на Западе назревало всенародное возмущение против тиранических режимов... Все эти и другие события бесконечно занимали поэта... Из Риги в

Михайловское Анна Керн отправила четырехтомное издание Байрона. По этому поводу благодарный Пушкин незамедлительно отвечал: "Теперь Байрон получил в глазах моих новую прелесть, и все героини его примут в воображении моем те черты, которых нельзя позабыть".

В дни северной ссылки Пушкина поминутно обступала история. Его волновала близость старинных западных рубежей России — Польши, Литвы, Ливонии. В этих странах некогда разворачивались драматичные события, воссозданные в "Борисе Годунове". Прибалтийский край привлекал Пушкина и в связи с одной из самых заветных для него тем — темой Петра. На псковской земле и в Петербурге осмысливались события Северной войны, свою сокровенную суть раскрывали бесчисленные архивные источники, исследования русских и европейских историков. Быстрое пушкинское перо выводило названия ливонских и курляндских городов, приходо-мыз: Митава, Дюнамюнде, Мариенбург, Волмер, Трикат, Боуск, Мурмыза, Динабург, Либава... Автор "Истории Петра" рассказал о торжественной встрече Шереметева рижским магистратом у Карлусовых ворот, в ратуше и церкви Святого Петра. На страницах этого незавершенного труда упоминания о самых разных событиях в Балтии. ...1712 год. Царь "повелевает сенату послать слесарей в Ригу для починки старых ружей (молодых ребят, заобычных к слесарному делу) и велеть учить ствольному, замочному и ложному делу etc. etc. Также и седельному ремеслу: если же хватятся, а мастеров не будет, то с губернаторов взыщется штраф"¹. Или: "В Риге Петр пробыл 5 дней. С оберинспектором Исаевым сделал разные положения о торговле и проч. ..."²

В наброске неоконченной пушкинской повести "В 179* возвращался я..." поражают достоверные приметы ливонского народного быта конца XVIII века. Это и "печальная песня молодой эстонки", и упоминание о близкой "мызе", и выразительная характеристика эстонца—"почтаря", не в пример русским удалым ямщикам, "хладнокровного" и молчаливого... Реалии, названные в произведениях "Марья Шонинг", "Сцены из рыцарских времен", не дают

¹Пушкин А. С. История Петра/Полное собр.соч. в десяти томах. Том IX. — Л.: Наука, 1979. С. 207.

²Там же, с. 231.

достаточных оснований привязать их к тому или иному конкретному месту. Однако некоторые детали социального плана — жестокосердие баронов, резкий антагонизм между господами и крестьянами — позволяют предполагать, что сюжеты, образы, социальные и бытовые детали не чужды средневековой остзейской действительности.

В одной из статей латышского поэта Андриса Веяна, уроженца синеозерного латгальского края, есть такие строки: "В детстве долгими зимними вечерами мать читала мне пушкинские сказки. Помню, я спросил как-то: "А кто их написал?" И мать, улыбнувшись, ответила: "Добрый наш сосед". Так оно и было: от родных моих мест до Михайловского всего несколько десятков километров. Старики говаривали, что Пушкин бывал и в нашей округе. Очевидно, это легенда, да и расстояния в те далекие времена исчислялись иной мерой..."

И все же... Только ли преданием навеяны подобные рассказы?

Осенью 1825 года крестьяне Алексея Пещурова — предводителя уездного дворянства и опекуна Пушкина — не раз видели в поместье Лямоново опального поэта. Многие часы провел он с лицейским товарищем Александром Горчаковым, бродил по старым проселкам, по мельничной плотине, которая перекрывала мелководную речку Лжа. На другом ее берегу узкой полосой тянулись поёмные луга люцинской деревни Голышево. Стоило Пушкину перейти плотину или переплыть речку — и он оказывался в пределах нынешней Латгалии...

С прелюбопытной этой версией в какой-то мере соотносится и судьба дневника помещика Люцинского уезда Степана Вревского, современника и соседа Пушкина по Михайловскому. В конце 30-х годов одному из авторов этой книги абренский учитель Александр Александрович Макаров поведал такую историю. В двадцатых годах хранителем рукописи, где было немало интереснейших подробностей о пребывании Пушкина в Лямонове, стал другой Вревский — Михаил Борисович. Последний известный нам владелец дневника — некий Пленис... Что случилось с воспоминаниями человека из псковского окружения Пушкина — неизвестно. До сих пор никто определенно не знает и о том, куда подевались подлинные пушкинские письма, которые в середине 30-х годов волновали кровь рижских коллекционеров.

ЗАМЕТНЫЙ ЛАТЫШСКИЙ АКЦЕНТ

Эпиграфом к нашему разговору могут стать строки Яниса Плаудиса:

*Поэты наши научились пенью
У Пушкина. И любят латыши
Его стихов пленительных кипенье,
И ширь ума, и мощь его души.*

С той давней поры, когда Юрис Алуан перевел и в 1869 году опубликовал стихотворение "Что ты ржешь, мой конь ретивый?", Пушкин вошел в круг любимого чтения латышей. Вошел уверенно, стремительно, повсеместно. Через недолгое время читатели-латыши познакомились с "Кавказским пленником", стихотворением "Талисман" (в переложении Матиса Каудзите), фрагментами из "Цыган" и "Скупого рыцаря" (в свободном пересказе Фрициса Бривземниека). "Прекрасным цветком, пересаженным в сад латышской поэзии", — назвал Аусеклис пушкинскую "Русалку", переложенную на язык латышей Кажоку Дависом. В те же 60—70-е годы публикуются первые латышские версии рассказов "Гробовщик", "Выстрел", "Метель".

80-е годы прошлого столетия — новый этап в освоении пушкинского наследия. Заметно расширяется круг переводчиков, растет их мастерство. Отдельными изданиями выходят "Повести Белкина", "Пиковая дама", "Капитанская дочка". По словам Я. Судрабкална, картины пугачевского бунта из "Капитанской дочки" в памяти латышских читателей вызывали картины антифеодальных выступлений, гневных восстаний лифляндских и курляндских крестьян.

"Борис Годунов", — говорил Райнис, — самое народное творение пушкинского гения. "Пушкин, пленивший меня в школьные годы, в дни псковской ссылки стал еще ближе: ведь и автор "Бориса Годунова" в свое время был сослан в тот же Псковский край". По единодушному мнению Антона Биркертта и Виктора Хаусманиса, выполненный Райнисом перевод "Бориса Годунова" (1898 год) содействовал становлению и развитию латышской реалистической драматургии, обогащал ее новыми темами, сюжетами, образами, раздвигал границы использования

новой латышской лексики. Упорно разыскивал Райнис в родном языке эквиваленты русских фразеологизмов, идиом, присловий, которыми расцветена речь Варлаама, Мисаила и других людей из народа. Присловье "Литва ли, Русь ли, что гудок, что гусли" Райнис передал латышским фразеологическим сочетанием "Vai Lietava, vai Krievija, vai sept, vai vārīts". В наше время Я. Плаудис и П. Силс, редактируя этот перевод для собрания сочинений Райниса, предложили свой вариант поговорки: "Vai Lietava, vai Krievija, vai šajā malā, vai tajā galā". Замена эта, по наблюдению А. Биркерта, обесцветила исторически верный, эмоционально окрашенный фразеологизм, предложенный первым латышским переводчиком "Годунова". В живых латгальских говорах, в лексиконах находил Райнис архаизмы, диалектизмы, конструировал неологизмы, многие из которых позднее вошли в народный речевой обиход. Таким образом, Райнис выступает как большой художник, чуткий интерпретатор пушкинского наследия, осознающий высокое свое назначение: сближать разноплеменных людей, звать их к взаимопониманию, духовному единению, сотрудничеству. На языке своего народа Райнис и Рудольф Блауманис, Вилис Плудонис и Екабс Яншевскис воссоздали чуть ли не всю пушкинскую прозу, поэзию, драматургию. Роман "Евгений Онегин" в разные годы переводили Херберт Дорбе (1928), Янис Плаудис и Андрей Шмидре (1948), Мирдза Бендрупе (1968).

Размышляя о том, каких писателей он прежде всего считает своими, заветными, Линард Лайценс в автобиографических заметках говорит: "Один из первых — Пушкин. "Онегина" я все еще перечитываю — почти каждый год. Пушкина ощущаю как одного из величайших мастеров стиля в мировой литературе". В знаменитой статье о Пушкине Райнис ставит Татьяну Ларину выше Гретхен из "Фауста" Гете. Я. Судрабкалис в этой связи замечает: "В "Евгении Онегине" нас до сих пор поражают широкие картины природы и бытия тогдашней России".

Составители пушкинского "Избранного", опубликованного в 1957 году, к именам таких переводчиков, как Райнис и Плудонис, Блауманис и Яншевскис, присоединили первоклассного мастера стиха Карлиса Крузу. Его латышские аналоги русского текста принято считать наиболее близкими подлиннику, совершенными.

Многие пушкинские стихи — "Узник" и "Черная шаль", "Предчувствие" и "Романс" ("Под вечер, осенью ненастной...") — стали латышскими народными песнями. Фольклорные варианты в ряде случаев дополнялись строфами, которых нет в оригинале. Стихотворение "Узник", к примеру, в латышской изустной передаче завершается совершенно новым четверостишием:

*Нельзя мне, товарищ, с тобой улететь,
Я должен свой срок здесь в тюрьме отсидеть.
Закованы руки и ноги в цепях...
Нет силы, товарищ, в иссохших руках.*

* * *

Начало сценической истории пушкинских пьес в Латвии восходит к 1882 году, когда артисты Рижского латышского общества представили трагедию "Скупой рыцарь". В роли барона выступал драматург и актер, "отец латышского театра" Адольф Алуан. Подлинным взлетом пушкинской драматургии, поистине всенародным ее признанием в Латвии ознаменованы 50—60-е годы. С 1949 до конца 50-х годов неизменный успех на сцене Национального театра сопутствовал инсценировке рассказа "Станционный смотритель". Афишу спектакля украшали имена Берты Румнице и Мирдзы Шмитхене, Алфреда Янушана и Карпа Клетниекса, Карлиса Тренциса и Вилмы Варны. В это же время зрители театра Дайлес увидели созвездие талантов первой величины в инсценировке повести "Дубровский". Поставил спектакль Эдуард Смильгис. Роль Дубровского с подлинным блеском исполнял Артур Димитер. Достойным его партнером в роли Троекурова стал Артур Филипсон. В роли Марьи Кирилловны покоряла зал Лилита Берзиня...

Заметным событием в театральной жизни республики стала постановка пушкинских "Маленьких трагедий" в Национальном театре (1963 год). Известное представление об этом спектакле можно составить, назвав занятых в нем актеров: Иманта Адерманиса (Дон Гуан), Велту Лине (Лаура), Валдиса Акуратера (Дон Карлос), Лидию Фреймане (Дона Анна). Режиссерская концепция Яниса Зариня в полной мере отвечала пушкинскому завету об истинности страстей и правдоподобию чувств... В любых странах, в любых эпохах, воссозданных гением Пушкина, режиссер чувствовал себя уверенно, о всем сказал свое слово.

В репертуаре нашего Театра оперы и балета спектакли на пушкинские сюжеты стали традиционными, любимыми. "Борис Годунов" и "Пиковая дама", "Евгений Онегин" и "Мазепа", "Дубровский" и "Сказка о царе Салтане", балеты "Бахчисарайский фонтан" и "Сказка о попе и работнике его Балде" неизменно собирали полные залы. Рудольф Берзиньш и Артур Фринберг, Александр Дашков, Элфрида Пакуле и Петерис Гравелис, Янис Граудс и Янина Панкрате в пушкинском репертуаре вписали блестящие страницы в историю музыкального театра Латвии.

Латышским зрителям конца 30-х годов надолго запомнилась драма Яниса Грота "Пушкин". Перед театральным залом предстал поэт, трепетный и сердечный, протестующий и мудрый. Кульминационными взлетами спектакля стали доверительный, предельно искренний разговор Пушкина с Натальей Николаевной, эпизод, где в канун дуэльной трагедии поэт раскрывает душу лицейскому другу Константину Данзасу, сцена смерти поэта. В финале спектакля зрители видели Достоевского у памятника Пушкину... В свою пьесу Я. Грот включил переложенные на музыку Бернгардом Сосаром стихи не только Пушкина, но и Жуковского, и других поэтов той поры. "Пьеса Грота проникнута напряженным лиризмом, согрета искренним чувством, трогательной, покоряющей любовью к Пушкину". Так отзывался о спектакле Янис Судрабкалн.

Янис Гротс и Янис Судрабкалн, Мирдза Кемпе и Янис Плаудис, Ояр Вацietис и Имант Зиедонис, Марис Чаклайс и Андрис Веянс сплели поэтический венок во славу русского поэта.

Стихи Визмы Белшевицы, радующие "лица необщим выраженьем", окрашены багрово-золотыми красками осеннего Михайловского. Автор стремится отыскать ту грань, тот трудно уловимый предел, где теснее всего сходятся многосложное бытие русского гения и столь близкая его сердцу жизнь родной природы. Все в облике Пушкина покоряет латышскую поэтессу, все вызывает вдохновение:

*Александр Сергеевич, вы простите, простите меня,
Я и думать не думаю как-либо с вами равняться, —
Но михайловских яблочек вкусить на рассвете
осеннего дня —*

Это нужно поэтам; и сны о Михайловском — снятся.

(Перевод Т. Глушковой)

В сосредоточенных, скупых по слову и емких по мысли строфах Янис Судрабкалн не может сдержать своего восхищения дивным миром пушкинской лирики, художественными прозрениями поэта, отдает должное великим его предтечам... "В мир тайнства вступив неволью", придя в любимый край любимого поэта, Ария Элксне испытала неповторимое чувство первооткрытия. И в этом чутком проникновении, в этом святом познании дочь Латвии "крылами своими" осеняет Пушкин:

*Я была спокойна,
Все слыша, видя, не металась,
Я за твои слова держалась!*

(Перевод Л. Романенко)

При въезде в Пушкинские Горы бесчисленных паломников встречают строки Мирдзы Кемпе:

*Что можно подарить поэту,
Когда цветам здесь нет числа?
От сосен Райниса с приветом
Я ветвь победы принесла.*

*В ней звон и шум великой бури,
Стремленье гордое вперед...
Полет в ней к солнцу и лазури,
Что вдохновляют мой народ.*

Эти чувства разделяют все латышские поэты.

ПОСЛАНИЕ ДЕЛЬВИГУ

*Прими сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву.
Тебе поведаю, барон,
Его готическую славу.*

*Почтенный череп сей не раз
Парами Вакха нагревался;
Литовский меч в недобрый час
По нем со звоном ударялся;
Сквозь эту кость не проходил
Луч животворный Аполлона;*

Ну, словом, череп сей хранил
Тяжеловесный мозг барона,
Барона Дельвига. Барон,
Конечно, был охотник славный,
Наездник, чаши друг исправный,
Гроза вассалов и их жен.
Мой друг, таков был век суровый.
И предок твой крепкоголовый
Смутился б рыцарской душой,
Когда б тебя перед собой
Увидел без одежды бранной,
С главою, миртами венчанной,
В очках и с лирой золотой.

Покойником в церковной книге
Уж был давно записан он,
И с предками своими в Риге
Вкушал непробудимый сон.
Барон в обители печальной
Доволен, впрочем, был судьбой,
Пастора лестью погребальной,
Гербом гробницы феодальной
И эпитафией плохой.
Но в наши беспокойны годы
Покойникам покоя нет.
Косматый баловень природы,
И математик и поэт,
Буян задумчивый и важный,
Хирург, юрист, физиолог,
Идеолог и филолог,
Короче вам — студент присяжный,
С витою трубкою в зубах,
В плаще, с дубиной и в усах
Явился в Риге. Там спесиво
В трактирах стал он пенить пиво,
В дыму табачных облаков (...)
Студент под лестницей трактира
В каморке темной жил один;
Там, в виде зеркал и картин,
Короткий плащ, картуз, рапира
Висели на стене рядком.

Полуизмаранный альбом,
Творенья Фихте и Платона
Да два восточных лексикона
Под паутиною в углу
Лежали грудой на полу, —
Предмет занятий разнородных
Ученого да крыс голодных.
Мы знаем: роскоши пустой
Почтенный мыслитель не ищет;
Смеясь над глупой суетой,
В чулане он беспечно свищет.
Умеренность, вещал мудрец,
Сердец высоких отпечаток.
Студент, однако ж, наконец
Заметил важный недостаток
В своем быту: ему предмет
Необходимый был ... скелет;
Предмет, философам любезный,
Предмет приятный и полезный
Для глаз и сердца, слова нет;
Но где достанет он скелет?
Вот он однажды в воскресенье
Сошелся с кистером градским
И, тотчас взяв в соображенье
Его характер и служенье,
Решился подружиться с ним.
За кружкой пива мой мечтатель
Открылся кистеру душой
И говорит: "Нельзя ль, приятель,
Тебе досужною порой
Свести меня в подвал могильный,
Костями праздными обильный,
И между тем один скелет
Помочь мне вынести на свет?
Клянусь тебе айдееским богом:
Он будет дружбы мне залогом
И до моих последних дней
Красой обители моей".
Смутился кистер изумленный.
"Что за желанье? что за страсть?
Идти в подвал уединенный,

Встревожить мертвых сонм почтенный
И одного из них украсть!
И кто же?.. Он, гробов хранитель!
Что скажут мертвые потом?"
Но пиво, страха усыпитель
И гневной совести смиритель,
Сомненья разрешило в нем.
Ну, так и быть! Дает он слово,
Что к ночи будет всё готово,
И другу назначает час.
Они расстались.

День угас.

Настала ночь. Плащом покрытый,
Стоит герой наш знаменитый
У галереи гробовой,
И с ним преступный кистер мой,
Держа в руке фонарь разбитый,
Готов на подвиг роковой.
И вот визжит замок заржавый,
Визжит предательская дверь —
И сходят витязи теперь
Во мрак подвала величавый;
Сияньем тощим фонаря
Глухие своды озаря,
Идут — и эхо гробовое,
Смущенное в своем покое,
Протяжно вторит звук шагов.
Пред ними длинный ряд гробов;
Везде щиты, гербы, короны;
В тщеславном тлении кругом
Почиют непробудным сном
Высокородные бароны...

Я бы никак не сомневался оставить рифмы в эту поэтическую минуту, если бы твой прадед, коего гроб попался под руку студента, вздумал за себя вступиться, ухватя его за ворот, или погрозив ему костяным кулаком, или как-нибудь иначе оказав свое неудовольствие; к несчастью, похищение совершилось благополучно. Студент по частям разобрал всего барона и набил карманы костями его. Возвратясь домой, он очень искусно связал их проволокою и

таким образом составил себе скелет очень порядочный. Но вскоре молва о перенесении бароновых костей из погребя в трактирный чулан разнеслася по городу. Преступный кистер лишился места, а студент принужден был бежать из Риги, и как обстоятельства не позволяли ему брать с собою будущего, то, разобрав опять барона, раздарил он его своим друзьям. Большая часть высокородных костей досталась аптекарю. Мой приятель Вульф получил в подарок череп и держал в нем табак. Он рассказал мне его историю и, зная, сколько я тебя люблю, уступил мне череп одного из тех, которым обязан я твоим существованием.

Прими ж сей череп, Дельвиг: он
Принадлежит тебе по праву.

Обделай ты его, барон,

В благопристойную оправу.

Изделье гроба преврати

В увеселительную чашу,

Вином кипящим освяти

Да запивай уху да кашу.

Певцу Корсара подражай,

И скандинавов рай воинский

В пирах домашних воскрешай,

Или, как Гамлет-Баратынский,

Над ним задумчиво мечтай:

О жизни мертвый проповедник,

Вином ли полный иль пустой,

Для мудреца как собеседник

Он стоит головы живой.

1827 г.

ИСТОРИЯ ПЕТРА

(Страницы из книги)

1697

(...) Назначено было Петром посольство в Европу. Главной особою был генерал-адмирал Франц Яковлевич Лефорт, тайный советник Федор Алексеевич Головин и статский секретарь (думный дьяк) Прокофий Богданович Возницын. При них 4 секретаря; 40 господских детей знатных родов (в том числе и Меншиков) и 70 выборных солдат

гвардии с их офицерами, всего 270 человек. Петр скрылся между дворянами посольства. Посольство отправилось из Москвы 9 марта 1697.

Путь лежал через Лифляндию, принадлежавшую тогда Швеции. Королю дано было предварительное известие о путешествии (через шведского резидента Книпер-Крона) государя с требованием безопасного проезда, без церемоний, подобаемых его сану.

Шведский двор принял слова сии в буквальном смысле, и когда посольство вступило в шведские владения, то оно принято было простым дворянином, присланным генерал-губернатором рижским Далбергом. По дороге не было ни малейшего наряду, так что посольство принуждено было все нужное доставать с трудом и за большие деньги. Шведский же дворянин имел за посольством присмотр и содержал его как бы под честным караулом (следовательно, был военный отряд?). На замечание недовольных послов он отвечал, что поступает по приказанию начальства.

По приезде в Ригу губернатор не встретил посольства, не отвел квартир — и оно принуждено было нанять негодные дома в предместьи; были около их расставлены караулы, умножены дозоры, учреждены разъезды. Послы от себя отправили к губернатору жалобы и просили, чтоб с ними поступали по древнему обычаю, но губернатор, под видом болезни извиняясь, что не посетил послов, принял посланного в постеле, а для покупок позволил в крепость входить только шести человекам вдруг, и то под присмотром военных людей, и с тем, чтобы они к валам и к укреплениям близко не подходили. (...)

Петр, оставя посольство, нанял за 60 червонцев два малые бота и тайно выехал в опасное время оттепели в Курляндию и в Митаве дождался своего посольства, которое и было с великою честью принято.

Феофан пишет, что когда из Курляндии послан был курьер Суровцев, то был он 3 дня задержан губернатором, который, расспросив его, обобрал, обругал и едва отпустил.

Посольство из Курляндии намеревалось отправиться морем в Голландию; но либавские жители представляли об опасности плаванья по причине французских каперов¹.

¹Капер — морское торговое судно, вооруженное его владельцем для грабежа и нанесения ущерба неприятелю.

Но Петр не утерпел и с шестью особами, сев на корабль, уехал тайно в Кенигсберг, где имел свидание с бранденбургским курфирстом Фридериком I (incognito). (...)

1699

(...) Петр завоеванием Азова открыл себе путь и к Черному морю; но он не полагал того довольным для России и для намерения его сблизить свой народ с образованными государствами Европы. Турция лежала между ними. Он нетерпеливо обращал взоры свои на северо-запад и на Балтийское море, коим владела Швеция. Он думал об Ижорской и Карельской земле, лежащих при Финском заливе, некогда нам принадлежавших, отторгнутых у нас незаконно во время несчастных наших войн и междуцарствия. Уже обиды рижского губернатора казались Петру достаточным предлогом к началу войны. Молчание шведского двора в ответ на требования удовлетворения подавало к тому ж новый повод.

Между тем от Карла XII прибыло посольство с извещением о его вступлении на престол и с требованием подтверждения вечного мира.

Русские министры отвечали, что государь готов подтвердить прежние договоры, но не прежде как по удовлетворению за обиды, причиненные посольству и Возницыну, который на обратном пути через Ригу был ограблен и обижен тем же Далбергом. Петр требовал великого посольства с извинениями etc., также город Нарву или Нейшанец (Канцы) с окрестной землею. (...)

Ответ Карла XII получен уже в 1700. Король отвечал, что рижский губернатор был совершенно прав, а жалобы русского двора неосновательны. В требовании же пристани на Балтийском море отказано.

Между тем, узнав о стараниях Швеции через польского посла Лещинского не допустить заключения мира с Россией по прошествии 2-летнего перемирия, Петр приступил к союзу с королями польским и датским, недавно противу Швеции заключившими тайный союз. 16 июля Петр с датским королем через посла его Павла Гейнса заключил союз, с уговором к исполнению оного не приступать прежде заключения мира между Россией и Турцией.

Ноября 11-го заключен наступательный союз и с польским королем через посла его тайного советника фон

Паткуля с тем, чтоб Польше начать войну того же года, а России по замирению с Турцией. Петр должен был действовать в Ингерманландии¹ и Карелии, а польский король с саксонскими войсками в Лифляндии и Эстляндии, обещающая склонить на то ж и Речь Посполитую. (...)

1700

ВОЙНА СО ШВЕДАМИ. НАРВСКОЕ СРАЖЕНИЕ

(...) В Новгороде принял он в свою службу герцога (?) фон Кроа и под Нарву отправил новгородского губернатора кн. Трубецкого с шестью полками (в том числе старой службы 2 Новгородские и 2 Псковские — стрелецкие).

23 сентября Петр со своею гвардией прибыл под Нарву и повелел делать апроши и батареи.

14 октября прибыл генерал-фельдмаршал граф Головин с 5000 нерегулярной конницы московских и смоленских дворян с их слугами, также и генерал Автоном Головин с достальными полками его дивизии. С нерегулярной конницею отправился боярин Шереметев по ревельской дороге для наблюдения неприятеля и в девяти верстах от Нарвы, напав на 600 шведов, разбил их и взял в плен майора Паткуля, одного капитана и 26 рядовых. (...)

1705

(...) Взятие Митавы было для нас важно, ибо неприятель тем отрезан был от Лифляндии; и нам далее в Польшу безопасен есть (письмо Петра к Ромодановскому).

Из-под Митавы Петр отправил к крепости Боуск² бомбардирского капитан-поручика Керхина и полковника Балка с двумя пехотными и одним драгунским полками, предписав первому, в случае сильной обороны, уговаривать к сдаче на капитуляцию. (...)

Крепость сдалась почти без сопротивления (...) и гарнизон, как и митавский, отпустили в Ригу. Пушек в Боуске было 58.

На взятие Митавы выбита медаль. (...)

¹Одно из старых названий Ижорской земли.

²Бауска.

(...) Петр, остановясь в Дубровне и с воинского совету, послал в Митаву чрез Александра Кикина — повеление Боуру и Розену не отлучаться далеко от Митавы; Репнину быть осторожну и, буде король станет дожидаться Рейншильда, то б непременно отступить.

Услыша, что Карл хочет уж ийти к Вильне, Петр написал другое письмо к Кикину, повелевая до того короля не допускать; если же того не возможно будет, то, замки Митавский и Боуский подорвав, ийти — пехоте в Полоцк, а коннице — вслед за Левенгауптом и мешать ему соединиться с Карлом; (...)

(...) Тогда был заключен брак Анны Иоанновны с герцогом курляндским, и <Петр> повелел Шереметеву и другим начальникам контрибуцию с курляндцев не брать.

Петр отпраздновал день Полтавского сражения по новосочиненной службе и повелел праздновать оный в роды родов. 8 июля получил он известие о взятии столичного лифляндского города.

В Ригу введена была целая шведская армия (22 полка), мещанство вооружено, дворянство стеклось для защиты города, укрепления были исправлены, начальство поручено генерал-губернатору Стрембергу.

Репнин осаждал и бомбардировал Ригу 3 месяца. 11 марта возвратился Шереметев.

Войска нашего собралось 24 пехотных полка и 8 конных (в том числе 2100 казаков). Город был окружен, поделаны всюду батареи, в двух верстах ниже города на урчище Гофемберге заложена малая крепость. Шереметев назвал оную Александр-шпицем (шанцем?) в честь прибывшему Меншикову, который по указу Петра должен был не допустить к Риге шведского флота. Сия крепость пресекала сообщение Риги с Динаминд-шанцем¹ и не допускала флота к городу. Неприятель производил сильную канонаду и частые вылазки. К Динаминд-шанцу подходили шведские корабли. Они были неоднократно отбиты от наших укреплений и наконец ушли и более не показывались.

¹Болдерая, окруженная военными укреплениями.

30 мая шведы, выбитые из предместия, выжгли его раскаленными ядрами. В городе оказался голод, вскоре потом моровая язва; она перешла было и в наше войско, занесенная беглецами, но вскоре пресечена.

Шереметев предложил графу Стрембергу сдачу города на честных условиях, дав ему сутки на размышления. Стремберг просил более времени для совещания с дворянами и гражданами, на что Шереметев и согласился (двое суток до 14-го числа июня), после чего Стремберг требовал пропуска двух курьеров: одного в Швецию, а другого в Динаминд-шанц. Шереметев отвечал бомбами, в 10 дней брошено оных 3389. Стремберг просил 10 дней срока. Даны ему 48 часов.

Из-под Риги, меж тем, генерал-поручик Боур отправился для взятия Пернова.

30-го присланные 9 депутатов подали Шереметеву свои условия; им предложили другие, на кои ни депутаты, ни Стремберг не согласились; в особенности они упорствовали в том, чтоб дворянство Петру не присягало. Наконец обе стороны согласились. Гарнизон вышел со всеми воинскими почестями. Духовные и гражданские права подтверждены были во всей силе, также и право магистрата.

Потом редуты с левой стороны Двины и апроши все заровнены. 4 июля Репнин вступил в город с шестью полками, приняв караул и всю артиллерию (567 пушек etc.). Только 5132 человека вышли из Риги с храбрым Стрембергом, в том числе 2905 больных, до 60 000 погибло.

250 офицеров и рядовых были удержаны в силу капитуляции, как лифляндцы из завоеванных городов. Сверх того (как природные лифляндцы) генерал-майор Альфендель, 5 полковников, 12 подполковников, 19 майоров, 65 обер-офицеров, 22 члена магистратских, мещан 610 etc. etc.

12 июля в лагере нашем происходило обычное торжество, и Шереметев вошел в город торжественно. У Карлусовых ворот магистрат поднес ему золотые ключи города весом в 3 фунта с латинской надписью. В королевском замке встретило его дворянство, магистрат и духовенство. Оттуда Шереметев отправился в кирку, где дворянство и духовенство присягнули Петру, оттоле в ратушу, где присягнули мещане; шведские гербы заменены российскими. Шереметев угощал потом в своем лагере новых подданных своего государя.

30 сентября Петр подтвердил капитуляцию в Петербурге двумя дипломами по ходатайству барона Левенвольда. Шведская *редукция*¹ была уничтожена, и Лифляндия искренне радовалась торжеству россиян. Дворянство поднесло Шереметеву диплом на право гражданства в их земле.

Петр и тут удержал гарнизон рижский вопреки слова, данного его фельдмаршалом. Стремберг отправлен был в Петербург, где Петр принял его с честью, вскоре потом разменен он был на Вейде.

Наш урон, считая умерших от язвы, состоял в 9000.

Стремберг в своей капитуляции выговорил весь рижский архив с библиотекой, письмами и проч. Петр на сей пункт весьма подробное дал решение. (...)

На взятие Риги выбита медаль. (...)

Петр послал в Ригу тайного советника Левенвольда для учреждения гражданского порядка в Лифляндии, придав ему в помощь Зыбина и еще офицера, знавшего по-немецки и по-латыни. Сам Петр занялся исправлением крепостей и гаваней, вызовом иноземцев на заселение мест, опустошенных язвою etc. Он составил 15 000-й корпус лифляндский из природных тамошних дворян. (...)

Петр повелел Шереметеву на продовольствие войска денег с Литвы не собирать, а брать хлебом *побольше бочки*, ибо из Лифляндии взять его негде; буде же хлеба не дадут, то ставить у них войско на квартиры, а хлеб брать из Курляндии, *обходя маетности герцога*.

NB. Указ. Порции офицерские — 2 фунта хлеба в день, 2 фунта мяса, кварта² пива, гарнец³ круп (соли гарнец на месяц) etc. каждый по чину. (...)

1711

(...) 9 января (?) умер герцог курляндский в 40 верстах от Петербурга. Тело отвезено было в Курляндию, и Мен-

¹*Редукция* — здесь: конфискация мыз шведской администрацией при отсутствии у владельцев требуемых документов.

²*Кварта* — мера жидкости; штоф, кружка, восьмая или десятая часть ведра.

³*Гарнец* — старая, до введения метрической системы, мера сыпучих тел, равная 3,28 литра.

шикову повелено ввести в оную войско для отвращения замешательств. (...)

Из Мемеля сухим путем Петр прибыл в Ригу 18 ноября, в коей встречен с торжеством. Здесь пробыл он до 7 декабря. (...)

В сей день было торжество и горел щит с надписью: "Виват оборона Лифляндии". (...)

1712

Петр обнадеживал короля <Августа> будущими выгодами, упоминал о 15 000 русского войска, единственно для Августа¹ посланного, о сборе провианта обещал послать указ, о деньгах обещанных умалчивает etc.

Август еще требовал Лифляндии; Петр отвечал, что он ее себе не прочит, а требует токмо Ингерманландию, Ингрию² и Карелию, как старинные вотчины etc. (...)

Петр занимался особенно доходами. Повелел брать пошлину без отволочек при складке товаров, а не с продажи оных, как было прежде (с рубля). Учредил обер-инспектора над Рижским магистратом (не в противность ли лифляндским правам?) московского купца Илью Исаева. (...)

21-го <июня> Петр отправился в Ригу на почте³, куда прибыл 25-го, торжественно.

Здесь узнал он о нечаяном мире Франции с Англиею. (...)

Петр, взяв в опеку Курляндию, определил к ее высочеству обер-гофмейстером Петра Бестужева, повелел ему 1) по силе условия с покойным герцогом выдавать 40 000 на содержание Анне Иоанновне, 2) хлеб во всей Курляндии описать и беречь до приходу русских шкиперов, 3) до времени молчать о сем etc. (...)

1716

(...) Петр в новый год писал к рижскому губернатору Петру Михайловичу Голицыну, приказывая учредить в Курляндии для него подводы (50 или 60) от Риги до Митавы; до Либавы отправил он своих лошадей и конюхов. (...)

¹Август II Сильный (1670—1733) — курфюрст саксонский, король польский. Участник Северной войны 1700—1721 гг. на стороне России.

²Территория по берегам Невы и юго-западному Приладожью.

³На почте — на переменных (перекладных) лошадях.

На другой день (27 января) отправился Петр к водам. Екатерина следовала за ним с царевной Екатериной Ивановной, которую хотели выдать за герцога Мекленбургского. 29-го из Риги Петр писал к Апраксину, извещая его, что дорога ему пользует. (...)

В Риге, негодуя на капитана Сиверса, не исправившего поручения касательно канатов, пишет он Апраксину — лучше бы взял на себя сие дело. (...)

Из Митавы Петр заехал в Либаву, где зимовала гвардия и 40 галер. На пути Петр два раза занемогал. (...)

1717

(...) Екатерина приехала в Данциг, и 21-го <сентября> Петр с ней отправился водою до Кенигсберга, повелев Шереметеву в Петербург идти с войском.

В Митаву прибыл Петр 27 сентября. Анна Иоанновна встретила дядю своего за городом.

28-го Петр прибыл в Ригу; отसेле писал он Ушакову об облегчении судьбы шведских пленников (29-го). 30-го выехал в Петербург.

3 октября за Ревелем встретили государя Апраксин и войско. Царь и подданные его плакали от радости. (...)

1721

Достойна удивления разность между государственными учреждениями Петра Великого и временными его указами. Первые суть плоды ума обширного, исполненного доброжелательства и мудрости, вторые нередко жестоки, своенравны и, кажется, писаны кнутом. Первые были для вечности, или по крайней мере для будущего, — вторые вырвались у нетерпеливого самовластного помещика. (...)

1835—1836 гг.

ИЗ ПИСЕМ А. С. ПУШКИНА

Сестре О. С. Пушкиной.

27 июля 1821 года. Из Кишинева в Петербург.

Вернулась ли ты из своего путешествия? Посетила ли снова подземелья, замки, Нарвские водопады? Развлекло

ли это тебя? Любишь ли ты по-прежнему одинокие прогулки?

П. А. Вяземскому

14 августа 1825 года. Из Михайловского в Ревель.

(...) Благодарю очень за "Водопад"¹. Давай мутить его сейчас же.

... с гневом

Сердитый влаги властелин —

Вла Вла звуки музыкальные, но можно ли, напр., сказать о молнии властительница небесного огня? Водопад сам состоит из влаги, как молния сама огонь. Перемени как-нибудь, валяй его с каких-нибудь стремнин, вершин и тому подобное.

2-я строфа — прелесть! — Дождь брызжет от (такой-то) сшибки

Твоих междуусобных волн.

Междуусобный значит *mutuel*, но не включает в себе идеи брани, спора — должно непременно тут дополнить смысл.

5-я и 6-я строфы прелестны.

Но ты питомец тайной бури.

Не питомец, скорее родитель — и то не хорошо — не соперник ли? тайной, о гремящем водопаде говоря, не годится — о буре физической — также. Игралище глухой войны — не совсем точно. Ты не зеркало и проч. Не яснее ли и не живее ли: Ты не приемлешь их лазури *etc*². Точность требовала бы не отражаешь. Но твое повторение ты тут нужно.

Под грозным знаменьем *etc*. Хранишь *etc.*, но вся строфа сбивчива. Зародыш непогоды в водопаде: темно. Вечно бьющий огонь, тройная метафора. Не вычеркнуть ли всю строфу?

Ворвавшись — чудно-хорошо. Как *среди пустыни etc*. Не должно тут двойным сравнением развлекать внимания — да и сравнение не точно. Вихорь и пустыню уничтожь-ка — посмотри, что выйдет из того:

Как ты, внезапно разгорится.

¹Имеется в виду стихотворение П. Вяземского "Нарвский водопад".

²Впрочем, это придирка. (Примечание А. Пушкина.)

Вот видишь ли? Ты сказал об водопаде *огненном* метафорически, т.е. *блистающий, как огонь*, а здесь уж переносишь к жару страсти сей самый водопадный пламень (выражаюсь как нельзя хуже, но ты понимаешь меня).

Итак, не лучше ли:

Как ты, *пустынно* разразится
etc. а? или что другое — но разгорится слишком натянуто.
Напиши же мне: в чем ты со мною согласишься.

А. А. Дельвигу.

20 февраля 1826 года. Из Михайловского в Петербург.

(...) Что за прелесть эта "Эда"¹! Оригинальности рассказа наши критики не поймут. Но какое разнообразие! Гусар, Эда и сам поэт, всякий говорит по-своему. А описания лифляндской природы! а утро после первой ночи! а сцена с отцом — чудо!

А. А. Дельвигу.

31 июля 1827 года. Из Михайловского в Ревель.

(...) Если кончу послание к тебе о черепе твоего деда, то мы и его тиснем². (...) Пиши мне о своих занятиях. Что твоя проза и что твоя поэзия? Рыцарский Ревель разбудил ли твою заспанную музу?

П. А. Осиповой³

25 июля 1825 года. Из Михайловского в Ригу.

(...) Надеюсь, что, когда вы получите эти письма, вы уже весело и благополучно прибудете в Ригу. Мои петербургские друзья были уверены, что я поеду вместе с вами. Плетнев сообщает мне довольно странную новость: решение его величества показалось им недоразумением, и они решили передоложить обо мне. Друзья мои так обо мне хлопочут, что в конце концов меня посадят в Шлиссельбургскую крепость. (...)

С нетерпением ожидаю от вас вестей — пишите мне, умоляю вас. (...)

¹Поэма Е. А. Баратынского "Эда".

²Речь идет о публикации стихотворения "Послание Дельвигу" ("Череп") в альманахе "Северные цветы".

³Во второй половине 1825 года своим рижским корреспондентам Пушкин отправил 13 писем.

П. А. Осиповой.

29 июля 1825 года. Из Михайловского в Ригу.

(...) если вам весело в Риге, развлекайтесь и вспоминайте иногда тригорского (т.е. михайловского) изгнанника — вы видите, я, по старой привычке, путаю и наши жилища.

П. А. Осиповой.

8 августа 1825 года. Из Михайловского в Ригу.

Вчера получил я, сударыня, ваше письмо от 31-го, написанное на другой день после вашего приезда в Ригу. Вы не можете себе представить, до какой степени я тронут этим знаком вашего расположения и памяти обо мне. Он проник до глубины моей души, и из глубины души благодарю вас. (...)

Я полагаю, сударыня, что в Риге вы больше знаете о том, что делается в Европе, чем я в Михайловском. (...)

А. П. Керн.

8 декабря 1825 года. Из Тригорского в Ригу.

Никак не ожидал, чародейка, что вы вспомните обо мне, от всей души благодарю вас за это. Байрон получил в моих глазах новую прелесть¹ — все его героини примут в моем воображении черты, забыть которые невозможно. Вас буду видеть я в образах и Гюльнара и Лейлы² — идеал самого Байрона не мог быть божественнее. (...)

¹По просьбе Пушкина Анна Керн прислала в Михайловское сочинения Байрона.

²Гюльнара и Лейла — героини поэм Байрона "Корсар" и "Гяур".



ГРАЖДАНИН "ЛИВОНСКИХ АФИН" — НИКОЛАЙ ЯЗЫКОВ

Пожалуй, никого другого из своих соотечественников, кроме Языкова, русские стихотворцы так согласно, так определенно не относили к стану заправских ливляндцев. И упоминали об этом в своих разговорах, письмах, дружеских посланиях. Перелистаем сборники разных поэтов, и пред нами в звонких и мудрых созвучиях явится Языков — дерптский старожил и преданный Ливонии россиянин.

Александр Пушкин:

Давно б на дерптскую дорогу
Я вышел утренней порой
И к благосклонному порогу
Понес тяжелый посох мой.
И возвратился б оживленный...

(«К Языкову», 1824 год)

К тебе собирался я давно
В немецкий град, тобой воспетый...
И я с веселою душой
Оставить был совсем готов
Неволю невских берегов...

(«К Языкову», 1827 год)

Когда из капища наук¹
Являлся он в наш сельский круг...

(Из «Путешествия Онегина»)

¹А. Пушкин имеет в виду паломничество Николая Языкова из Дерпта — «капища (храм у восточных и прибалтийских славян в дохристианскую эпоху) наук» — в Тригорское.

Евгений Баратынский:

Языков, буйства молодого
Певец роскошный и лихой!
По воле случая слепого,
Я познакомился с тобой
В те осмотрительные лета...¹

(“Н. М. Языкову”, 1831 год)

Петр Вяземский:

Я у тебя в гостях, Языков!
Я в княжестве твоих стихов,
Где эхо не забыло кликов
Твоих восторгов и пиров.
Я в Дерпте, павшем пред тобою!
Его твой стих завоевал;
Ты рифмоносною рукою
Дерпт за собою записал...
Он твой, сей Дерпт...
По стогнам, в рассказнях бесед
Еще грохочут отголоски
Твоих студенческих побед.
Ни лет поток, ни элементы
Тебе не страшны под венцом,
И будут поздние студенты
Здесь петь о имени твоём...

(“К Языкову”. Дерпт, 1833 год)

(...) Сохранивший до кончины
К песням свежую любовь,
Удаль русской братовщины
И студенческую кровь².

(“Языков”, 1853 год)

¹Как видим, Е. Баратынский не забыл своего знакомства с дерптским студентом.

²Н. Языкова, организатора русской университетской корпорации “Рутения”, П. Вяземский почитал душой студенческого Дерпта.

Леонид Якубович:

(...) Они¹ полны божественных созвучий,
Как рокот арф и гимн морской волны!
Отчизну ли поет и гордо и правдиво,
Гроба Ливонии, героев племена.

(“Н. М. Языкову”, 1836 год)

Петр Алексеев²:

(...) Как аромат душистого вина,
За пуншевым столом сладка, шумна
Душа пиров — твоя песнь удалая!
В ней, как звезда на небе зажжена,
Горит в лучах студентов старина,
Душевный пыл и молодость лихая.

(“К Н. М. Языкову”. Дерпт, 1837 год)

Владимир Соллогуб³:

Мы здесь поем в тиши весенней ночи;
Ты ж, пробудясь от шума голосов,
Сомкнешь опять мечтательные очи,
Не расслыхав воззванья бурсаков...

(“Серенада”, 1841 год)

Языков и сам не отделял себя от города на берегах
Эмайыги, гордился слитностью с ним:

Здесь человеку нет цепей,
Здесь ум божественный не скован...

(Из письма братьям от 13 ноября 1822 года)

¹Автор стихотворения подразумевает стихи и мечты Н. Языкова.

²П. Алексеев — литератор из дерптской студенческой когорты.

³В. А. Соллогуб — известный поэт и прозаик. В дерптские свои годы (1830—1834) стал автором “Серенады” (“Накинув плащ, с гитарой под полюю...”), которую посвятил блистательному своему предшественнику. “Языкова, — пишет В. Соллогуб в “Воспоминаниях”, — я уже не застал, но о нем в студенческих кругах сохранилась лучезарная легенда”. Этому стихотворению суждено было стать гимном дерптских студентов. Здесь приводится один из вариантов последней строфы.

Здесь духа творческая сила
Во мне мужала и росла...

(Языковская страница в альбоме М. Н. Диринной)

Моя любимая страна,
Где ожил я, где я впервые
Узнал восторги удалые
И музы песен и вина!
Мы здесь творим свою судьбу,
Здесь гений жаться не обязан
И Христа-ради не привязан
К самодержавному столбу!
Приветы вольные, живые
Тебе, любимая страна...

(“Дерпт”)

Чинный, чопорный Дерпт, оглашаемый разноязыкими кликами буршей, — во времена Языкова в Дерпте учились немцы, эстонцы, латыши, русские, — предстает во многих стихах поэта студенческих его лет. И происходит так не по воле случая. Университетский город с его “свободой мнений”, “благородным стремлением на поле славы и наук” бесконечно много дал для гражданского становления Языкова, общего и художественного его развития. Студент философского отделения ставит в известность братьев о “вседневных” своих занятиях, о лекциях любимых профессоров, о разысканных и прочитанных книгах. К европейски известному Дерптскому университету Языков был подготовлен. Серьезное домашнее образование. Недолгое учение в Горном кадетском корпусе. Свое намерение продолжить занятия в Петербургском университете по настоянию братьев изменил в пользу Дерпта.

Какие только теоретические курсы не прослушал Языков! “Объяснение избранных мест из русских поэтов и прозаиков”, история русской литературы, эстетика, “Живопись и архитектура в эпоху античную”, политическая экономия и сопряженные с ней дисциплины, европейское международное право, русское государственное устройство и управление, современное состояние европейских государств, теоретическая физика, логика, философское учение о религии... Как видим, лекциями по своему профилю

Языков не ограничивался и, вечно недовольный собой, искал неиспользованные возможности освоения новых знаний. В ответ на предложение братьев помочь младшей сестре "найти дорогу к храму наук" Языков отвечал: "Для такого подвига должно было больше пожить в Дерпте".

Еще в прошлом веке исследователи показали несостоятельность легенды о Языкове как недоучившемся студенте, который "сбился с круга", "предавался бесконечным увеселениям", воспевал богемный быт бурсаков. Дерптский профессор Е. Бобров сумел разглядеть подлинный облик поэта, его влюбленность в жизнь, поэзию, науку. С наблюдениями биографа соотносится и самопризнание Языкова: "Я не участвую ни в балах, ни в собраниях, ни в танцах, ни в фантах; мне кажется, что танцуя вытряхашь ум из головы..."¹

Изо дня в день продолжалось постижение ливонской истории. Языков выписывает из Риги все новые и новые источники. Среди этих книг "История государства Российского" Н. Карамзина, двухтомная "Ливонская хроника" И.-Г. Арндта, изданная в конце сороковых — начале пятидесятых годов XVIII века, "Петр Великий как человек и правитель". Автор последнего труда — пастор из Руены, доктор богословия Венъямин Бергман². Его четырехтомное сочинение опубликовали рижские и митавские издатели в 20-х годах XIX века. Свое восхищение историком из Руены Языков высказывал неоднократно. При этом вступал в острую полемику с Гарлибом Меркелем, который придерживался иного мнения об этом исследовании. О незаслуженно строгом отзыве автора "Латышей..." на летопись деяний Петровых, составленную В. Бергманом, Языков узнал из журнала "Zuschauer" за 1825 год. В конечном счете каждый сколько-нибудь основательный труд по истории Остзейского края оказался в дерптской библиотеке Языкова. Многие страницы специальных исследований лифляндских хронистов стали фабульной основой стихов и поэм.

Любознательность молодого Языкова поражает. Однажды ему случилось целую неделю провести в имении,

¹Из письма к брату Александру от 29 января 1823 года.

²Его отец Густав Бергман известен как первый собиратель и издатель латышских народных песен.

которым некогда владел современник Петра — Вильбоа. Поэт осматривал залы, еще хранившие приметы "прежнего великолепия", любовался полотнами старых мастеров. Впечатления, полученные от поездок в окрестности Дерпта (Камби¹, мыза Ратсгоф²), позднее — в Ревель, Печоры, Изборск, Оденпе, Оберпален³, Вейсенштейн⁴, где, по преданию, был убит Малюта Скуратов, резче оттеняли "тайное тайных" в трудах остзейских ученых. "Здесь совершенно другой мир, другие люди, даже наружность людей иная", — делился поэт своими наблюдениями с братом Александром.

Языков странствовал по Эстляндии и приграничным землям. И снова видел руины древних замков, остатки их зубчатых стен и бойниц, полузасыпанные рвы. Бастионы напоминали о былой своей славе, волновали сложными о них легендами.

*Вон там, господствуя над берегом и холмами,
Две башни и стена с высокими зубцами —
Остатки подвигов могучей старины —
Как снег, белеются, луной озарены.*

(*"Развалины"*)

"Где же искать вдохновения, — задавался вопросом Языков, — как не в тех веках, когда люди сражались за свободу и отличались собственным характером?" По знанию остзейской и российской истории Языкова, пожалуй, можно сравнить только с Карамзиным. Воображение поэта волновали тени мифологических и подлинных пращуров. В Дерпте возникли замыслы стихов о Прибалтийском крае. Если перелистать полное собрание стихотворений Николая Языкова, нельзя не подивиться обилию произведений о Ливонии, их жанровому многообразию. Это послания и баллады, поэмы и романсы, путевые зарисовки, драматические сцены и студенческие песни. И чуть ли не весь этот ливонский цикл рассыпан по альбомам известных в свое время хозяек дерптских литературных салонов — Марии Мойер, Александры Воейковой,

¹Теперь Камбья.

²Ратсмуйжа.

³Вана-Пылтсамаа.

⁴Теперь Пайде.

Марии Дириной. Это романс "Конрад одевается в латы", стихотворения "Дерпт", "Развалины", "Корчма", "Чудское озеро", "Ливония", "Чувствительное путешествие в Ревель", поэмы "Меченосец Аран" и "Ала".

Карамзин в свое время высказал Константину Батюшкову заветную свою мысль: "...пусть его молчит с друзьями. Лишь бы говорил с веками". Прислушаемся к диалогу, который вел с былыми столетиями Николай Языков:

*Когда на своде голубом
Выходит месяц величавый,
И вечер пасмурным крылом
Оденет дерптские дубравы,
Один, под кровом тишины,
Я здесь беседую с минувшими веками;
Героев призраки из мрака старины
Встают передо мной шумящими рядами...*

(*"В. М. Княжевичу"*)

Пребывание в Дерпте — с 1822 по 1829 год — имело для Языкова самые значительные последствия: и для творчества, и для судьбы. Все, что нам известно о поэте этих лет, дает возможность говорить о четырех кругах лифляндского его общения. Во-первых, Языков перезнакомился с доброй половиной тогдашних русских писателей, которые в двадцатые годы наезжали в Дерпт. Это В. Жуковский, П. Вяземский и К. Батюшков, В. Соллогуб и А. Бестужев-Марлинский, В. Даль, А. Илличевский и Ф. Булгарин. С иными из них он сошелся тесно, с другими ограничился коротким знакомством. Добрые отношения установились с немецким литератором, далеко не бесталанным переводчиком русской поэзии Карлом Фридрихом фон дер Боргом. В его доме Языков даже на недолгое время поселился. Во-вторых, это дерптские наставники поэта, профессора — филолог В. Перевощиков, историки братья Эверсы, правоведы В. Клоссиус и Г. Дабелов, астроном Струве, физик Г. Паррот. Совместными стараниями Языкова и университетского библиотекаря Эмиля Андреса появился немецкий перевод стихотворения В. Жуковского "Старцу Эверсу". Тут же положенные на музыку сотоварищем поэта Науманом, заздравные строфы эти стали студенческой песней. Впоследствии Э. Андрес вспо-

минал: "Языков был человек свободомыслящий... Немецкую литературу он любил. Некоторые его стихотворения я стихами же переложил по-немецки, к его полному одобрению. Из Москвы он прислал мне после два тома своих стихотворений с авторским посвящением". В-третьих, среди постоянных собеседников Языкова его университетские однокашники — медик Агатон Бюш, правоведы Алекс Гамбс, Андрей Гофман и Леонгарт Вебер, философ Георг Хаусман, экономисты Карл Пельцер и Эдуард фон Вистенгаузен. Когда А. Бюш сдал последний экзамен и намеревался покинуть Дерпт, Языков просил своего брата оказать приятелю всяческое содействие в определении на службу. В письме немаловажное признание: "Я ему очень благодарен по части лифляндской истории. Я через него пользовался кой-чем редким..." В-четвертых, это те воспитанники университета, которые составили русскую корпорацию "Рутения". Чувство взаимной симпатии соединило Языкова с Алексеем Вульфом. Тем самым Вульфом, который сдружил дерптского студента с Пушкиным. В книгу языковских стихов входят послания, адресованные "птенцам из дерптского гнезда" — Петру Шепелеву, Александру Татаринovu, Владиславу Княжевичу, Николаю Киселеву, Александру Степанову. А. Татаринov и В. Княжевич, П. Алексеев и С. Шемиот, А. Петерсон и А. Лаппа, А. Тютчев и А. Степанов (впоследствии рижский учитель) не были чужды сочинительству. Молодая эта литературная поросль являла собой ту близкую по духу среду, ту атмосферу исканий, творчества, непокоя, без которых вряд ли состоялось бы столь стремительное и победное восхождение Языкова-поэта. И, конечно же, пленительные лифляндки Мария Протасова-Мойер, ее сестра Александра Протасова-Воейкова, Мария Дирина... Все они подолгу жили в Дерпте, многое связывало их с Остзейским краем.

Мария Андреевна Протасова, в замужестве Мойер, жена известного в Лифляндии и России хирурга, дерптского профессора, вызывала у Языкова чувство восхищения: "...я никогда не забуду (Марию Андреевну), потому что первый раз видел в женщине столько доброты, познаний, вообще великолепную совокупность". Среди многих стихотворений, в которых предстает бесконечно милый образ, едва ли не самое сильное — элегия "Рок". И на этот раз слышится отзвук дерптских дней, безысходность

первой утраты. Двадцатидвухлетнюю Марию Мойер взяла ранняя могила... Воспел поэт и дочь Марии Андреевны — трехлетнюю Катеньку Мойер (стихотворения "Как очаровывает взоры", "Благословенны те мгновенья").

В честь другой обворожительной русской лифляндки Александры Андреевны Воейковой Языков сложил больше стихов, чем посвятил всем другим "предметам страсти нежной", вместе взятым. Жена профессора русской словесности Дерптского университета А. Ф. Воейкова (Протасова старшая) славилась редкой красотой. Не все знали о другом — несчастном ее замужестве. Семь раз обращалась Воейкова к поэту с одной-единственной просьбой — написать для нее стихи. И всякий раз все новые альбомные страницы заполняли летящие языковские строки.

*Она меня очаровала,
Я в ней нашел все красоты,
Все совершенства, идеалы
Моей возвышенной мечты.*

Словно пушкинская Анна Керн, Александра Воейкова подвигла Языкова на самые совершенные, самые дивные его творения.

*Не вы ль
Мне песни первые внушили,
Мне светлый указали путь...*

Заметим: имя пушкинского "божества" не упомянуто здесь всуе. Анна Керн близко знала сестру А. Ф. Воейковой Марию Мойер, самым лестным образом отзывалась о ней в своих воспоминаниях: "М-ме Мойер, ангел во плоти, первая любовь В. Жуковского и его муза, подружилась с нами, и мы почти каждый день виделись..."

"Любви чарующая сила" водила пером Языкова, когда он заполнял альбом женщины "непобедимой красоты" своими стихами: "Забуду ль вас", "На петербургскую дорожку", фрагмент из "Меченосца Арана", "Песня короля Регнера", "К А. А. Воейковой". Справедливости ради скажем: музы с Александрой Андреевной не расставались. Для В. Жуковского она стала прообразом Светланы. Ею восторгались Евгений Баратынский, Иван Козлов, Андрей Тургенев.

Постоянно видели Языкова в доме Дириных — Марии Николаевны и мужа ее Петра Николаевича. Альбом

Марии Николаевны — это без преувеличения собрание самых избранных остзейских стихов Языкова. Обратимся к ним.

Рыцарская старина оживает в "Романсе":

Конрад одевается в латы,
Берет он секиру и щит,
"О рыцарь! о милый! куда ты?" —
Девица ему говорит.

— Мне время на битву! Назад
Я скоро со славой приеду:
Соседом обижен Конрад,
Но грозно отмстит он соседу!

Конрад вступает в кровавый поединок и погибает. Потом он возвращается. Но перед его возлюбленной призрак, мертвец...

Вдруг сердце забилося в ней —
Пред нею знакомый воитель:
"О рыцарь! о милый! скорей
Меня обними, победитель!"

Но рыцарь стоит и молчит.
"О милый! утешься любовью!
Ты страшен, твой панцирь покрыт
Противника дерзкого кровью!

Но сердцем, как прежде, ты мой!
Оно ли меня разлюбило?
Сложи свои латы и шлем боевой;
Скорее в объятия милой!"

Но рыцарь суровый молчит,
Он поднял решетку забрала:
"О боже! Конрад мой убит!"
И дева без жизни упала.

И снова — Дерпт. Какой-то неназванный "эстонский град", омываемый "морскими волнами". "Озерный песчаный берег", медленные "чухонские кони" ("Отъезд"). Стихотворение "Корчма" — свидетельство раннего интереса Языкова к лифляндскому пейзажу:

Налево зрелище иное:
Как оживленное стекло,
То млечное, то голубое —
Волнами озеро Чудское
Полгоризонта облегло.

Ландшафтный эскиз переходит в жанровую зарисовку. Повествователь обращается к вознице-чухонцу:

Меня палит несносным жаром:
"Вези в корчму — я пить хочу".
Так я извозчику ворчу,
Неоскорбительным ударом
К его притронувшись плечу.
Он понял, — плеткою лихою
Коней задумчивых стегнул —
И я отраднее вздохнул
Перед булыжною корчмою.

"Неоскорбительный удар"... Хотя в сочетании этом и присутствует слово "удар", определение "неоскорбительный" до конца гасит прямой, обидный смысл этого поступка, и строка прочитывается по-иному: "путник прикоснулся к плечу возницы".

По неотступной просьбе М. Дириной Языков совершил путешествие по Эстляндии. Так в дирином альбоме появилось стихотворение "Чувствительное путешествие в Ревель". В автографе стихам предшествует шутивное авторское примечание-эпиграф: "Путешествие на чухонской паре из Дерпта в Ревель, в стихах лирико-романтических, а пуще всего разномерных..." Сама приписка эта настраивала на пародийный строй изложения. Так оно и было. В десятих-двадцатых годах XIX века и еще раньше — в конце XVIII столетия одно за другим увидели свет произведения русских писателей, созданные в карамзинском ключе и повествующие о близких и дальних дорогах. Языков подтрунивает и над манерой письма сентименталистов, и над приемами громкозвучной, выпенренной одописи.

Альбомные страницы, которые хранили совсем не альбомные стихи, стали непрямым источником исследователей творчества Языкова. В автографах встречаются разночтения, варианты. Одни тексты больше отличаются от позднейших публикаций, другие — меньше. Какие-то

романсы, баллады, послания, элегии в альбомах М. Мойер, А. Воейковой, М. Дириной предваряют эпиграфы, которые в позднейших изданиях опущены. В иных рукописных вариантах встречаются строки, даже целые строфы, не вошедшие в канонические тексты.

Среди произведений ливонского цикла самое заметное, самое совершенное — и это признается всеми — "Меченосец Аран". События в поэме разворачиваются в окрестностях Вендена. Языкова, как видим, занимала не только эстляндская сторона Ливонии, но и "леттские" ее пространства. И в самом деле: Рига — и об этом разговор шел выше — то и дело напоминала о себе. Из столичного ливляндского города в Дерпт приходили книги, в Митаве и Риге печатались хорошо известные Языкову периодические издания. По рижским адресам из Дерпта шли письма университетскому однокурснику Александру Степанову, давним знакомым семьи Языковых Попову и Лукину. Последний в своих пространственных корреспонденциях в Дерпт не уставал перечислять рижские достопримечательности, подробности городского быта, литературные новости. Сведения накапливались, и вот Языков в одном из писем братьям — на этот раз в своей интерпретации — дает рельефные рижские зарисовки. Оказывается, излюбленным местом прогулок горожан в ясные, безоблачные дни стал "плавучий мост", где собираются "прекрасные люди". Должное воздается гастрольным спектаклям европейски знаменитых трупп. Среди корреспондентов поэта и учитель Митавской юнкерской школы, стихотворец Василий Мызников. Свои тяжеловатые, чуть-чуть наивные, но продиктованные искренним чувством строки он адресует Языкову, в Дерпт:

*То водишь в бой ты рати;
То рушишь тяжкий плен;
То гимн для падших братий
Гремишь средь падших стен...*

...В полную противоположность другим произведениям Языкова эпического размаха сюжет в поэме "Меченосец Аран" ведет не любопытная интрига, не огненная страсть, не эпикурейские, не бурсацкие мотивы, но только долг, только честь, только бранная слава... На этот раз поэта занимала далекая раннефеодальная эпоха, стремление

закованных в латы людей представить как носителей взаимоисключающих начал: огнем и мечом рыцари утверждали в сопредельных землях религию мира и любви. Воображение Языкова будоражили редкие приметы былого величия Ливонии, свидетельства некогда грозных веков. Долгие часы проводит он среди мрачных руин, предается мечтам о "гордых витязях свободы и войны". В одном из своих январских писем за 1825 год поэт уточняет время и место действия поэмы: "У меня готов план для одной повести, между главными его достоинствами есть и то, что ненадобно видеть места, где было происшествие, т.е. Вендена, ибо замок, развалины которого живы, построен уже гораздо позже героя моей повести". Хроника Иоганна Готфрида Арндта¹ помогла Языкову установить, когда именно завершилось возведение рыцарского замка в главном северовидземском опорном пункте меченосцев. Однако события в поэме происходят задолго до строительства этого бастиона.

В венденском пейзаже есть такое двестише:

*Уж потекли росистые туманы
По берегам лазоревой Двины...*

Если бы Языков в свое время побывал в окрестностях Вендена, он не допустил бы такого досадного просчета. Поэт увидел бы: меж зеленых крутояров несет светлые свои воды вовсе не Двина, а видземская Аа².

И в пылу жаркой битвы, и на буйном рыцарском пиру Аран не знает душевного покоя. Некогда врученный родителем кинжал вызывает к "безжалостному мщению". Юный герой дал клятву свершить возмездие. Для того-то он из саксонского своего далека и прискакал в Ливонию. Поэтому и оставил изначальную свою мечту — сражаться там,

*Где Божий свет крестом преобразен;
Где Иордан, Голгофа и Кедрон,
Где высоты Ермона и Кармила...*

На чью же повинную голову должен опуститься карающий меч? И пусть имя недруга Аран вслух не произносит, — его выдает взгляд, "глаза", "то яркие, как пламень

¹Johann Gottfried Arndt. Der Lifländischen Chronik. Halle, in Magdeburg, 1747.

²Теперь Гаюя.

громовой, то мрачные, как туча громовая". Суд герою поэмы предстоит вершить — в этом авторов книги убедил текстуральный анализ произведения — над Винно фон Рорбахом¹ — магистром Ордена меченосцев, в Вендене. Обратим внимание: в прошлом Рорбах — одноземец Арана, оба они с берегов реки Везер.

Но тяжек казнящий меч... Рука Арана не поднимается на "седины" врага, на его не знающую предела "доблесть". Не может он преступить обет христианского "смирения", клятву, которую некогда дал главе рыцарского ордена...

Да, в одном из замковых залов кровь Рорбаха пролилась. Но убийца вовсе не Аран. Им оказался — и об этом со многими подробностями повествует И.-Г. Арндт — рыцарь-меченосец по имени Вигберт. Не об этом ли загадочном событии намеревался поначалу поведать в своей поэме Языков? Но ранний замысел подвергся изменениям, и поэма завершается гибелью самого Арана. Он пал на подступах к Вендену в схватке с теми, кто остался верен старым языческим богам.

В свете рассматриваемой темы "Ливония в поэзии и судьбе Николая Языкова" совершенно определенный интерес представляет второй, батальный, план поэмы. Возникает — от горизонта до горизонта — картина, где резко доминируют два цвета: алые тона крови и черные краски ненависти, злобы, мести. Незванные пришельцы силой оружия обращают ливонские племена в христианскую веру и при этом не знают пощады. Вот отягощенный годами воин из непокоренного "леттского племени" взывает к милости:

*"Не убивай меня, великодушный воин!
Мне подари остаток бытия,
Счастлива мной прекрасная семья,
Я крест приму и буду вас достоин!"*

И далее:

*"Ах! удержи несправедное мщенье.
Не убивай меня! Смотри: бросаю щит, —
Жесток же ты! постой, еще мгновенье
На небеса, на землю дай взглянуть!"*

¹С персонажем по имени Рорбах вы встречались в повести А. Бестужева-Марлинского "Замок Венден".

Но рыцарь из Винандова¹ полка, опьяненный "кровавым вином" "боец освирепелый", не слышит мольбы о пощаде:

*Летит, настиг и в старческую грудь
Орудие злодейства закрипело.*

Осмысливая прошлое Ливонии с позиций художника и историка, Языков обращается и к более поздним временам, к эпохам Ивана Грозного и Петра. Из широкого замысла эпической поэмы "Ала" Языкову удалось завершить только введение. Это была вызывающе смелая попытка на ливонском материале, до Пушкина, создать свою "Полтаву":

*Когда, прославившись мечом,
Он² шел с полуночным царем³
Изведать силы боевые,
Не зная, дерзкий, как бодра
Железной волею Петра
Преображенная Россия.*

Слова "преображенная Россия" — их автор толкует в контексте ливонских событий — стали афоризмом.

Не веря в возрождение Ливонии в стародавнем, рыцарском ее облике, Языков, однако, считал прошлое страны достойным "для музы песнопенья":

*Не встанешь ты из векового праха,
Ты не блеснешь под знаменем креста,
Тяжелый меч наследников Рорбаха,
Ливонии прекрасной красота!
Прошла пора твоих завоеваний,
Когда в огнях тревоги боевой,
Вожди побед, смирители Казани,
Смирялися, бледнея, пред тобой!*

(*"Ливония"*)

¹Автор имеет в виду воинство фон Рорбаха. Немецкие авторы имя этого полупоэтического магистра пишут по-разному: то Винно, то Винанд, то Винальд.

²Подразумевается король Швеции Карл XII.

³"Полуночный царь" — Петр I.

Даже в исконно русских пределах, на псковской земле, в усадьбе Осиповых-Вульфов, к Языкову доносится звон ганзейских колоколов, он различает шум ливонских знамен, бьющихся на соленом балтийском ветру (стихотворение "Тригорское")... Что и говорить: сроднился русский поэт с Лифляндией!

"Значение Н. М. Языкова для истории русской литературы, — замечает С. Исаков, — в значительной мере исчерпывается дерптским периодом... и более поздними произведениями, так или иначе связанными с пребыванием поэта в Дерпте"¹. В самом деле, интенсивность творчества Языкова студенческих его лет поражает. По подсчетам того же С. Исакова, за это время он создал чуть ли не двести произведений! В "страну, любимую небесами", Языков явился никому неведомым, начинающим сочинителем. Покинул Прибалтийский край всероссийски признанным стихотворцем, достойным соперником Пушкина. Гражданином "ливонских Афин". Так почтительно именовал Языков просвещенный, радушный Дерпт — свою поэтическую родину.

ЛИВОНИЯ

Не встанешь ты из векового праха,
Ты не блеснешь под знаменем креста,
Тяжелый меч наследников Рорбаха²,
Ливонии прекрасной красота!
Прошла пора твоих завоеваний,
Когда в огнях тревоги боевой
Вожди побед, смирители Казани³,
Смирялися, бледней, пред тобой!

¹Исаков С. Г. Новые материалы о жизни и творчестве Н. М. Языкова дерптского периода/Ученые записки Тартуского университета. Труды по русской и славянской филологии. Вып. 139, 1963. С. 390.

²Наследники Рорбаха — рыцари Ливонского ордена, распавшегося под ударами войск Ивана Грозного.

³Смирители Казани — воеводы Грозного, участвовавшие в Ливонской войне (1558—1583).

Но тишина постыдного забвенья
Не все, не все у славы отняла:
И черные дела опустошенья,
И доблести возвышенной дела...
Они живут для музыки песнопенья,
Для гордости поэта чела!

Рукою лет разбитые громады,
Где бранная воспитывалась честь,
Где торжество не ведало пощады
И грозную разгорячало месть, —
Несмелый внук ливонца удалого
Глядит на ваш красноречивый прах...
И нет в груди волнения живого,
И нет огня в бессмысленных очах!

Таков ли взор любимца вдохновенья,
В душе его такая ль тишина,
Когда ему, под рубищем забвенья,
Является святая старина?
Исполненный божественной отрады,
Он зрит в мечтах минувшие века;
Душа кипит; горят, яснее взгляды...
И падает к струнам его рука.

2 апреля 1824 года.

АЛА

(Отрывок)

В стране, любимой небесами,
Где величаяя река
Между цветущими берегами
Играет ясными струями;
Там, где в минувшие века
Сражались воины Христовы¹,
Отважны, буйны и суровы;
Где наш свирепый Иоанн,
Пылая местью кровожадной,

¹Воины Христовы — рыцари-меченосцы.

Казнил за Магнуса граждан
Неутомимо, беспощадно;
Где добрый гений старины
Над чистым зеркалом Двины
Хранит доселе как святыню
Остатки каменной стены
И кавалерскую твердыню, —
В доме отцовском, в тишине,
Как цвет Эдема расцветала
Очаровательная Ала. —
Меж тем в соседней стороне,
Устами Паткуля¹, к войне
Свобода смелых вызывала
И удалого короля²
Им угнетенная земля
С валов балтийских принимала.
Когда, прославившись мечом,
Он шел с полуночным царем
Изведать силы боевые,
Не зная, дерзкий, как бодро
Железной волею Петра
Преображенная Россия!

Родитель Алы доходил
К пределу жизненной дороги.
Он долго родине служил,
Видал кровавые тревоги,
Бывал решителем побед;
Потом покинул шумный свет,
И, безмятежно догорая,
Прекрасен был, как вечер мая,
Закат его почтенных лет.
Но вдруг... и кто не молодеет,
Своим годам кто помнит счет,
Чей дух не крепнет, не смеется,
Чья длань железа не берет

¹Паткуль Иоганн Рейнгольд (1660—1707) — ливонский дворянин, борец за независимость Ливонии от шведов. Служил Петру Первому, был предательски выдан союзниками России — саксонцами шведскому королю и четвертован.

²Удалой король — Карл XII.

И взор весельем не сверкает,
И грудь восторгом не полна,
Когда знамена развевают
За честь и родину война?
Он вновь надел одежду брани,
Стальную саблю наточил,
Казалось, старца оживил
Священный жар его желаний;
Он призвал дочь и говорил:
"Уже лишен я прежних сил
Неумолимыми годами;
Прошла пора, как твой отец
Был знаменитейший боец
Между ливонскими бойцами,
Свершал геройские дела, —
Всё старость жадная взяла...
Не всё взяла!.. еще волнует
Мою хладающую кровь
К добру и вольности любовь,
Еще отраднo сердце чует
Их благодетельный призыв;
Ему, как юноша, внимаю,
И снова смел и снова жив
Служить родительскому краю.
Гремите ж, бранные поля,
Пируйте, мужество и мщенье!
Что нам судьбы определенье?
Опять ли силы короля
Подают милую свободу,
Или торжественно она
Отдаст ливонскому народу
Ее златые времена, —
Победа — смерть ли? Будь что будет,
Лишь бы не стыд! Пускай же нас
К мечам, хотя в последний раз,
Глас родины, как неба глас,
От сна позорного пробудит!"
Сказал, и взоры старика
Мятежным пламенем сверкали,
И быстро падала рука
На рукоять военной стали...

Так в туче реется огонь,
Когда с готовыми громами
Она плывет под небесами,
Так, слыша битву, ярый конь
Кипит и топает ногами.

1824 год

РАЗВАЛИНЫ

Ночь; тихи небеса; с восточного их края
Луна, красивый блеск на землю рассыпая,
В пучине воздуха лазурной восстает;
Безмолвен горный лес; чуть льются зыби вод;
Вон там, господствуя над берегом и холмами,
Две башни и стена с высокими зубцами —
Остатки подвигов могучей старины —
Как снег белеются, луной озарены;
Далеко, голых скал чрез каменны ступени
Сошли на свежий луг пробитые их тени,
И темны, как молва давно минувших дней,
Лежат пред новыми жилищами людей.
Вон ряд обломков! Там на вышины крутые
Отчаянно толпы взбегали боевые,
И гибли!.. Радостный приют моей мечты,
Чернокудрявая красавица, где ты?
Приди; на этот холм, ветвями осененный,
Воссядем; твой певец, младый и вдохновенный,
Поведаю тебе сказанья старины
Про гордых витязей свободы и войны;
И сладостны, как шум таинственный дубравы,
Звучны, как говор волн пустынных, песни славы
Польются... Ясная улыбка оживит
Твои уста и жар на пурпуре ланит,
Светло заискрятся божественные очи;
Приди!.. но я один; спокойно царство ночи;
Высоко шар луны серебряной встает;
Безмолвен горный лес; чуть льются зыби вод.

1828 год

ПЕСНЯ БАЛТИЙСКИМ ВОДАМ

Пою вас, балтийские воды! вы краше
Других, величайших морей;
Лазурно-широкое зеркало ваше
Свободнее, чище, светлей:
На нем не крутятся огромные льдины,
В щепы расшибая суда,
На нем не блуждают холмы и долины
И горы полярного льда,
В нем нет плотоядных и лютых чудовищ
И мерзостных гадов морских;
Но много прелестных и милых сокровищ:
Привол¹ янтарей золотых
И рыбы вкуснейшей! Балтийские воды,
На вольной лазури своей
Носили вы часто, в старинные годы,
Станицы норманских ладей;
Слышали вы песни победные скальда
И буйные крики войны,
И песню любви удалого Гаральда²,
Певца непреклонной княжны;
Носили вы древле и грузы богатства,
На Русь из немецкой земли,
Когда, сограждане ганзейского братства
И Псков и Новгород цвели;
И ныне вы носите грозные флоты:
Нередко в строю боевом,
Гуляют на вас громовые оплоты
Столицы, создáнной Петром.
И тысячи, тьмы расписных пароходов
И всяких торговых судов
С людьми и вещами, всех царств и народов,
Из дальних и ближних краев.
О! вы достославны и в новые годы,
Как прежде; но песню мою,

¹Привол (устар.) — обилие.

²Гаральд Смелый (1015—1066) — король Норвегии, был женат на русской княжне Елизавете, дочери киевского князя Ярослава Мудрого. Воспет в древней скандинавской "Песне Гаральда Смелого", популярной среди русских поэтов.

Похвальную песню, балтийские воды,
Теперь я за то вам пою,
Что вы в ту годину, когда бушевала
На вас непогода — она
Ужасна, сурова была: подымала
Пучину с далекого дна,
И, силы пучинной и сумрака полны,
Громады живого стекла,
Качаясь, двигались шумные волны,
И бездна меж ними ползла;
И долго те волны бурлили, и строго
Они разбивали суда,
И долго та бездна зияла, и много
Пловцов поглотила, — тогда,
В те страшные дни роковой непогоды,
Почтенно уважили вы
Елагиных: вы их на невские воды
Примчали, и берег Невы
Счастливо их принял; за то вы мне краше
Всех южных и северных вод
Морских, и за то уважение ваше
Мой страх вам и честь отдает!

20 ноября 1841 года, Ганау

МЕЧЕНОСЕЦ АРАН

Не раз, не два Ливония видала,
Как, ратуя за веру христиан,
Могучая рука твоя, Аран,
Из вражьих рук победу вырывала;
Не раз, не два тебя благословлял
Приветный крик воинственного схода,
Когда тобой хвалился воевода
И смелого, как сына, обнимал.

Винанд любил и уважал Арана:
Его всегда убийственный удар,
Среди мечей неутомимый жар,
Усердие к законам Ватикана,
Железное презренье к суетам,
Высокий нрав, решительность деяний, —

Все красоты воспитанника брани
Казались магистровым очам
Посланием небесной благодати
Для слабого владения Христа¹,
Где не смирял враждебных предприятий,
Недавний гром крестового щита.
Но мнилось — любовь и наслажденье,
А не войну и славу на войне,
Арановой пленительной весне
Назначило уделом провиденье.
Аран! твои ланиты и уста,
Румяные, как пурпуры денницы,
Твоих очей лазурь и быстрота,
Их милый взор, их длинные ресницы,
Твой гибкий стан и черные волосы —
Как сладостно, и пламенно, и живо
Мечтались в полночные часы
Красавице надменной и стыдливой!
В стране, где ты, как радость, расцветал,
Где Везер льет серебряные воды, —
В стране, где сын отчизны и свободы,
Возвышенный Арминий побеждал.

Как яркий луч божественного света,
Как мощного воителя стрела,
Как творческий и смелый дух поэта
И горный лет победного орла:
Дни юноши легки и быстротечны,
Когда, пленен высоким и благим,
Мечтательный, живой, простосердечный,
Он весь дался надеждам золотым —
И новый мир яснее перед ним,
Для подвигов прекрасных бесконечный!

Так молодость Аранова текла:
Уж полон чувств и бодрых упований,
Он был готов десницею для брани,
Готов душой на славные дела.
Его мечта туда переносила,
Где божий свет крестом преображен;

¹Автор имеет в виду Ливонию.

Где Иордан, Голгофа и Кедрон,
Где высоты Ермона и Кармила;
Там юноша при ратных знаменах,
Наместников Петра благословенных,
Горел, алкал прославиться в боях
Красою дел отважных и священных.
Не то ему на подвиг бытия
Назначило отцовское желанье:
Он полетел в ливонские края
Свершить одно и страшное деянье.

Обманутый любимую мечтой,
Лишен отрад надежды величавой;
Кляня судьбу и перед нею правый,
Он мог разить нещадною рукой,
Он мог нести всю тяготу условий,
Предписанных для рыцарей меча —
И на него надета епанча,
Где крест и меч, как вылиты из крови,
Являлися на светлой белизне;
Он в них узнал свое знаменованье,
Сокрыл свой род, отчизну и название
И стал служить магистру и войне!

Задумчивый, угрюмый, молчаливый,
Как часто, длань простерши на кинжал,
Аран души ужасные порывы
Насильственным упорством побеждал.
"Я совершу безжалостное мщенье!
Передо мной родителей кинжал;
Но седины, но доблесть, но смиренность!.."
Так думал он — и плакал, и дрожал.

На синеве безоблачного свода
Светило дня прекрасное горит;
Труба на сбор воителей манит;
Надел броню их старец-воевода...
Они стеклись — наточенный булат
Звучит, блестит; геройские воззванья,
Веселые текут из ряда в ряд;
У всех одни надежды и желанья,
Все бранными восторгами кипят.

Закрыв лицо решеткою забральной,
На рукоять поникнув головой,
Один Аран, безмолвный и печальной,
Не веселел, не ликовал душой...

Когда магистр, готовясь на битву,
Сложив шелом пернатый и стальной,
Произносил сердечную молитву
Спасителю и Деве Пресвятой;
Когда, подняв трепещущие длани
И слезный взор к бессмертным небесам,
Он призывал внимающим полкам
Великую защиту Бога брани;
Когда клялся не холодеть в боях,
Блюсти мечом апостолов державу
И возвещать в языческих странах
Всевышнего трисолнечную славу —
Что чувствовал ты, воин молодой,
Вождя побед глазами озирая,
То яркими, как пламень громовой,
То мрачными, как туча громовая?

Простертые на бархате полян,
В безмолвии окрестность наблюдая,
Ливонцы ждут прихода христиан;
Они без лат; меч, стрелы и чекан,
Копье и щит — их сбруя боевая...
Блеснула рать знакомая вдали;
Трескучий зык сзывающего рога
Их взволновал: столпились, потекли —
И началась кровавая тревога.

Не облака ль сверкают и гремят?
Не озеро ль Чудское расшумелось?
Не облака сверкают и гремят,
Не озеро Чудское расшумелось.
Враги Христа с Винандовым полком
Сшибаются; воинственные крики,
То слабые, то яростны и дики,
Разносятся на поле боевом.

Ужасный вид! там рыцаря пронзает
Смертельная ливонская стрела:

Его рука на стали замирает,
Холодный пот на бледности чела,
Воитель стих и падает с седла;
Свободный конь бежит между толпами,
Ржет, прядает, могучими ногами
Разит и рвет кровавые тела. —

"Не убивай меня, великодушный воин!
Мне подари остаток бытия,
Счастлива мной прекрасная семья,
Я крест приму и буду вас достоин!"
Старик бойцу, спасаяся, кричит:
"Ах! удержи несправедное мщенье.
Не убивай меня! Смотри: бросаю щит, —
Жесток же ты! постой, еще мгновенье
На небеса, на землю дай взглянуть!"
Не слушает боец освирепелой,
Летит, настиг и в старческую грудь
Орудие злодейства заскрипело.

Там общий бой: толпа толпу теснит,
Пирует смерть, кровь брызжет, сталь звенит.
Тот меч занес и, не свершив удара,
Оцепенел, разрубленный мечом;
Тот в ярости губительного жара
Не слышит ран и рубится с врагом;
Иной копье из тела вырывает
И в судоргах влачится по земле;
Тот навзничь пал — и язва на челе;
Тот, жалостно стоная, издыхает,
Подавленный израненным конем;
Кто смерть зовет, кто битву проклиняет:
Обширный ад на поле боевом!

Уж месяц встал блестящий и багряный
Над зеркалом балтийской глубины;
Уж потекли росистые туманы
По берегам лазоревой Двины...
Бурливый лес, чернея, утихает,
Певец зари, умолкнул соловей,
И ночь свои покровы расстилает,
И тьма легла на поприще мечей.

Бой перестал. Огни в долине стана;
Воители на рыцарских щитах
Несут в шатер полмертвого Арана:
Он весь в крови; мерцание в очах,
И широко запекшаяся рана.

1825 год

Не убавь коня; коня и коня
Мне подрок оставь; коня и коня
Свастика коня и коня; коня и коня
В коня; коня и коня; коня и коня
Старик бой; коня и коня; коня и коня
"Ах! коня и коня; коня и коня
Не убавь коня; коня и коня
Жесток коня и коня; коня и коня
И коня; коня и коня; коня и коня
Не коня; коня и коня; коня и коня
Летит коня и коня; коня и коня
Орхидея коня и коня; коня и коня
То ярки, как пламень громовой,
То мрачны, как туман; коня и коня
Пирвет коня и коня; коня и коня
Тот коня и коня; коня и коня
Опеле коня и коня; коня и коня
Тот коня и коня; коня и коня
Он коня и коня; коня и коня
Копье коня и коня; коня и коня
И коня и коня; коня и коня
Тот коня и коня; коня и коня
Тот коня и коня; коня и коня
И коня и коня; коня и коня
Кто коня и коня; коня и коня
Обширно коня и коня; коня и коня
Не коня и коня; коня и коня
Уж коня и коня; коня и коня
На коня и коня; коня и коня
Уж коня и коня; коня и коня
По коня и коня; коня и коня
То коня и коня; коня и коня
Бурный коня и коня; коня и коня
Пеле коня и коня; коня и коня
И коня и коня; коня и коня
Смерть коня и коня; коня и коня

НАШ ЛЕРМОНТОВ

СЛУЧАЙНЫХ СТИХОВ ОН НЕ ЗНАЛ

Широко известно мнение: Лермонтов — певец Кавказа, немирного, гордого края... С таким утверждением трудно спорить. И все же...

В 1831 году семнадцатилетний поэт пишет стихотворение "Из Паткуля". Восьмистишие это, навеянное чтением начальных глав романа И. Лажечникова "Последний Новик" и писем самого Иоганна Рейнгольда Паткуля, в наши дни прочитывается в контексте мятежной лермонтовской лирики, доминирующей ее темы свободы и воли:

*Напрасна врагов ядовитая злоба.
Рассудит нас Бог и преданья людей;
Хоть розны судьбою, мы боремся оба
За счастье и славу отчизны своей.*

Приведенная строфа являет собой монологическое высказывание героя, не знающего сомнений и страха. Это его дерзкий вызов безжалостному и могущественному недругу. Паткуль, лифляндский дворянин, не может служить шведскому королю Карлу XII, его тираническому режиму и становится под знамена Петра I... В этом стихотворении вновь зазвучал мотив романтического героя, не понятого и отторгнутого толпой, тот самый мотив избранничества и неминуемой насильственной гибели, который явственно различается в стихотворениях "Из Андрея Шенья", "Настанет день — и миром осужденный...", "Когда твой друг с пророческой тоскою..."

Романтическими призывами к вольности, неприятием любых проявлений насилия, зла, попыток подавления личности проникнуты поэмы "Литвинка" и "Боярин Орша".

Действие в этих произведениях происходит где-то неподалеку от русско-литовской границы на рубеже XV и XVI веков. Конфликт в поэме "Литвинка" выступает в двух внутренне соединенных планах. Один из них носит личный, интимный характер. Это страсть, неотступное влечение русского боярина Арсения — "богатого в мире, славного на войне" — к литовской полонянке Кларе. Она и впрямь прекрасна! "Очи голубые, как лазурь", "кудри золотых ее волос нежнее шелка и душистей роз..." Не дрогнув перед карой небесной, в поисках "лишь земных наград", Арсений переступает через "святой обряд". Обряд, который в свое время навсегда соединил единовластного повелителя бескрайней вотчины и покорную, безответную его избранницу. Теперь ради возлюбленной — "гордой девы из земли чужой" — Арсений приносит в жертву "жену, детей, отчизну, всё". Но тщетно он, натура сильная, решительная, горячая, пытается вызвать ответное чувство литвинки...

Другое противостояние нарастает в сфере гражданской, национальной. Кларе душно в чуждых, немилых сердцу хоромаш. Не пасть духом, выстоять, сохранить человеческое достоинство ей помогает память о Литве.

*Устала Клара от душевных бурь...
И очи голубые, как лазурь,
Она сидит, на запад устремив...
...Там родина! Певец и воин там
Не раз к ее склонялися ногам!
Там вольны девы! Там никто бы ей
Не смел сказать: хочу любви твоей!..*

Любое слово, любой поступок Клары вызывает откровенное сочувствие автора. Это и понятно: каждым помыслом своим, каждым движением души рвется она из боярских высокостенных палат на волю, в отчий край.

Автор поэмы немногими, счастливо найденными штрихами создает образ литовской земли, загадочной и неизъяснимо милой, соотносит его с глубинными свойствами природы своей героини:

Здесь в роще воды чистые текут —
Но речку ту не Вилией зовут;
И ветер, здесь колеблющий траву,
Мне не приносит песни про Литву!

Кульминационный эпизод — приезд "неведомых гостей", одноземцев Клары. Они находят приют в доме Арсения. В предвечерний час затворница слышит пение:

Но что за звук раздался за стеной?
Протяжный стон, исторгнутый тоской,
Подобный звуку песни... если б он
Неведомым певцом был повторен...

Завораживающий напев с берегов Вилии ("В одной Литве так сладко лишь поют") покоряет Клару:

Минувшее дышало в песне той,
Как вольность — вольной, как она — простой,
И все, чем сердцу родина мила,
В родимой песне пленница нашла...

И вот в печальные эти, скорбные звуки вплетается трепетный женский голос. Путники мгновенно узнают свою соплеменницу:

Она схватила лютню, и струна
Звенит, звенит... и вдруг пробуждена
Восторгом и надеждою, в ответ
Запела дева...

Ясный, волнующий душу язык музыки стал спасительным паролем... Счастливый побег... Арсений "суров и дик". Его сжигает огонь ревности. Он во власти низменных чувств — злобы, неверия, мести. Ненависть к Кларе он переносит на ее народ, на всю Литву. И вот русские дружины, "мestью воспалясь, грозят полям и рощам" западного соседа. Но ни смятения, ни замешательства ратники Арсения не вызвали в стане защитников Немана и Вилии. В короткой и жаркой схватке (этой напряженной сценой завершается поэма) сыны гордой Литвы отстаивали свою вольность...

Разные исследователи поэмы "Литвинка" сходятся в одном: это юношеское произведение Лермонтова еще несвободно от ученичества и несет следы байронизма,

подражательства, экзотики. Если эти упреки в чем-то и справедливы, нельзя не заметить другие грани, расставить иные акценты. Во-первых, примечателен самый факт воссоздания одной из драматичных страниц русско-литовских отношений; во-вторых, симпатии автора до конца отданы "вольнолюбивым литовцам"; в-третьих, в строфах Лермонтова, первого из русских поэтов, раскрылась музыкальная, песенная природа литовского народа.

В тех же землях и в то же время — "На берегу Днепра крутом близ рубежа Литвы чужой" — происходят события, воссозданные в поэме "Боярин Орша". Что же побудило Лермонтова вновь обратиться к личностям сильным, самобытным, таинственным?

Все помыслы Арсения (еще ребенком он был пленен людьми боярина Орши и отдан на воспитание в монастырь) связаны с побегом из темницы, вызволением из неволи своей любимой — дочери боярина Орши. Но побег удался только Арсению...

И вот:

*...разнеслась везде молва,
Что беспокойная Литва
С толпою дерзких воевод
На землю русскую идет.*

Отгремел шумный бой. И по бранному "следу багровому" медленно движется всадник...

*Кто ж он? не русский! и не лях —
Хоть платье польское на нем
Пестрело ярко серебром...*

Стремительно меняются картины. Поверженный литвинами Орша в последние свои минуты умоляет Арсения поспешить в "старый дом", где дочь его ждет не дожидается своего милого...

ОСТЗЕЙСКОЕ ЕГО ОКРУЖЕНИЕ

Откроем любой лермонтовский том и тут же увидим поясной — по грудь — портрет. Гордый поворот головы. Черный гусарский сюртук с высоким красным воротником. Жилет и галстук тоже черные. С тремя звездочками

эполеты — знак принадлежности к гвардии. Беспокойный, магнетический, какой-то нездешний взгляд... Именно таким поручик лейб-гусарского полка, которому небеса даровали бессмертие, входит в сознание каждого из нас. С 1863 года, со времен знаменитых лермонтовских изданий Ильи Глазунова — первого публикатора "Героя нашего времени" и "Стихотворений", — почитатели поэта с этой литографией не расстаются. По словам Эмилии Александровны Шан-Гирей — жены родственника и друга Лермонтова, — эту освещенную мыслью, согретую чувством живопись она относила к самым верным изображениям поэта.

Кто же на все времена запечатлел облик мятежного поручика? Это был Александр Иванович Клюндер, эстонец по происхождению. Студент Дерптского университета и воспитанник эстляндских живописцев, он в 1834 году на суд Академии художеств представил два портрета своей работы. Молодого мастера заметили в Петербурге. За серию портретов офицеров лейб-гвардии гусарского полка — и среди них был Лермонтов — художнику присвоили первое академическое звание. Через семь лет — на этот раз восхищенный отклик вызвала картина "Крестьянин, играющий на балалайке" — Клюндер становится академиком...

Какова же история лермонтовского полотна работы талантливой остзейца?

По просьбе командира лейб-гусарского полка М. Хомутова в ноябре 1838 года Клюндер написал акварельный портрет корнета Лермонтова. Это было первое живописное изображение поэта, выполненное профессиональной кистью. Потом были другие клюндеровские обращения к стихотворцу и воину, к его однополчанам. Среди разноликой этой галереи — выходцы из Балтии В. Энгельгардт-сын, Александр Тиран, Орест Герсдорф. Двое первых были соучениками Лермонтова по школе юнкеров.

На обложке Лермонтовской энциклопедии — силуэт поэта. Принадлежит он Дмитрию Палену. Потомок громкого курляндского рода, барон Д. Пален разделил изгнанническую долю Лермонтова. В одном экспедиционном отряде пробивался с ним сквозь завалы, возведенные непокоренными чеченцами...

Июль 1840 года. Только-только умолкли залпы у реки Валерик. Неподалеку от Миатлинской переправы, в походной палатке, Д. Пален дарит подполковнику Л. Россильону

лист с беглым карандашным профилем Лермонтова. На этот раз командир взвода 12-й мушкетерской роты Тенгинского пехотного полка ничем не напоминал блестящего гусара с полотна Александра Клюндера. У Палена Лермонтов — небритый, в смятой фуражке, без эполет и каких-либо других офицерских регалий. В облике поэта ненавязчиво, тонко подчеркнуты приметы фронтового быта. Этот набросок так и остался единственным прижизненным профильным изображением Лермонтова. Скульптор Александр Опекушин, автор знаменитого памятника Лермонтову в Пятигорске, отталкивался от листа Дмитрия Палена...

Летом 1841 года художник Роберт Шведе, лифляндец по рождению и воспитанию, вместе с корнетом лейб-гвардии Гродненского гусарского полка Александром Арнольди, которому он давал уроки живописи, странствовал по Северному Кавказу. Когда отгремел дульный мартиновский выстрел, Шведе пришел в последний приют поэта. По просьбе Алексея Столыпина, родственника и самого близкого Лермонтову человека, он написал поэта на смертном одре. Скорбное свое авторское повторение Шведе подарил Александру Арнольди. Для нас, латвийцев, не лишены известного интереса штрихи к биографии Шведе. Детские его годы прошли в доме отца — управляющего баронским имением Буртниеки неподалеку от Вольмара. Брал уроки в мастерских рижских живописцев. Художественному петербургскому ареопагу Роберта Шведе представил Карл Нефф, тоже остзеец. Слава первого портретиста Санкт-Петербурга сопутствовала ему. За росписи сводов Исаакиевского собора и тронных залов Зимнего дворца Карла Неффа называли российским Рафаэлем. Вот такой человек проникся верой в талант Роберта Шведе. Возможно, самолюбю маэстро льстило и то, что Шведе искусно перенял его манеру портретного рисунка и в то же время не потерял своего лица. Высокородные лифляндцы и титулованные петербуржцы считали за честь позировать Шведе. В 1847 году он был произведен в академики.

Ученик Роберта Шведе и давний житель Риги Александр Арнольди два месяца служил с Лермонтовым в одном лейб-гвардии Гродненском гусарском полку. Летом 1841 года они приятельствовали в Пятигорске. Светла их преданность живописи. Поэт подарил своему однополчанину две работы маслом — "Воспоминание о Кавказе" и "Черкес". Отдарок другу был печальным. Графические

листы и акварели Александра Арнольди донесли до нас тихую грусть последних лермонтовских мест: балкон, где поэт провел многие часы, дом Реброва в Кисловодске, известный каждому по "Княжне Мери", могилу поэта на пятигорском кладбище...

Долгой своей жизнью графические листы Александра Арнольди и живопись Роберта Шведе обязаны Георгу Вильгельму Тимму. Собственноручно выполнил он литографии лермонтовского цикла и опубликовал работы А. Арнольди и Р. Шведе в петербургском своем журнале "Русский художественный листок". И в который раз — и этому нельзя не подивиться — облик поэта в памяти поколений оказался запечатленным искусством и стараниями остзейца. Родился Тимм в имении Зоргенфрей в семье рижского бургомистра. Учился в гимназии Биркенру, доброе имя которой знали далеко за пределами Латвии. Брал уроки рисунка и живописи у рижского художника Иоганна Карла Бэра. Посещал классы в петербургской Академии художеств. В 1837 году за групповой портрет улан награжден серебряной медалью. Признание современников получили полотна Тимма на темы российской истории: "Крещение Руси Владимиром", "Финские знахари предсказывают смерть Иоанну Грозному". Залы Эрмитажа, музеев Риги, Парижа, Берлина украшают полотна искусного рижанина — "Раненый гусар", портреты Николая I и Александра II, серия "алжирских" эскизов...

Михаила Цейдлера — еще одного выходца из Лифляндии — с Лермонтовым связывало многое. И школа юнкеров, и Гродненский полк, и общее увлечение "изящными искусствами". Как известно, в годы учения свою страсть к поэзии Лермонтов скрывал от всех. И только Цейдлеру читал он первые наброски к поэме "Демон". Его же просил перебеленные листы показать большому знатоку литературы, автору "Путешествия по святым местам" Андрею Муравьеву.

Цейдлер — один из тех остзейцев, которому Лермонтов посвятил свои стихи. Провожая друга в действующую армию, на Кавказ, Лермонтов прочел свой экспромт:

*Русский немец белокурый
Едет в дальнюю страну,
Где косматые гауры
Вновь затеяли войну...*

В своих воспоминаниях Цейдлер называет Лермонтова "товарищем, задушевым приятелем", "нашим незабвенным поэтом". По картине своего двоюродного брата Роберта Шведе "М. Ю. Лермонтов на смертном одре" Цейдлер вылепил маску поэта...

Неугомонное юнкерское братство, молодые остзейцы в окружении Лермонтова... Мемуаристы А. Арнольди и В. Боборькин, исследователи жизни и творчества поэта помогли установить их имена. Кроме М. Цейдлера это Петр Тизенгаузен, Василий Энгельгардт-сын, Александр Тиран, Роман Моллер, Егор Сиверс... Половина из них удостоились лермонтовской строки.

Егор Сиверс. Ранняя могила сотоварища по школе юнкеров болью отозвалась в сердце юного Лермонтова.

*В рядах стояли безмолвной толпой,
Когда хоронили мы друга...*

.....

*И билось сердце в груди не одно,
И в землю все очи смотрели,
Как будто бы все, что уж ей отдано,
Они у ней вырвать хотели.
Напрасные слезы из глаз не текли:
Тоска наши души сжимала,
И горсть роковая прощальной земли,
Упавши на гроб, застучала.*

В том же экспромте, обращенном к М. Цейдлеру, читаем:

*Едет он, томим печалью,
На могучий пир войны,
Но иной, не бранной с т а л ь ю
Мысли юноши полны.*

Послание Михаилу Цейдлеру, как видим, поэт завершает остроумным каламбуром. За строкой "но иной, не бранной сталью мысли юноши полны" без труда угадывалась жена полковника Александра Карловича Стаала фон Гольштейна. Обворожительная эта женщина покорила не одно пылкое офицерское сердце... "Русский немец белокурый" тоже был от Софьи Николаевны без ума. Попутно заметим: род Стаалей фон Гольштейнов занесен в реестр самых именитых ревельских дворян.

Друзья Лермонтова по школе юнкеров... К чести самых приметливых, самых чутких из них, скажем: сверстники семнадцатилетнего поэта — и Александр Тиран, и Михаил Цейдлер, и Александр Меринский, и Василий Боборыкин — коллективно создали портрет молодого Лермонтова, запечатлели его внешний облик, попытались понять внутренний мир. Из множества частных, подробностей, эпизодов складывается представление о симпатиях Лермонтова и склонностях. О бурных увлечениях и разочарованиях. Об окружении, привычной для него среде.

Александр Тиран в "Записках неизвестного гусара"¹ рассказал о рукописном журнале "Школьная заря". "Многие пьесы", сочиненные юнкером Лермонтовым, "попали потом в печать... Но были и такие, которые остались между нами: "Петергофское гулянье", (...) "Юнкерская молитва". Примечательный факт: текст последнего стихотворения мемуарист дополняет четверостишием, которого нет в каноническом тексте:

*Вели день целый
На койке спать,
И каши белой
Мне не давать.*

Тот же Тиран на склоне дней своих вспоминал: "Мы любили Лермонтова и дорожили славой нашей и всей России..."

Особого упоминания заслуживает Василий Энгельгардт-сын. Да, отпрыск блестящей петербургской ветви известного всей России дворянского рода был соучеником Лермонтова по школе юнкеров. Но не менее существенно и другое: в 1836 году он делил с Лермонтовым радости и невзгоды гусарской службы. Но и это — не все. Его отец, тоже Василий Энгельгардт, поклонник искусств и остро слов, в своем дворце на Невском проспекте давал костюмированные балы, устраивал концерты знаменитых на весь свет музыкантов. Быть приглашенным на "увеселительный съезд" к Энгельгардту почиталось за честь... В драме "Маскарад" какой-то своей гранью отозвалось печальное происшествие, которое и в самом деле случилось на одном из таких вечеров...

¹Журнал "Звезда", 1936. №5. С. 184.

В пушкинской "Полтаве" находим такую строфу:

*Пальбой отбитые дружины,
Мешаясь, падают во прах.
Уходит Розен сквозь теснины;
Сдается пылкий Шлиппенбах.*

Датчанин Шлиппенбах — один из военачальников в шведской армии Карла XII — перешел в "стан русских воинов", честно служил новой родине, навсегда остался в России. Один из многочисленных его потомков, барон Константин Шлиппенбах, возглавлял школу юнкеров в лермонтовские ее годы. Будущие лейб-гусары знали о давних и прочных — личных, служебных, семейных — отношениях своего начальника с Остзейским краем. Большой любитель плац-парадов и самой строгой дисциплины, Константин Шлиппенбах тем не менее оставил у своих воспитанников добрую по себе память. Одно из подтверждений тому — заметки, сделанные рукой Лермонтова на оборотной стороне начального варианта стихотворения "Опять народные витии..." В весьма именитом ряду, в перечне лиц, которым поэт намеревался нанести визиты, где значились и обер-гофмейстер А. Торвуков, и вдова сенатора П. Новосильцева, и управляющий театрами А. Киреев, на первом месте — Константин Шлиппенбах...

"...У граф. В... был музыкальный вечер". Так начинается последняя незавершенная повесть Лермонтова "Штосс". Прототип графа В... известен. Это Михаил Юрьевич Виельгорский — гофмейстер двора, автор известных романсов на стихи Лермонтова ("Романс Нины" из "Маскарада", "Мне грустно...", "Тучи"), душа музицирующих инструментальных ансамблей. На вечерах у Виельгорских бывали В. Жуковский, А. Пушкин, М. Лермонтов. Луиза Карловна Виельгорская — урожденная Бирон, прямая родственница герцога Курляндского. Вместе с мужем подолгу жила она в Лифляндии, была преданной почитательницей Лермонтова. Время сохранило ее горестные, согретые искренним чувством строки: "В нем мы лишились многообещающего поэта. Странная судьба наших даровитых молодых людей..."

Судьба сводила Лермонтова с самыми разными людьми. Одни из них принадлежали к высшим кругам столичной аристократии, другие были "военной костью", с

третьими он обсуждал литературные новости в салонах Москвы и Петербурга, с четвертыми, плечо к плечу, шел в атакующих цепях или коротал время на биваках, в госпитальных палатах. Встречались среди них и остзейцы. Александр Арнольди — о нем речь шла выше — почитателям Лермонтова известен и как мемуарист. Любая страница его заметок воссоздает полковые будни, тот кавказский колорит, без которого затруднительно представить облик поэта последних его лет, понять причины финальной трагедии у горы Машук. "Я, — пишет А. Арнольди, — часто забегал к соседу моему Лермонтову. Однажды, войдя неожиданно к нему в комнату, я застал его лежащим на постели и что-то рассматривающим в сообществе С. Трубецкого и что они хотели, видимо, от меня скрыть. Позднее, заметив, что я пришел не вовремя, я хотел было уйти, но так как Лермонтов тогда же сказал: "ну, этот ничего", — то и остался. (...) показали мне тогда целую тетрадь карикатур на Мартынова, которые сообща начертали и раскрасили. Это была целая история в лицах вроде французских карикатур (...), где красавец, бывший когда-то кавалергард, Мартынов был изображен в самом смешном виде, то въезжающим в Пятигорск, то рассыпающимся пред какою-нибудь красавицей и проч. Эта-то шутка, направленная часто в обществе злым сарказмом неугомного Лермонтова, и была, как мне кажется, ядром той размовки, которая кончилась так печально для Лермонтова, помимо тех темных причин¹, о которых намекают многие, знавшие отношения этих лиц до катастрофы..."²

Какие только имена не находим у воспоминателя! Сколько из них так или иначе связаны с Прибалтийским краем!

Называет А. Арнольди командира полка Антона Антоновича Эссена, лихого гусара, человека отзывчивого сердца. В 30-е годы великосветский Петербург отдавал должное уму, таланту, гостеприимству другого Эссена — Петра Кирилловича, военного генерал-губернатора российской столицы. На одном из балов, который Петр Эссен

¹Говоря о "темных причинах", А. Арнольди, по всей видимости, имеет в виду пятигорскую молву об увлечении Лермонтова сестрой Мартынова Натальей Соломоновной.

²Арнольди А. И. Из записок. В кн.: М. Ю. Лермонтов в воспоминаниях современников. — М., 1972. с. 222—223.

давал в декабре 1834 года, в любви Лермонтову призналась Екатерина Сушкова. Ей, Сушковой, суждено было стать прототипом Елизаветы Николаевны Негуровой из "Княгини Лиговской". Стихи "сушковского цикла" украшают самые избранные страницы лермонтовской лирики...

В одних случаях А. Арнольди, руководствуясь только ему одному известными мотивами, у своих сотоварищей-остзейцев подчеркивает их прибалтийское происхождение, родословная других остается за пределами автора воспоминаний. Вот он заводит разговор о полковом казначее Федоре Левентале, и мы узнаём: был он "аккуратным лифляндцем, который не раз выводил всех нас из денежного затруднения и никогда не отказывал (...) в помощи". Разными эскадронами в лейб-гвардии Гродненском гусарском полку — один за другим — командовали братья Эдуард и Константин Штакельберги, Роман Берг, полковник Егор Адеркас. О последнем узнаем не лишние пикантности обстоятельства: женат он был "на красавице, разводке Лешерн, урожденной Берте; отец ее служил камердинером или чем-то вроде церемониймейстера при скромном дворе Людовика XVIII у нас в Риге". Офицерами разных рангов были Роман Моллер, Генрих Бер, Христофор Герлах, Федор Лауниц.

Потомком одного из прославленных лифляндских родов и родственником героя 1812 года был скромный ординатор военного госпиталя в Пятигорске Иоганн Барклай-де-Толли. Он заботился о поэте, лечил его. В роковой день дуэли И. Барклаю-де-Толли суждено было составить свидетельство о смертельном для поэта исходе поединка, о мгновенной кончине поручика Лермонтова...

Всех этих сослуживцев Лермонтова, подчеркивает А. Арнольди, объединяет многое. И немецкое происхождение. И безупречное исполнение командирского долга. И верность ратной дружбе. Из других источников удалось установить: принадлежали они к известным остзейским фамилиям.

Множество имен, частных, семейно-бытовых подробностей, составляющих остзейский спектр, окружение поэта в разные годы... И все же какие-то известные Лермонтову лифляндцы остались за пределами этой статьи. Вот, скажем, юнкер Александр Бенкендорф... 15 июля 1841 года. Последний день Лермонтова. В Железноводске

поэта навестила Екатерина Быховец. К ней обращены завораживающие, исполненные гипнотической силы строфы — "Нет, не тебя так пылко я люблю..." Вместе с ней приехали Михаил Дмитриевский — поэт, друг декабристов А. Бестужева и Н. Лорера, Лев Пушкин и юнкер Александр Бенкендорф. Последний был сыном эстляндского военного губернатора и родственником генерал-адъютанта, начальника III отделения. Недавний знакомый Лермонтова решительно не пользовался — и этим он отличался от других отпрысков остзейского баронского рода — покровительством всесильного шефа жандармов. И юному Бенкендорфу, и Лермонтову — и это обстоятельство сближало их — предстояло свершить какие-то особые воинские подвиги, чтобы оказаться замеченными высоким начальством...

Или бароны Розены, Григорий и Дмитрий, отец и сын... Григорий Розен распорядился зачислить Лермонтова в тот эскадрон своего Отдельного кавказского корпуса, который встречал в Анапе государя... Тем самым боевой генерал (в двенадцатом году он сражался под знаменами Кутузова) пытался привлечь внимание царя к опальному поэту, облегчить его участь. В обществе Дмитрия Розена, сослуживца Лермонтова по лейб-гвардии гусарскому полку, поэта видели и в Царском Селе, и в Москве, и на Кавказе...

Или Дмитрий Фредерикс, барон, офицер морского гвардейского экипажа. Пути Лермонтова и Фредерикса скрещивались по меньшей мере трижды: в петербургском оппозиционном "Кружке шестнадцати", в военном лагере под крепостью Грозный, в битве на реке Валерик...

Имя курляндского дворянина Константина Данзаса навечно связано с Пушкиным. Неразлучны с лицейской поры, секундант на дуэли... Куда менее известны отношения Данзаса с другим прославленным его современником. Между тем именно Данзас пытался уберечь Лермонтова от черкесских пуль. Потому-то и зачислил он ссыльного поэта в батальон, которым одно время командовал.

Бесценные свидетельства о Лермонтове оставил нам близкий Пушкину Алексей Вульф. Автора знаменитого "Дневника", воспитанника Дерптского университета и потомка двухвекового рода рижских бюргеров Вульфов счастливый случай свел с Лермонтовым. Произошло это

зимой 1841 года в петербургском особняке Арсеньевых. Перед нами строки, помеченные мартом 1842 года: "Я с любопытством всматривался в Лермонтова, стремясь увидеть в нем черты великого таланта..."

Зимние месяцы 1839 года... В петербургском салоне Екатерины Карамзиной Владимир Соллогуб слушает в авторском чтении лермонтовские стихи. Между первым поэтом России и молодым многообещающим литератором возникают приятельские отношения. Что же Лермонтову становится известным о Соллогубе? Прослушал университетский курс в Дерпте. Знаток эстляндского быта, поэт и прозаик, который едва ли не первым ввел в российскую словесность тему современной ему Эстонии. Читающий Петербург заметил повесть Соллогуба "Два студента", созданную под впечатлением дерптских лет. В салонах северной столицы не умолкал романс "Накинув плащ, с гитарой под полою..." Многие знали: "Серенаду" Соллогуб посвятил дерптской прелестнице Эмилии Кюднер. Минули два года, и о Соллогубе заговорили как об авторе лифляндского рассказа "Аптекарьша" и повести "Тарантас". Еще теснее соединило писателей участие в одних и тех же журналах. Соллогубу было известно решительно все, что так или иначе соотносилось с лермонтовскими стихами "Ребенку", "Соседка", "Есть речи — значенье...", "Тучи"... Сохранилась записка Соллогуба, где он просит В. Одоевского, композитора и поэта, написать музыку на стихотворение "О, как прохладно и весело нам". Его авторы — Лермонтов и Соллогуб. Того же В. Одоевского в одном из писем Соллогуб зовет навестить Дерпт: "Я подарю тебе разные автографы, между прочим, мои стихи, исправленные рукою Лермонтова". Покидая в последний раз Петербург, Лермонтов поделился с Владимиром Соллогубом давним своим намерением — оставить службу, полностью отдаться литературе, вместе с ним издавать газету...

Правды ради надо сказать и о другом. Весной 1839 года Соллогуб читал царской семье свою повесть "Большой свет", где в угоду великосветской черни далеко не в самом выгодном свете представил Лермонтова. Правда, герой повести Мишель Леонин только какими-то внешними приметами напоминал автора стихотворения "Смерть поэта". Назревала угроза конфликта. К счастью, дело обошлось

миром: "прототип" не признал себя в соллогубовском персонаже.

Прослеживая остзейские проекции в лермонтоведении, никак нельзя пройти мимо имен Дмитрия Милютина, Елизаветы Шаховской, Павла Висковатова. Первый из них — сотоварищ Лермонтова по Дворянскому благородному пансиону, близкий юному поэту по развитию, склонностям, симпатиям. В школьном рукописном журнале "Улей" стараниями Милютина появились ранние стихи Лермонтова... Впоследствии соученику поэта суждено было стать решительным реформатором военного дела в России, талантливым мемуаристом. По свидетельству эстонского литератора Юрия Шумакова, Милютин весь свой долгий век разыскивал и бережно хранил лермонтовские автографы. Со временем стихи и письма друга отроческих лет Милютин передал старшей своей дочери Елизавете, жене эстляндского губернатора Сергея Шаховского. О рукописном этом кладе в разное время узнали первый биограф поэта П. Висковатов, Иван Бунин, другие сопричастные лермонтовской судьбе люди. В конце 30-х годов Ю. Шумаков с согласия Е. Шаховской ознакомился с тайно хранимым собранием. К великому сожалению, судьба милютинского собрания оказалась трагичной. За несколько дней до кончины последняя владелица стихов и писем Лермонтова, в большинстве своем неопубликованных, сожгла их вместе со своим дневником...

Другая линия ведет к Павлу Висковатову — основоположнику лифляндской школы лермонтоведения. Труды увлеченного исследователя и его учеников получили мировое признание. Более двух десятилетий русский профессор — неугомонный добытчик автографов и других редкостных материалов — возглавлял кафедру в Дерптском университете, и все эти годы отдал Лермонтову. По всему свету разыскивал он близких поэту людей, систематизировал, сопровождал комментариями, публиковал их воспоминания. В Дерпте готовилось к изданию шеститомное собрание сочинений поэта.

Первый том открывался пространной статьей о судьбе и творчестве Михаила Юрьевича Лермонтова. Это был итог многолетних разысканий Павла Висковатова. Своими лекциями, консультациями, исследованиями П. Висковатов содействовал формированию целого поколения

немецких, эстонских, латышских переводчиков и литературоведов, знатоков русской литературы. Это эстонцы: Карл Эдуард Сеет, Якоб Тамм, Адо Пийрикиви, латыш Екаб Лаутенбахс, немцы — Т. Эдвард, А. Валд, М. Зихман, К. Галлер. Ему, П. Висковатову, принадлежит мысль о проведении конкурса на лучший перевод лермонтовского стихотворения "Молитва". Сообщение об этом начинании, опубликованное в газете "Олевик", вызвало неожиданно широкий отклик. На первый тур поступило 75 переводов, на второй — 50.

Не последнее место среди остзейцев, знакомых Лермонтова, принадлежит Борису Иксулю — переводчику и мемуаристу. Часы, проведенные в общении с поэтом в доме Екатерины Карамзиной, оставили в душе его вечный след. Горячий поклонник автора поэмы "Демон" и романа "Герой нашего времени", Иксуль сумел увлечь немецких литераторов Карла Августа Фарнхагена фон Энзе и уроженца Эстонии Рейнгольда фон Будберга-Беннингаузена поэзией и прозой Лермонтова. Искусство России Фарнхаген знал не понаслышке. В молодые свои годы в чине капитана он участвовал в последних сражениях с наполеоновской армией. Первыми литературными опытами обратил на себя внимание В. Жуковского, И. Тургенева, Н. Огарева. Из берлинского журнала "Archiv für Wissenschaftliche Kunde von Rußland", где в 1841 году Фарнхаген опубликовал цикл статей о русской литературе, немцы впервые узнали о Лермонтове: "Лермонтов — явление, не имеющее себе равных в новой русской литературе... В его стихотворениях — мощь и удаля былых времен, вдохновенное мастерство. На Лермонтова обращены взоры, полные надежд". Фарнхагену принадлежит первая немецкая версия "Бэлы". Переводчику помогал Б. Иксуль...

Еще в аудиториях Дерптского университета Будберг слышал имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Сразу же после первой публикации "Мцыри" Будберг принимается за перевод поэмы. Немецкий текст "Мцыри" опубликован в 1842 году. Берлинское это издание посвящено Б. Иксулю. Эпиграфом к нему по желанию Будберга стали слова о Лермонтове, сказанные Б. Иксулем: "Новый поэт родился для мира, быть может, второй Пушкин. Милостивое небо избрало его, чтобы муза России больше не безмолвствовала!" В том же году Будберг опубликовал

статью "Кавказские минеральные воды", в которой вместе с немецкими читателями скорбел о гибели русского поэта. В сборник своих оригинальных стихов Будберг включил и свои версии лермонтовских стихотворений "Три пальмы", "Дары Терека", "Казачью колыбельную". Переводческий подвиг Будберга достойно венчает его воссоздание "Героя нашего времени".

НЕ РАССТАВАЯСЬ С ПОЭТОМ

Еще за несколько лет до того, как латыши первые лермонтовские стихи прочитали на родном языке, одним из них творения русского поэта стали известны в оригинале, другим — в немецких переводах. Лифляндский издатель и литератор граф Н. Ребиндер опубликовал в своем "Балтийском альбоме" три стихотворения Лермонтова ("Сон", "Выхожу один я на дорогу...", "Нет, не тебя так пылко я люблю...") в переводе Карла Штерна. Произошло это в Дерпте, в 1848 году.

70-е годы отмечены блистательными переводами лирических лермонтовских шедевров — и среди них "Смерть поэта" в немецкой передаче Андрея Ашарина. По наблюдению лифляндского лермонтоведа Ф. Дукмайера, переводам Ашарина читатели отдавали решительное предпочтение.

В 80—90-е годы XIX века немецкие аналоги лермонтовских поэм и стихов — на этот раз их переводили А. Валд, М. Зихман, Т. Эдвард — издавались в Ревеле, Дерпте, Риге.

Впервые по-латышски Лермонтова прочли в первой половине 50-х годов прошлого столетия. В 1854 году Юрис Алунак включил в свои знаменитые "Песенки" "Казачью колыбельную". В других своих переложениях Ю. Алунак широко пользовался приемом локализации: охотно вводил фольклорные образы, иноплеменные имена заменял латышскими, из чужедальных мест действие переносил на берега Даугавы. Но в "Казачьей колыбельной" автор "Песенок" стремился ни в чем не отступать от оригинала. "Колыбельная" вызвала в Латвии многочисленные подражания. В 1879 году Цериню Петерис публикует стихотворение "Не плачь, не плачь, мое дитя". И тематически, и по эмоционально-образному строю это стихотворение восходит к лермонтовской "Казачьей колыбельной". На

рубеже двух веков латышские читатели знакомятся еще с одной локализацией — "Песней матери буров" Яниса Эзера. Действие в этом переложении переносится на поля сражений англо-бурской войны. Мать закликает сына отомстить порабителю за поруганную отчизну. Именно этой редакции суждено было фольклоризироваться, стать народной песней латышей. В тетради неизвестного участника баррикадных боев Пятого года находим один из вариантов "Песни матери буров". На этот раз мать выражает заветную свою надежду: пройдут годы, сын вырастет, станет бесстрашным, сильным и вызволит своего отца из тюремных застенков, в едином строю они завоюют свободу...

Судрабу Эджус в остросатирическом стихотворении "Колыбельная песня защитников старого мира" зло высмеивает тех родителей и школьных наставников, которые чуть ли не с колыбельных лет разглядели в своих детях будущих хозяев жизни.

Еще в начале 70-х годов Матис Каудзите перевел "Воздушный корабль" и "Чашу жизни". Распевные эти строфы вместе с другими лермонтовскими текстами фольклоризировались → речь идет о стихах "Парус", "Бородино", "Молитва", "Горные вершины", "Выхожу один я на дорогу..." — и стали известны собирателям латышского устно-поэтического творчества. Чуть ли не любой фольклорный вариант освещен народной мыслью и чувством. Действие стихотворения "Сон", например, из горного Дагестана переносится в Латвию. Его текст дополняется концовкой, которой нет ни в оригинале, ни в литературном переводе:

*Пусть умер он... Но дерзкий подвиг
В легендах вечно будет жить.*

В 80—90-е годы прошлого века чуть ли не всего Лермонтова латыши читали на родном языке. "Парус", "Горные вершины", "Молитва", "Сон" — каждое из этих стихотворений имело от восьми до двадцати пяти латышских вариантов. Среди переводчиков — Рудольф Блауманис и Вилис Плудонис, Аугуст Саулиетис и Юлий Диевкоциньш, Фрицис Адамович и Судрабу Эджус, Доку Атис и Екаб Яншевскис. По-латышски поэму "Демон" первым воссоздал Матис Каудзите (1874 год). Но безоговорочное признание читателей и критики получил перевод Райниса (1897 год).

Это был не только новый этап в развитии искусства латышского перевода. Райнисовскому "Демону" навсегда суждено было стать фактом латышской литературы. Райнис упорно искал в родном языке необходимые лексические эквиваленты. С этой целью он ввел в свой текст свыше ста шестидесяти неологизмов. Переводчик все делал для того, чтобы помочь читателю в восприятии тончайших оттенков смысла, сложных переплетений философских, духовно-нравственных мотивов поэмы, аллегорических ее образов.

Между тем с трудностями — и немалыми — переводчики Лермонтова сталкивались постоянно. Так, антитезу "Ночевала тучка золотая на груди утеса-великана" — смысловой стержень стихотворения — латышские интерпретаторы передавали по-разному. У Р. Эгле: *Zelta debestiņa pārnakšņoja, klinšu milzim glauzdamās pie krūtīm*. Как видим, стремясь сохранить женский род ключевого слова "тучка", переводчик находит латышский синоним *debestiņa*. З. Пурвс предлагает иной вариант: *Zelta mākoņpūka miegā kautri klinšu milzim kļāvās klātu*. И на этот раз дело не обходится без синонима *mākoņpūka*. Арвид Скалбе, стремясь передать слово "тучка" по возможности самым точным эквивалентом, предложил такое решение: *Sīciņš mākonītis, malu apzeltītu, nakšņoja uz klints, uz milža krūtīm*. По такому же пути пошла Монта Крома. И вот получилось нежелательное смещение: в латышском тексте лермонтовская тучка становится существительным мужского рода, получается смысловой перекосяк: антитеза (тучка — утес) исчезла...

Не обходилось и без откровенных курьезов. В конце прошлого века некий Индрикис Лицис, объявивший себя переводчиком, представил на читательский суд книгу, на титульном листе которой значилось: *Ļermontovs Mihails Jurjevičs. Razbainieks Zakatins, jeb: Jocīgais precību kandidāts Sibīrijā. Ļoti jauks stāsts iz Sibīrijas noziedznieku dzīves*.

Долгое общение с поэзией Лермонтова имело для латышских литераторов положительные последствия. Благодарный взгляд на предшественников, на великий пример, как известно, ни для кого не проходил бесследно. Не составил исключения и Судраба Эджус. В его "Ночной тишине" слышится музыка и печаль лермонтовских "Горных вершин". Фридис Барда не без ориентации на "Демона"

пишет поэму "Ночь Тамары". Нельзя не отдать должное Эрику Адамсону. В 30-х годах у этого поэта и драматурга возникает смелый замысел сценического воплощения образа Лермонтова. Рождаются сцены из драмы "Смерть Лермонтова". Отзвуки лермонтовского "Кинжала" различаются в строках Райниса ("Стань твердой, мысль"). Свою тропу к Лермонтову проторила и Аспазия. В ее статье о русском поэте есть такие строки: "Я поняла, почему Кавказ покорил Лермонтова, самого близкого для меня поэта. Неизъяснимой, какой-то космической силы картины. И неугомонный Терек, рвущийся сквозь дикие скалы и дымящуюся мглу. И Демон — "печальный дух изгнания". И непостижимо прекрасная Тамара — созданная не для жизни земной". Когда латышская поэтесса прочла, —

*Творец из лучшего эфира
Соткал живые струны их,
Они не созданы для мира,
И мир был создан не для них! —*

она не удержалась от восклицания: "Хотелось бы мне теми же словами сказать о себе!"

И другим латышским поэтам Лермонтов виделся то на склонах Бештау, то в многошумных переулках Пятигорска, то в последнем его милом домике...

*Здесь дух еще витает старый,
Здесь каждый камень наречен.
Истоптанные тротуары
Хранят следы былых времен.*

*Вот Лермонтов промчался в бурке,
Вот Пушкин скачет на коне,
И персиане, греки, турки
Из тьмы столетий машут мне.*

(“Пятигорск”)

Этим строкам Андрея Курция суждено было стать поэтическим камертоном для Иманта Зиедониса, Яниса Грота, Мары Гриезане...

Как видим, писатели Латвии отдавали должное "певцу непокоя и мятежа" (Александр Чак), способствовали вечной его жизни...

... Летом сорок первого года Рудольф Эгле подготовил к печати латышское издание сочинений Михаила Лермонтова. Первый том включал стихи и поэмы в переводе Райниса, В. Плудониса, Р. Блауманиса, Р. Эгле, Э. Залите, К. Крузы. Над вторым томом — в нем публиковались "Герой нашего времени" и другие прозаические произведения, почти вся драматургия — работали Рудольф и Карлис Эгле, Иева Целминя. Обе книги печатники набрали за считанные дни. Вторая мировая война прервала этот труд. И все же самое полное лермонтовское собрание стало достоянием латышских читателей в первые же мирные недели. В предисловии к двухтомнику Р. Эгле пишет: "Полет лермонтовской мысли, половодье чувств, ясный, полноречивый, тонкий по нюансировке стих... Метафорическая смелость, ритмическая изобретательность, бьющая через край строф музыка, смысловые параллели, аллитерации... Надо ли доказывать, что все это не сразу и не вдруг ложится на иной язык".

Один из первых читателей послевоенного лермонтовского двухтомника Я. Судрабкалн заметил: "Латыши хранят в сердцах своих и страстные пророчества, и высокую музыку лермонтовских строк, помнят его патриотические гимны, пропетые России, знают строки, обращенные к разноплеменным людям". Вещие это слова...

ВОСХОЖДЕНИЕ К ГОГОЛЮ

В ВЕЦПИЕБАЛГЕ ИГРАЮТ "РЕВИЗОРА"

Ранней весной 1874 года по всей Средней Видземе — в окрестностях Цесиса и Нитауре, Эргли и Мадоны, Цесвайне и Яунпиебалги — заговорили о делах увлеченных земляков из местного Левческого общества. Стало известно и о другом: любая просьба поставить латышскую пьесу на школьной сцене вызывает раздражение, протест вновь назначенного пастора А. Гулке. Потому-то и принялись ревнители театра за перестройку вецпиебалгских казарм. Их стараниями давно пустующее здание преобразилось... К участию в спектаклях готовились известные в округе люди: входящие в силу прозаики братья Каудзитес, поэт Андрей Пумпур, учителя Атис Кронвалд, Андрей Стерсте, Екабс Пилсатниекс, врач Янис Юрьян... Особое любопытство вызывали вести о скорой премьере "Ревизора". Многие были наслышаны о неизменных удачах, которые сопутствовали этой пьесе на рижской профессиональной сцене. В чем же тайна успеха?

Гоголевская комедия разительно отличалась от всего, чем в ту пору вынуждены были пробавляться латышские труппы Риги, Елгавы, Лиепаи. Не в пример назидательным и скучным мелодрамам, которые звали к покорности Господу Богу и господам баронам, пьеса русского классика обличала тупой бюрократизм, лихоимство, любые проявления жестокосердия, бездуховности. "Совсем недавно, — отмечала в 1870 году газета "Baltijas Vēstnesis", — впервые раздвинулся занавес на сцене Рижского латышского театра. "Ревизор" стал пробным камнем жизненной

и театральной достоверности, мастерства". Могло ли сложиться иначе? Ведь на этот раз от актеров вовсе не требовалось, как это бывало в развеселых действиях "Пьянчужка Бертулис"; "Веселый шут на торговой площади", потешать публику плоскими остротами и балаганными трюками. Молодой труппе предстояло воплотить немеркнущие гоголевские образы, создать характеры широких типических обобщений. И рижская постановка стала событием. Особой похвалы удостоился исполнитель роли Хлестакова Адольф Алуна. Через недолгое время и зрители, и актеры назовут его "отцом латышского театра".

Лучшая комедия русского репертуара проторила себе путь и в латышскую театральную провинцию. 18 октября того же 1870 года в гоголевской пьесе предстали митавские любители. Спектакль поставил Адольф Алуна и снова сыграл Хлестакова. Рецензент "Рижского вестника" говорил о бесспорных приметах удачи. Это и "неподдельный восторг публики", и "взрывы дружного смеха", и "шумные аплодисменты после каждого акта". В то же время газета не умолчала и о спорных актерских решениях. У Городничего, к примеру, в сцене трактирной встречи с Хлестаковым "не было заметно робости, фантастически перемешанной с фанфаронством и плутовством". Напротив, Бобчинский оказался поистине гоголевским типом. Он "был искусно гримирован и очень походил на сморчка..."

И вот в начале апреля 1874 года обитатели батрацких половин и самодовольные их хозяева, торговый и ремесленный люд, волостные писаря и дворовые съезжались в Вецпиебалгу. Желание увидеть "Ревизора" оказалось столь велико, что рассчитанный на тысячу зрителей зал не смог вместить и половины прибывших. Тех, кто остался за театральным порогом, Атис Кронвалд утешал: "Сегодня же вечером повторим "Ревизора"... И постараемся сыграть не хуже, чем в первый раз!" По свидетельству участника той постановки Андрея Стерсте, два представления — одно за другим — прошли не только в день премьеры. Так повторялось и во многие другие недели и месяцы. Со своим "Ревизором" труппа выезжала в Смилтене, Виеталву, Ливберзе, в другие ближние и дальние места.

Возникает естественный вопрос: в каких же ролях увидели зрители братьев Каудзитес, Андрея Пумпура? Такой интерес понятен: первым суждено было стать авторами

знаменитого романа "Времена землемеров" и основоположниками латышской реалистической прозы. Второго прославил героический эпос "Лачплесис", созданный по мотивам народных преданий. Достоинными людьми оказались и другие исполнители комедии. В историю латышской культуры Атис Кронвалд вошел как один из организаторов первого Праздника песни и первых конференций учителей народных школ. По грамматике и книгам для чтения Андрея Стерсте несколько поколений латышских школьников овладевали родным языком.

Как же в спектакле разошлись роли? Воспоминания актеров, зрителей тех лет однозначного ответа не дают. По авторитетному утверждению создателей спектакля¹, Хлестакова играл Матис Каудзите, Бобчинского — Андрей Пумпур, Добчинского — Янис Юрьян. В "Истории латышского театра" находим иные сведения: роль Хлестакова была поручена Андрею Стерсте². Анна Берзкалне, которая долгие годы дружески общалась с братьями Каудзите и А. Стерсте, не сомневалась: образы Добчинского и Бобчинского в Вецпиебалге воплощали Рейнис и Матис Каудзите. В книге Карлиса Эгле упоминается Лиза Ратминдер как исполнительница одной из ролей в "Ревизоре"³. Расхождения в источниках легко объяснимы: после того, как Андрей Стерсте покинул Вецпиебалгу, Рейнис Каудзите распределил роли заново...

Сценическая судьба "Ревизора" в латышских профессиональных и любительских театрах оказалась счастливой. Пьесу неоднократно ставили в Елгаве и Лиенае, Риге и Даугавпилсе, Валмиере и Бауске. Широкий общественный отклик вызвала лиепайская премьера "Ревизора" 1897 года. Перед началом спектакля к зрителям обратился режиссер Андрей Криевс. Он говорил, что театр воспринял "Ревизора" как пьесу-обвинение, дерзкий вызов тирании, насилию, злу. Постановка вызвала бурную реакцию лиепайцев, и полицейский надзиратель незамедлительно сообщил о "бунтарском спектакле" своему начальству⁴.

Обращение к "Ревизору" стало школой мастерства для режиссеров Адольфа Алуна и Эрнеста Фелдманиса,

¹См.: *Brāji Kaudzītes. Raksti*, VI. — Rīga; 1941. 208. lpp.

²*Kundziņš K. Latviešu teātra vēsture*, I. — Rīga, 1968. 176. lpp.

³*Egle K. Atmiņas*. — Rīga, 1972. 17. — 18. lpp.

⁴*Kundziņš K. Latviešu teātra vēsture*, I. — Rīga. 1968. 338. lpp.

Анны Лацис и Веры Балюны, для актеров Берты Румнице (Анна Андреевна) и Яниса Бригадера (Ляпкин-Тяпкин), Яниса Осиса (Городничий) и Карлиса Себриса (купец Абдулин), Альфреда Яунушана (Хлестаков) и Эдгара Зиле (Осип).

О том, как гоголевская комедия содействовала гражданскому становлению и литературному образованию молодых поколений, свидетельствуют бесчисленные школьные спектакли. Крупный мастер русской исторической прозы С. Сергеев-Ценский (в молодые годы он был учителем Талсинского городского училища), отвечая на письма бывших своих воспитанников Карлиса Эгле и Готфрида Ансаберга, вспоминал: "Вы говорите о "Ревизоре", поставленном мною в Талсы силами учеников... не забыл об этом и я".

Афиши русских трупп 60—80-х годов приглашали зрителей посмотреть "Ревизора". Рижские артисты-любители — и среди них старшекласники, унтер-офицеры из морского гарнизона Дюнамюнде¹, конторские служащие, ремесленники и учителя — играли в "Улье", на сцене Александровской гимназии, в цирке, Царском саду.

12 апреля 1886 года "Рижский вестник" снова возвращается к гоголевской пьесе. Н. Михайлов, говоря о благотворительном вечере по случаю 50-летия "Ревизора", не жалеет восторженных эпитетов и для исполнителей ведущих ролей, и для постановщика. Отдает должное нетрадиционному финалу спектакля. Бюст Гоголя — по воле режиссера он возвышался над всеми участниками немой сцены — воспринимался зрительным залом как немой укор мздоимцам, казнокрадам, прохиндеям.

Земляникам и держимордам досталось и от рижского литератора П. Поспелова. В его стихотворении "Памяти Гоголя", опубликованном в том же номере "Рижского вестника", есть строки и о великом провидце, которого людям "послало небо", и о "грозном смехе сквозь рыданья", и о "луче неподкупной гоголевской правды". Упрямо пробивается она сквозь "мрак и страх"..."

По-иному сложилась судьба немецкой версии "Ревизора". Авторы переделки, рижане Баумгартен и Крампф, по своей воле одни сцены сократили, другие — вовсе устранили. Особенно не повезло Христиану Ивановичу

¹Волдерая.

Гибнеру: бедного лекаря зрители так ни разу и не увидели... "Не знающий ни слова по-русски, — сетовал "Рижский вестник", — Гибнер дважды бы произнес предназначенный ему Гоголем знаменитый звук, "отчасти похожий на букву "и" и несколько на "е", и тем самым обрисовал бы себя с ног до головы лучше любых разглагольствований... Потому-то жаль, что г-н Гибнер не явился на сцене рижского городского театра: он бы не прошел незамеченным"¹.

В 20—30-е годы "Ревизор" — одна из самых репертуарных пьес Рижского театра русской драмы. Спектакль, поставленный Н. Шмидтом в 1926 году, вызвал едкие замечания рецензента газеты "Сегодня". Решительно не понравилась ему та сцена, где служанки с великим тщанием затягивают раздобревшую на дармовых хлебах Анну Андреевну в тесный корсет. Критик посчитал этот эпизод неоправданной отсебятиной. По этому поводу газетный карикатурист изобразил автора пьесы в самом бедственном положении. Исполнители главных ролей и постановщик накрепко связывают ни в чем не повинного драматурга. И ни охнуть-то ему, ни вздохнуть...

В наше время "Ревизор" обрел новую сценическую жизнь (1983 год, режиссеры Эдмунд Фрейберг и Аркадий Кац). Не вдаваясь в оценку этих спектаклей, — каждый из них примечателен по-своему, — отметим эпизод, которого все прежние постановки не знали:

Хлестаков. А, хорошо, gut. Дайте сюда, giebt. (Берет и раскуривает.) Хорошая сигарка. Это, верно, из Петербурга? (Пускает дым.)

Гибнер. Нет... из... Рига.

Хлестаков. Из Риги? Да, я так и думал".

Этот неожиданный диалог, упоминание о Риге неизменно вызывают оживление в зале, аплодисменты. Покидая театр, зрители делятся впечатлениями: "Со школьных лет знаем "Ревизора", но подобного не слыхивали — Хлестаков о Риге заговорил. Режиссеру выдумки не занимать!.." Между тем Рига в "Ревизоре" — вовсе не придумка, не новация постановщика. Всё куда проще. В одной из редакций "Ревизора", опубликованной в четвертом томе Полного собрания сочинений Н. В. Гоголя, Гибнер и

¹"Рижский вестник". 1871. №98.

Хлестаков обмениваются своими пустопорожними, но, как всегда в этой комедии, неведомо отчего обаятельными репликами... К слову сказать, Рига возникает и в гротескно-фантазмагорической ситуации, известной любому читателю повести "Нос":

"Вошел полицейский чиновник...

— Вы изволили затерять нос свой? Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев... — Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И паспорт давно был написан на имя одного чиновника".

Рига как столица Ливонии — одного из государств на западных рубежах России в эпоху позднего средневековья — с давних пор занимала воображение Гоголя. Молодой адъюнкт-профессор кафедры всеобщей истории Петербургского университета, он не раз в своих лекциях обращался к бурному прошлому Лифляндии¹. Откроем конспект гоголевской лекции, озаглавленной "Торговля Балтийская": "Около 1192 года колония из Бремена основала в Ливонии Ригу". В своей лекции по истории Остзейского края, прочитанной с кафедры женского Педагогического института, Гоголь обращал свой взор к опаленной войнами земле: "В это время Ливония выдерживала кровопролитную войну с царем русским Иоанном Грозным, хотевшим присоединить ее к своему обширному царству. Правители Ливонии, архиепископ рижский и гермейстер лифляндский не в силах будучи противиться сильному неприятелю, отдались — первый в покровительство Швеции, а другой — Польши. (...) Грозный должен был разом воевать и со Швецией, и с Польшею. Эта война, как увидим после, мало принесла ему выгоды. Он принужден был не только отказаться от Ливонии, но уступить еще Швеции Карелию и все земли при Балтийском море".

ПЕРЕВОДА СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ

Впервые гоголевские персонажи по-латышски заговорили на страницах газеты "Baltijas Vēstnesis". Произошло

¹Гоголь Н. В. Полн. собр. соч. в 14-ти томах. Т. IX. С. 65, 77, 88.

это в 1869 году, когда из номера в номер публиковалась "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем"¹. Но самыми заметными событиями начального этапа освоения гоголевского наследия в Балтийском крае стали латышские тексты "Ревизора" и "Тараса Бульбы". Комедию перевел Индрикис Алуан, "Тараса Бульбу" — Фрицис Бривземниекс. Почему же Бривземниекс — видный педагог, литератор, фольклорист — решил на языке своего народа воссоздать "Тараса Бульбу"? Многие проясняет его признание, высказанное в одном из писем: "Мы (...) должны заботиться о том, чтобы сблизить русский и латышский народы. Наш долг знакомить русскую публику с достижениями латышской культуры, латышам раскрывать духовные ценности русских. Поэтому я и перевел "Тараса Бульбу"². Обратимся к введению, предпосланному Ф. Бривземниексом рижскому изданию "Тараса Бульбы": "В Сечи искали и находили вольность некоторые смельчаки из литовцев, а возможно, и латышей... Таким человеком помещик не мог более распоряжаться так, как это делал ранее, ибо казак в Запорожье привык считать всех равными — будь то помещик, или горожанин, или крестьянин... Казаки знали лучшие средства, нежели печали и вздохи. Они выхватывали из ножен острые сабли и этим привычным для них оружием писали новые законы на дурных головах порабощенных"³.

О том, насколько основательно Ф. Бривземниекс ознакомился с наследием автора "Ревизора" и "Мертвых душ", свидетельствуют его записные книжки. Стремясь проникнуть в тайное тайных гоголевского текста, он выписывает из "Мертвых душ" фразеологизмы, меткие речения, при словья, исторические и бытовые реалии⁴. С этой же целью делаются пространные выписки из письма Белинского к Гоголю⁵. Вслед за русским критиком переводчик "Тараса

¹Baltijas Vēstnesis. 1869. №22.—26.

²Рукописное отделение Вильнюсского государственного университета. Фонд Я. Спрогиса, письмо Ф. Бривземниекса от 29 июля 1877 года.

³Slavenais kazaku vadonis Tarass Bulba, krieviski no N. Gogoļa. Latviski tulkojis Fr. Brīvēzmeņiēks". — Rīga. 1877.

⁴Рукописное отделение Фундаментальной библиотеки Академии наук Латвии. Фонд Ф. Бривземниекса.

⁵Там же.

Бульбы” не все безоговорочно принимает в гоголевском наследии. Так, цитируя авторское предисловие к ”Мертвым душам”, те самые слова, где ”высшее сословие” именуется ”цветом народа”, Бривземниекс рядом с этим определением одновременно ставит восклицательный и вопросительный знаки.

В 80-е годы латыши на родном языке смогли прочитать многие рассказы из ”Вечеров на хуторе близ Диканьки”, ”Миргорода”, ”Петербургские повести”. Однако роман ”Мертвые души” к тому времени все еще оставался не переведенным. Сделать великую книгу достоянием своего народа — такую цель поставил перед собой молодой Райнис. В его дневнике за 1884 год находим такое признание: ”(...) сидел и переводил ”Мертвые души” Гоголя”¹. Однако замысел этот по разным причинам остался невоплощенным, и современные читатели знакомятся с романом в переводе М. Шумана и А. Микельсона.

Откликаясь на просьбу Нового латышского театра, Андрей Упит в 1908 году переводит ”Ревизора”.

Небезынтересно сопоставить тексты комедии в передаче И. Алуна и А. Упита. Прежде всего Упит освободил свой текст от архаизмов, устаревших грамматических форм, заимствований из немецкого языка. Именно поэтому целый ряд словосочетаний Упит заменяет: *ar dampfkuģi — ar tvaikoni; šlafrokā* — синонимом *nakts mētelī*. Упит устраняет переводческие неточности, ошибки Алуна. Так, глагол *стóит* (во фразе *у меня одна лестница стóит...*) Алуна передал словосочетанием *trepes stāv* (лестница стóит). Вместо пакета у первого переводчика появляется *paка* (посылка). Для диалектных *šauštas, druvejas* Упит находит точные эквиваленты в литературном языке: *ņurdz, apjuka*. Неверно употребленные глагольные приставки находят грамматически оправданные замены. Если И. Алуна в гоголевском словосочетании *взбежать по лестнице* глагол переводит *izskrēja* (выбежал), то А. Упит находит единственно верный грамматический эквивалент: *uzskrienu*.

Упит справился с многосложной задачей: лексико-стилистическими средствами родного языка передал неповторимую индивидуальность, социальный и психологический облик каждого персонажа. Как велико его внимание к

¹Literārais mantojums, I. — Rīga. 1957. 38. lpp.

речевой манере Хлестакова и Земляники, Анны Андреевны и Марьи Антоновны, почтмейстера и купца Абдулина! Как трудно отыскивал Упит латышские эквиваленты для воссоздания синтаксиса, словаря, речевого строя персонажей, для реконструкции казенно-бюрократического витийства Городничего и Ляпкина-Тяпкина! Стараниями Упита латышские читатели вслушивались в ход и лад гоголевского слова. В угловатые, прерывистые ритмы гоголевской фразы. Пытались разгадать тайны стилистического бесстрашия автора "Ревизора"...

Среди переводчиков Гоголя имена таких латышских писателей, как Рудольф Блауманис, Апсишу Екабс, Янис Плаудис, Александр Чак. В 50—60-е годы вся гоголевская проза и драматургия издаются на латышском языке.

ГОГОЛЕВСКОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ

До середины 70-х годов прошлого столетия в латышской беллетристике тон задавали многочисленные переделки третьеразрядных немецких авторов. Редкие оригинальные произведения мало чем отличались от переводных. И вдруг среди немудреного этого чтива блеснуло по-настоящему талантливое произведение — роман братьев Каудзитес "Времена землемеров". Чем объяснить столь великолепный взлет реализма в латышской прозе? Как сразу, вдруг могла явиться книга, социально острая, национально окрашенная, населенная живыми людьми, новаторская? Быть может, "Времена землемеров" — счастливая случайность? Даже беглое сопоставление "Мертвых душ" и повествования братьев Каудзитес не оставляет сомнений: первые латышские реалисты знали силу разящей гоголевской сатиры. Вывод этот представляется еще более основательным, если взять в соображение широко известный факт: Рейнис и Матис Каудзитес одними из первых в Латвии прочли "Мертвые души". Для художественного развития латышских романистов не прошло бесследно участие в постановке "Ревизора"... Вслед за Гоголем братья Каудзитес не приемлют, решительно осуждают общественный застой и все, что сковывает творческие силы народа. Авторы "Времен землемеров" воодушевляло гоголевское осуждение ханжества, своекорыстия, приспособленчества, красноречия.

И, быть может, латышские литераторы постигли самое сокровенное в Гоголе: его гневный смех сквозь невидимые миру слезы, умение общественную трагедию, современником которой он был, представить в виде очищающей нравы комедии.

Надо иметь совсем неразвитый слух, чтобы не расслышать переключку персонажей из "Мертвых душ" и "Времен землемеров". Стоит только вспомнить капитана Копейкина и бесстрашного мстителя Грабовского. Братья Каудзитес разгадали немало гоголевских секретов. Один из них — несоответствие речей, реплик персонажей из "Мертвых душ" их мыслям, делам, поступкам. Раскроем "Времена землемеров". У бессердечных лицемеров Олиней слова "Бог", "любовь к ближнему" не сходят с языка. "У меня, — говорит жена Олиня, — эта любовь к божественному от рождения: куда бы ни пошла, что бы не делала, молитва всегда у меня на устах". Однако восхваление "божественного" совсем не мешает Олиням ради наживы лишить своих соседей крова, разорить бедняка, довести до самоубийства дочь. И еще: многозначная, беспредельно емкая гоголевская метафора, дерзкая гипербола, сатирически заостряющая темные стороны бытия. Как тут не вспомнить мечты слатавцев о предстоящем банкете. "Суп, который привезут из чужедальных стран в котлах из живого серебра..."; "хлеб, испеченный в печах из красного стекла у Кофейного моря, привезут в Слатаву на слонах по воздуху..." Конечно же, все это очень напоминает другую знаменитую гиперболу — "суп", который "в кастрюльке прямо на пароходе приехал из Парижа", "в семьсот рублей арбуз". Из сказанного ясно: гоголевские уроки не прошли незамеченными для писателяей Каудзитес, и не только Каудзитес¹...

На сюжетные реминисценции из Гоголя в рассказах Апсишу Екаба "Соседи", "У волостного суда" обратил

¹Первым типологическую общность "Времен землемеров" и "Мертвых душ" отметил Янис Янсон-Браун ("Латышское общественно-культурное развитие и латышская литература". — В кн.: Сборник латышской литературы//Под ред. М. Горького и В. Брюсова. — Петроград, 1916. С. 18). Об идейно-художественной близости этих произведений в разное время говорили А. Упит (*Upīts A. Latviešu jaunākās rakstniecības vēsture*, I. — Rīga: 1921. 21. lpp.), В. Вавере и Г. Мацков (В кн.: Латышско-русские литературные связи. — Рига: 1965. С. 79—83).

внимание Арвид Григулис. В первом из них перепалка крестьян Ирбе и Пратыня живо напоминает пустопорожную ссору Ивана Ивановича с Иваном Никифоровичем. Даже подробности крестьянского обихода нередко совпадают. Скажем, латышские селяне, совсем как украинские землепашцы, волей Апсишу Екаба по утрам пьют чай:

"...viņš bija īsti krievisks tējas dzērājs. Rītiem un vakariem meitai bija "jāsilda" ūdens "čejai", tad saimniece pati uzlika uz galda abas tējkanas, lielo un mazo, un tases... Pats Prātiņš tad lēja tēju no glāzes uz apakštases, kuru nostiprināja uz visiem pieciem kreisās rokas pirkstiem, un tad, no cukura grauda gabaliņu nokodis un aizlicis aiz lūpas (Prātiņš bija taupīgs) un vēl pāra reižu uzpūtis kūpošai tējai virsū, pielika tasi pie mutes, un virrrkš! — pirmais malks bija dibenā. Šim malkam bija daudz pēcnācēju, vismazākais no kādām glāzēm deviņām vai desmit"¹.

Во втором рассказе типологические схождения отмечаются в реалистических описаниях волостного суда и судей-мздоимцев.

Скрытые цитаты из Гоголя находим и в ранней драматургии Андрея Упита, и в пьесе Эдуарда Вульфа "Праздник в Скангале". Разве несозвучны обе сцены — чтение письма Хлестакова и приведенный ниже эпизод из комедии Э. Вульфа?

"Свейклитс. Господа, вы читали вчерашний номер "Нового слова"?.. С вашего разрешения, я прочитаю. (Читает.) Реакционеры из Скангале готовятся к юбилею Благотворительного общества... Выпускник семинарии Цимзе Свейклитс... Гм... дальше пошла совершенная ерунда...

Пулверс. Нет, если уж начал читать, читай все подряд!

Далбиньш. Ничего не пропускай!..

Свейклитс. Выпускник семинарии Цимзе Свейклитс, потев от пива и ликеров, дни и ночи напролет ставит голоса певцам, каждый из которых принадлежит к столпам Благотворительного общества. Во главе этого стоит

¹К тому же он (Пратињш. — Авторы) оставался истинно русским чаехлёбом. По утрам и вечерам батрачка обязана была для него кипятить "чай"... За столом Пратињш понемногу отливал чай из стакана в блюдо, которое водружал на все пальцы левой руки, и потом медленно, через кусочек — виррркш! — проглатывал дымящийся напиток. За первым глотком следовали другие. Так опустошал он по меньшей мере не то девять, не то десять стаканов..."

"кулак" Далбиньш, которого не покидает надежда стать городским головой...

Д а л б и н ь ш. Хватит... Остановись... Потом подумаем, стоит ли возражать на такую бездарную статью!.."

Отголоски гоголевского "Вия", отмеченные Петерисом Шмитом в сказке "Ведьма в гробу", — одно из свидетельств литературных симпатий латышей. В видземском варианте, к примеру, встречаем непривычное для латышских сказок имя старого черта — Вий. "Веки у него (совсем как в повести Гоголя!) свисали до самого пола". Ни в одной другой латышской сказке, кроме названной, не находим среди персонажей никогда не унывающих певчих (у Гоголя — семинаристы!). Нетрадиционна для латышского фольклора и печальная развязка: не знающий страха "певчий" в схватке с нечистой силой погибает...

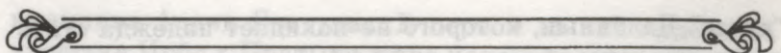
К произведениям Гоголя не раз обращался сподвижник Чернышевского и Писарева Петр Баллод. Своего следователя по делу о "карманной типографии" он сравнивает с недалекими чичиковскими слугами Селифаном и Петрушкой¹. Литературный критик Янис Асар, скрешивая шпаги с защитникам вчерашнего дня, восклицал: "Сколько еще бродит по нашей земле типов, у которых в новое наше время бьются сердца старых, обреченных историей чичиковых и собакевичей!"² Андрей Упит, решительно не соглашаясь с Арону Матисом (последний упрямо не замечал очевидные для каждого заслуги латышских писателей), полусерьезно назвал его Сквозник-Дмухановским³.

Наше восхождение к Гоголю продолжается. Его наследие в латышских переводах не только стало достоянием школьных хрестоматий, университетских пособий, монографий. "Мертвые души" и "Ревизор", "Петербургские повести", "Тарас Бульба" не знают старости, по-прежнему входят в круг любимого чтения, дарят читателям радость.

¹Валескалс П. Революционный демократ Петр Давыдович Баллод. Материалы и биография. — Рига, 1957. С. 136.

²Asars J. Gogolis. // Dienas Lapa. 1902. №44.—51.

³Latviešu literatūras kritika. II sēj.: Rīgā, 1957. 1021. lpp.



АЛЕКСАНДР ГЕРЦЕН — ЛАТЫШСКИХ КРЕСТЬЯН ЗАСТУПНИК

Эпистолярное наследие Марко Вовчок, воспоминания ее потомков знакомят с малоизвестными подробностями литературного быта 50—60-х годов прошлого века. В письмах украинской писательницы, свидетельствах ее родственников не раз упоминаются имена Александра Герцена и живописца Карлиса Гуна. Как случилось, что имена глашатая свободной России и художника из Риги соседствуют на одних и тех же страницах? Многое объясняет парижское полотно латышского мастера.

...Лето 1864 года. Герцен во Франции. Добрые отношения складываются у него с Марко Вовчок. В ее доме Герцен познакомился с выпускником петербургской Академии художеств Карлисом Гуном. На авеню де Нельи "городу и миру" был явлен портрет маслом достойной дочери Украины. В славянских кругах Парижа заметили и другую работу молодого лифляндца: в тенистом уголке сада, у высокого крыльца запечатлены Герцен, Марко Вовчок и одиннадцатилетний ее сын Богдан. Эту картину украинская писательница хранила до конца своих дней. Потом полотно оказалось в Петербурге. В годы первой мировой войны и революционных событий следы группового портрета теряются...

Беседы с Карлисом Гуном воскресили в памяти Герцена его встречи с латышами, рижскими бюргерами, остзейскими баронами. Было это в 1847 году. Через несколько лет издатель "Колокола" поведал о мучительной доле лифляндских крестьян, о тяготах неимущих горо-

жан... Не остался безучастным Герцен к истории молодой лифляндки Янсоне (статья "Под спудом"). Сломленная ее судьба в чем-то предвосхищает трагедию Розалии Оня — прототипа Катюши Масловой (по сведениям видного юриста и общественного деятеля Анатолия Федоровича Кони, тоже уроженки Балтийского края). Говоря о девушке из Лифляндии, замученной владелицей публичного дома и послушными ей держимордами, о ранней ее могиле, Герцен не скрывает своего возмущения: "Какие деньги платят полиции содержательницы за такие страшные преступления? Недешево берут и полицейские за убийство!"

Тему угнетения бесправных Герцен продолжает и в заметке "Розги в остзейской провинции". Редактор "Колокола" предаёт гласности дикие поступки баронов. Крестьяне, которых они приказывают пороть, оказывается, могут и откупиться от наказания. Известна и цена: по две копейки серебром за удар. По этому поводу Герцен восклицает: "Какое варварство и какой цинизм!"

Остзейцам-крепостникам на страницах "Колокола" воздается по заслугам. Бароны и бюргеры сословные свои привилегии отстаивают бесстыдно и упрямо. В противостоянии "нововведениям правительства" они, по наблюдению Герцена, идут "гораздо далее упрямства русских помещиков" (статья "Балтийские немцы"). Завершая памфлет "Высокородные лифляндские рыцари", редактор крамольной газеты замечает: ему, неплохо знающему европейские страны, неведомы более низкие, более тупые и "дерзкие" нравы, чем у "кур-эст-лифских рыцарей"¹. В нелестном свете знатные лифляндцы предстают и в "Письмах из Франции и Италии". Выясняется: и отстали-то они от европейцев в общественном и культурном развитии, и бытовой их уклад давным-давно заплесневел и не отвечает духу нынешних дней, и в законах своих и правилах они рьяно отстаивают вековые уложения, осужденные историей порядки.

С небывалой даже для Герцена остротой звучат его обличения в статье "Русские немцы и немецкие русские". Достается бироновщине и самому Бирону, чьим именем народ окрестил мрачный российский режим в

¹Подразумеваются курляндские, эстляндские, лифляндские бароны.

годы царствования Анны Иоанновны. Потомок конюха, "герцог на содержании", Эрнст Иоганн Бирон символизировал для Герцена самое полное выражение немецко-балтийской деспотии.

Многие страницы из вступления ко второму изданию книги "О развитии революционных идей в России" побуждают вспомнить заметки из балтийского "журнала" Дениса Фонвизина, письма Николая Карамзина и Александра Бестужева, отправленные из рижской гостиницы или литовской корчмы, из затерянного в латгальских лесах фольварка. Но социальные установки писателей, их произведения разнятся. Следуя по дорогам Видземе и Курземе, Герцен вел, как мы сегодня сказали бы, нескончаемый сравнительный анализ. Воспринимается он в нескольких планах. Во-первых, если можно так выразиться, на уровне планетарном: сопоставляются Восток и Запад. Славянский мир занят каким-то веселым и дружным созиданием. Идет "распашка нови", "трудное зарождение", любой непредубежденный взгляд отмечает устремленность в "завтрашний день". И еще: "Здесь — все пахнет известью... всюду строительный лес". На Западе, по Герцену, — прах и тлен, "все разрушается, все становится нежилым, всюду трещины, обломки, мусор..." Во-вторых, приметливо соотносятся этнографические подробности, разного рода микроприметы: "В Лифляндии и Курляндии нет деревень, похожих на русские. Там фермы, разбросанные вокруг замка. Крестьянские хижины стоят врозь: общины здесь не существует. На этих фермах живет бедный, добрый... народ... придавленный вековым рабством, — остаток древнего народонаселения, затопленного волнами других рас". Но вот сравнение иного ряда: "Упряжь на лошади, не украшенная русской дугой, звенела зато двумя десятками бубенцов..."

В наши дни мы, разумеется, принимаем далеко не все в приведенных выше резких, не всегда справедливых герценовских рассуждениях. Представляется очевидным: в публицистике 50—60-х годов немало спорного, сиюминутного, продиктованного газетно-журнальной полемикой далекой поры. Однако ясная, неподкупная позиция русского изгнанника, его открыто выраженное сочувствие к обездоленным не могут не вызвать отклика у благодарных потомков.

О РАЗВИТИИ РЕВОЛЮЦИОННЫХ ИДЕЙ В РОССИИ

Нашему другу
Михаилу Бакунину

(Фрагменты)

ВВЕДЕНИЕ

...Я уезжал из России в середине студеной снежной зимы¹ узким проселком, которым редко пользуются, — служил он только для сообщения между Псковской губернией и Лифляндией. Эти две соседние области, мало связанные друг с другом и недоступные всякому внешнему влиянию, представляют контраст столь обнаженный, мы сказали бы даже, столь преувеличенный, какого нигде больше не найти.

(...)Довольно двух часов пути, чтобы вступить в другой мир. Будто в театре у тебя на глазах переменили декорации. Местность становится более неровной, даже слегка холмистой, а дорога извилистой. Это уже не та прямая, бесконечная линия, проведенная по снежному океану, о которой так хорошо написал Мицкевич.

Первая лифляндская почтовая станция была расположена на горе. Я вошел в "Passagierstube"². В этой комнате царил такая чистота, такой порядок, словно ее только накануне покрасили или ждали на другой день каких-то посетителей. Пол посыпан песком, на окнах герани и розмарины, в углу фортепиано в четыре с половиной октавы, на столе, покрытом белой скатертью, лютеранская Библия. Среди нескольких литографий, в рамке понарядней, висел печатный листок. То было "An meinen lieben Fritz"³ — нечто вроде идилического завещания, написанного Фридрихом-Вильгельмом III для своего сына.

Станционный смотритель, кроткий старичок с простодушно благочестивым видом, свойственным одним лишь немцам, надел для меня свой серый сюртук, украшенный

¹Герцен выехал за границу в конце января 1847 года.

²"Комнату для проезжающих" (нем.).

³"Милому моему Фритцу" (нем.).

перламутровыми пуговицами. Видя, что я читаю завещание, он подошел ко мне и почтительно завел разговор, величая меня всякую минуту то "бароном", то "Freiherr"¹, то "Hochwohlgeboren"². Он сообщил мне, между прочим, что "никогда не мог без слез читать эти трогательные слова доброго покойного короля".

Станционный смотритель предупредил меня, что, судя по ветру, ночь будет вьюжная, и посоветовал переждать до утра; я вышел из дома посмотреть, что делается на улице. Резкий ледяной ветер свистел в деревьях, яростно раскачивая голые ветви. Гонимые ветром облака порою открывали бледный серп луны, и тогда становилась видна полуразрушенная башня — все, что осталось от лежащего в развалинах замка. (...) Над воротами было прибито чучело орла. Вдруг предо мной промелькнул, мгновенно скрывшись с глаз, стройный белокурый юноша, с подкрученными усиками и ружьем за плечами. Он сидел в маленьких санях и сам правил. Упряжь на лошади, не украшенная русской дугой, звенела зато двумя десятками бубенцов; за санями бежала борзая, обнюхивая мерзлую землю.

В Лифляндии и Курляндии нет деревень, похожих на русские. Там — фермы, разбросанные вокруг замка. Крестьянские хижины стоят врозь (...)

(...) Но только в Риге, на этих узких, темных улицах, в этом городе привилегий, цехов ("Zünft'ов), проникнутом ганзейским и лютеранским духом³, где в самой торговле чувствуется отсталость и застой, где русское население принадлежит к закоренелым раскольникам, два века назад оставившим отечество, потому что они сочли режим царя Алексея слишком революционным, а патриарха Никона слишком смелым реформатором, — только там я понял разницу между тем миром, который я только что покинул, и тем, в который вступил.

Сухощавые, тонконогие евреи, в черных бархатных ермолках, в коротких штанах, нитяных чулках и низких башмаках в самую холодную пору балтийской зимы; немецкие негоцианты, шествующие с величием сенато-

¹Бароном" (нем.).

²Высокоблагородием" (нем.).

³Ганза — союз северогерманских городов в XIV—XVII веках, стремившийся монополизировать североевропейскую торговлю и действовавший в интересах купеческой верхушки.

ров¹, что побуждает вас свернуть с дороги, чтобы избежать с ними встречи... В казино, в клубах только и разговоров, что о монополиях, предоставленных городу в 1600 году, о вольностях, дарованных в 1450 году, о последних нововведениях 1701 года...²

Балтийские немцы, сыны древней цивилизации, много веков тому назад отстали от великого исторического движения; отныне они приобрели неизменный склад, они остались какими были, ничем с тех пор не обогатившись; в своих идеях и делах они установили порядок, правила и меру, чтобы никогда от них не отступать. Поэтому-то они несомненно должны ненавидеть расплывчатость, склонность к преувеличению и беспорядок, царящие не только в русских законах, но даже в нравах.

Мы отнюдь не достигли определенной устойчивости, мы ищем ее, мы стремимся к общественному строю, больше отвечающему нашей природе, но временно остаемся в навязанном нам силой положении, ненавидя его и примиряясь с ним, желая от него избавиться и терпя его против воли. Они же, напротив, подлинны консерваторы; они многое потеряли и опасаются потерять остальное. Мы можем только выиграть, нам терять нечего. Мы повинемся по принуждению; в законах, которые нами управляют, мы видим запреты, препоны и нарушаем их, когда можем или смеем, не испытывая при этом никаких угрызений совести. А они принимают настолько всерьез одну часть закона, что нарушить ее было бы в их собственных глазах преступлением. Эта часть закона служит опорой другой, нелепость которой очевидна для всех.

У них — незыблемая мораль, у нас — моральный инстинкт.

Их преимущество перед нами — в выработанных ими позитивных правилах; они принадлежат к великой европейской цивилизации. Наше преимущество перед ними — в нашей могучей силе, в известной широте надежд. Там,

¹Имеются в виду члены сената — организации, стоявшей во главе ганзейских городов.

²Названные Герценом даты лишь приблизительно совпадают с историческими событиями, связанными с подчинением Риги магистру Ливонского ордена (1454), Швеции (1621) и России (1710), при которых, однако, подтверждалось сохранение для городских патрициев их привилегий и монополий.

где их останавливает сознание, нас останавливает жан-дарм. Арифметически слабые, мы уступаем; их же слабость — алгебраическая, она в самой формуле.

Их глубоко оскорбляет наша беспечность, наши повадки, пренебрежение к правилам приличия (...) Нам же они смертельно скучны своим буржуазным педантизмом, подчеркнутым пуризмом и безукоризненной пошлостью поведения.

Наконец, человек, тратящий более половины своих доходов, считается у них блудным сыном, расточителем. А у нас на человека, который проживает только свои доходы, смотрят как на чудовищного скрягу...

Эта антитеза между Россией и балтийскими провинциями, столь резкая, почти преувеличенная, как мы сами уже отметили, собственно говоря, существует между всем славянским миром и Европой.

Здесь, однако, та разница, что если в славянском мире есть черты западной цивилизации на его поверхности, а в мире европейском есть черты чистейшего варварства в его основании, то среди псковских крестьян нет и следа цивилизации, а балтийские немцы прикрывают собой отнюдь не однородное варварское население, а население, находящееся в упадке и совершенно разнородное.

Германо-латинские народы создали две истории, сотворили два мира во времени и в пространстве¹. Они дважды себя изжили. Весьма возможно, что в них сохранилось довольно энергии и сил для третьей метаморфозы — но она не может произойти в рамках существующих общественных форм, которые находятся в явном противоречии с революционной мыслью. Как мы уже видели, для того чтобы великие идеи европейской цивилизации могли осуществиться, они должны пересечь океан и найти землю, где было бы поменьше руин². (...)

¹Мысль о существовании двух миров, двух цивилизаций — античного мира и мира христианского — выдвинута немецкой романтической философией (впервые изложена Августом Шлегелем в 1802 году) и содержит признание прогрессивной роли средневековья в ходе исторического развития в противовес точке зрения просветителей XVIII века, рассматривавших средние века как период упадка. Точка зрения двух цивилизаций разделялась многими современниками Герцена, в том числе и Белинским.

²Герцен имеет в виду Северо-Американские Штаты.

(...) Предпочтение, которое правительство оказывало немцам после Петра I, было такого рода, что не могло примирить с ними русских. Добро, если б одни только Минихи и Остерманы приехали в Россию, а то на берега Невы обрушилась туча уроженцев тридцати шести, — или сам не знаю, скольких, — княжеств, составляющих единую и неделимую Германию.

Русское правительство до сих пор не имеет более преданных слуг, чем лифляндские, эстляндские и курляндские дворяне. "Мы не любим русских, — сказал мне как-то в Риге один известный в Прибалтийском крае человек, — но во всей империи нет более верных императорской фамилии подданных, чем мы". Правительству известно об этой преданности, и оно наводняет немцами министерства и центральные управления. Это и не благоволение, и не несправедливость. В немецких офицерах и чиновниках русское правительство находит именно то, что ему нужно: точность и бесстрашие машины, молчаливость глухонемых, стоицизм послушания при любых обстоятельствах, усидчивость в работе, не знающую усталости.

(...) Тысячи сектантов, преследуемых правительством, бежали в Лифляндию и Турцию, где существуют целые городки, населенные их потомками. Вообще сектанты — самые ожесточенные враги петровской реформы. Для них Петр I и его преемники — антихристы. Правительство, в свою очередь, считает их крамольниками и подвергает преследованиям. Раскольники держатся крепко; по мере того как увеличивается гонение на них, они усиливают свою пропаганду, у них есть сообщники во всех уголках государства, есть и подпольная печать. Вполне возможно, что от какого-нибудь скита (раскольничьей общины) начнется народное движение(...)

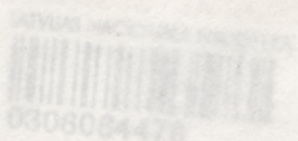


СОДЕРЖАНИЕ

В соавторстве с Латвией.....	3
Былинная песнь о латышской земле.....	15
И звучат по-русски дайны... ..	53
Остзейский край в дневнике и судьбе Дениса Фонвизина	68
И в Латвии он оставался Радищевым	80
Последний летописец Ливонии Николай Карамзин	85
Неизвестная одиссея баснописца	125
Рижская любовь Константина Батюшкова	141
Бестужевская глава в книге о Латвии	153
Динабургский мечтатель (Вильгельм Кюхельбекер)	175
Северная война, рассказанная Иваном Лажечниковым.....	192
Лифляндское эхо пушкинского глагола	219
Гражданин "ливонских Афин" — Николай Языков	250
Наш Лермонтов	277
Восхождение к Гоголю	298
Александр Герцен — латышских крестьян заступник	310

Мысль о существовании двух миров, двух цивилизаций — светлого мира и мира христианского — выдвинута немецкой романтической философией (например, Агустом Шлегелем в 1802 году), и контраст цивилизации промышленной революции и традиционного исторического развития в протестантских странах проследим в XVIII веке, рассматривая эти страны как период упадка. Таким образом, дух цивилизации разделяется на два: современная Европа, в том числе и Балтийский

Герцен пишет в виду Северо-Американские Штаты.



Boriss Infantjevs, Aleksandrs Losevs

**ЛАТВИЯ В СУДЬБЕ И ТВОРЧЕСТВЕ
РУССКИХ ПИСАТЕЛЕЙ**

**LATVIJA KRIEVU RAKSTNIEKU
DZĪVĒ UN DAĻRADĒ**

Redaktore G. Silakalne.
Māksl. redaktore M. Alševska.
Tehn. redaktore A. Svilpe.
Vāku zīm. O. Bērziņš.

Apgāds "Zvaigzne ABC", SIA, K. Valdemāra ielā 105, Rīgā, LV 1013.

Reģistr. Nr. 000315416. Red. Nr. K-10. Formāts 84x108/32.

Latvijas — Somijas SIA MADONAS POLIGRĀFISTS,

Saieta lauk. 2, Madona, LV 4801.

Pas. Nr. 531. M. 3000

Kontroleksemplārs

L. 1. 60

LATVIJAS NACIONĀLA BIBLIOTEKA



0306064478

94-3
К 738

... Когда люди,
живущие за пределами
этнической родины,
испытывают одиночество,
состояние тревоги,
неуюта, они хотят
определиться национально,
обрести внутреннюю
независимость,
гармонию
со своим прошлым,
своими корнями.